

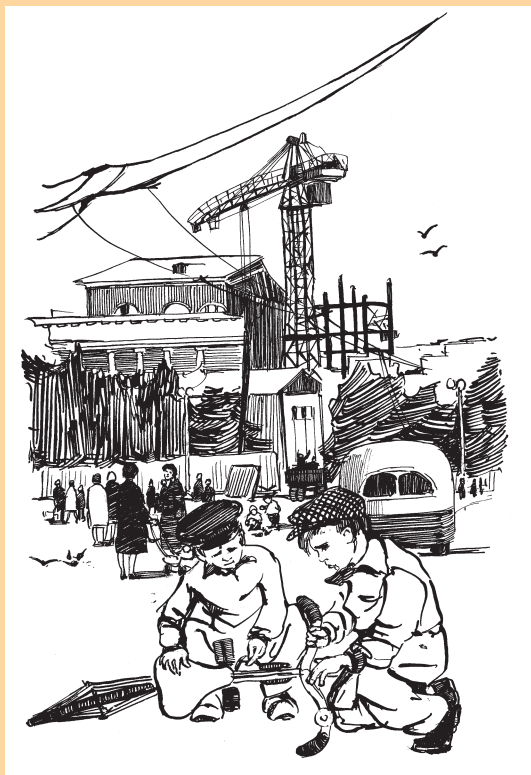


ISSN 1993-9477

XXI ВЕК **ВОЛГА** 3-4 2016

Литературно-художественный журнал

РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ СУМИНОЙ



Сценка на главной
площади, куда мы
5 лет регулярно
ходили на
демонстрации.
Тушь, перо. 1963 г.



Уличная сценка. Саратов прихорашивается. Тушь, перо. 1963 г.



XXI ВЕК

ВОЛГА

3-4 2018

Литературно-художественный журнал

РЕДКОЛЛЕГИЯ:

- А.Ю. Аврутин** – член Союза писателей Беларуси (Минск)
А.Б. Амусин – член Союза писателей России, председатель Ассоциации Саратовских Писателей
А.А. Бусс – член Союза писателей России (Саратов)
В.И. Вардугин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Е.А. Грачёв – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Д.Е. Кан – член Союза писателей России (Оренбург)
О.И. Корниенко – член Союза писателей России (Сызрань)
В.В. Ковалёв – член Союза художников (Рига)
В.А. Кремер – член Союза писателей России (Саратов)
М.А. Лубоцкий – член Союза писателей Москвы, ответственный секретарь Ассоциации Саратовских Писателей
В.Д. Лютый – член Союза писателей России (Воронеж)
М.С. Муллин – член Союза писателей России и Ассоциации Саратовских Писателей
Г.П. Муренина – директор музея Н.Г. Чернышевского, член Ассоциации Саратовских Писателей

3-4 2018

СОДЕРЖАНИЕ

Вступительное слово	3
СОВЕТ МОЛОДЫХ ЛИТЕРАТОРОВ	
Мария ЧЕТВЕРИКОВА. Из Северного полушария	4
Евгения ДЕКИНА. Сын Ваньки Пантелеева	9
Андрей ПРОСКУРЯКОВ. За двадцать первую весной.....	12
ОТРАЖЕНИЯ	
Геннадий РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН. Земля живых	14
ПОЭТОГРАД	
Анатолий АВРУТИН. Молитва	72
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА	
Александр ТРАМ. Кое-что из брачного периода гусей и других видов	78
В МИРЕ ИСКУССТВА	
Валентина СУМИНА. Звезда по имени Саратов.	114
ПОЭТОГРАД	
Виктор БРЮХОВЕЦКИЙ. Я, наверно, не умру.....	127
ДЕСЯТАЯ ПЛАНЕТА	
Натэлла ЛЕВИЦКА. Два рассказа	132
ПОЭТОГРАД	
Татьяна КУЗНЕЦОВА. У ворот сиреневого рая	138
Ольга ДАРАНОВА. Картины дней	143
К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО	
Александр ДЕМЧЕНКО. Пять десятилетий большого пути	147
ИНТЕРВЬЮ	
Александр Городницкий: «Нет поэтов последних и первых...»	169
ГОД ТЕАТРА	
Анна МОРКОВИНА. Снежные ягоды в память о Мастере	176
Виолетта СТЕКОЛЬЩИКОВА. Помню и буду помнить	179
РЕЦЕНЗИИ	
Михаил МУЛЛИН. О русской армии с любовью и без лжи	182
Елизавета МАРТЫНОВА. По белу свету.	186
ВОЛЖСКИЙ АРХИВ	
Татьяна ЛИСИНА. Памяти профессора Павла Николаевича Николаева.	188

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО

В феврале 2017 года по инициативе группы молодых московских писателей (Василий Попов, Андрей Тимофеев и Сергей Бударин) на очередном заседании секретариата Союза писателей России был рассмотрен вопрос об учреждении Совета молодых литераторов. Целью создания данного объединения является формирование условий для единой, планомерно построенной системы работы с молодыми авторами на всей территории страны.

Плановая работа включает: выявление и поддержку одарённых писателей, их творческое развитие путём организации семинаров, совещаний, круглых столов, лекций и других мероприятий, создание в каждом регионе Центрального молодёжного литобъединения, куда входили бы наиболее перспективные писатели региона, продвижение талантливых молодых авторов, а также всех мероприятий Совета молодых литераторов в социальных сетях, толстых журналах, интернет-ресурсах. Совет молодых литераторов должен способствовать консолидации литературных сил страны, поиску ресурсов для организации мероприятий СМЛ путём получения грантов, популяризации современной русской литературы среди читателей.

13–14 февраля 2018 года совместно с кафедрой журналистики Московского государственного института культуры Совет молодых литераторов осуществил специальную Молодёжную программу XV съезда Союза писателей России, состоящую из Всероссийского семинара и установочных мероприятий Совета молодых литераторов. В Молодёжной программе приняли участие писатели более чем из тридцати городов РФ от Калининграда до Владивостока.

На протяжении двух дней активно работали пять семинаров поэзии и три семинара прозы. Руководителями стали известные писатели: Юрий Козлов, Александр Казинцев, Сергей Куняев, Анатолий Парпара, Нина Ягодинцева, Александр Бобров, Евгений Юшин, Василий Дворцов, Виктор Кирюшин, Валентина Ерофеева-Тверская, Светлана Чураева, Светлана Макарова-Гриценко и другие. По результатам семинаров для вступления в Союз писателей России были рекомендованы: Александр Дашко, Влада Баронец, Ксения Аксёнова, Лариса Мареева, Игорь Малышев, Юлия Зайцева, Иван Александровский, Марина Перова, Екатерина Каргапольцева, Григорий Шувалов, Андрей Проскуряков, Яна Сафронова, Андрей Аристов, Евгения Декина, Алёна Белоусенко, Юрий Лунин и Антон Шушарин.

Лучшие произведения молодых писателей (в рамках продвижения молодых талантливых авторов) будут публиковаться в журнале «Волга–XXI век» в рубрике «Совет молодых литераторов».

В 3–4 номере нашего журнала представлены стихи Марии Четвериковой (Омск) и Андрея Пермякова (Оренбург), проза Евгении Декиной (Москва).



Мария
ЧЕТВЕРИКОВА

ИЗ СЕВЕРНОГО ПОЛУШАРИЯ

Трудности, радости, ленты-дороги –
то на работу, то – на край света...
Не успеваю подумать о многом,
но успеваю прочувствовать это.

Лето сменяет звенящая стужа:
кто-то становится ближе, чем близкий.
Не успеваю понять, что мне нужно,
но успеваю обжечься об искры.

Столько не сделано – чаша без края!..
Что мне поделать с собою, ведь я же
снова от дел отрекусь, собирая
солнечный луч золотистою пряхей.

Южный ветер степной, искупай мои стопы в песке,
расплети мои косы, расправь мои плечи и крылья,
спрячь меня ото всех, чтоб не видели – сердцем я с кем,
потеряли из виду меня, ослеплённые пылью,
что поднимешь с земли. Нас с тобою увидеть нельзя.
Жёлтый зной, алый жар – лишь для нас! Для других –
пыли сер цвет.
Ты пришёл, южный ветер, и ты меня на руки взял.
Я – степная, твоя. Ну, а сердце... Ты знаешь, с кем сердце.

-
- Мария Валерьевна Четверикова родилась в 1986 году. Автор поэтических сборников «Капель по Моцарту» (2003), «Предсказание дождя» (2007), «Небесный троллейбус» (2013). Стихи также печатались в коллективных сборниках Москвы и Омска, журналах «Новосибирск», «Литературный Омск» и др. Член СП РФ с 2007 года. Лауреат Всероссийского конкурса юных поэтов фонда «Новые имена России» с присуждением президентской стипендии. Лауреат областной молодёжной литературной премии имени Ф.М. Достоевского. Дипломант Всероссийского литературного конкурса «Хрустальный родник». Лауреат Сибирско-Уральской литературной премии. Участница Первого молодёжного форума писателей России и Китая (2015 год). В настоящее время работает медицинским психологом в клинической психиатрической больнице им. Н.Н. Солодниковой, руководит молодёжным объединением «Литературная лаборатория» при Омском областном отделении Союза писателей России. Живёт в Омске.

ПИСЬМА ИЗ ОМСКА...

...В АВСТРАЛИЮ

И как там оно – на том континенте?
Какое небо? Какие долы?
Мы связаны лишь новостною лентой,
а значит – слабо и ненадолго.

А здесь всё по-прежнему: ветер, ветер...
Иртыш весною перенаполнен.
И тянется город в слепящем свете,
как кот спросонья, как в полдень – поле.
Весенними красками город брызжет...

Мой глобус нынче садист садистом:
мол, знаешь, Австралия в целом ближе,
чем тот, кому сочиняешь письма.

...В КИЕВ

Дружили крепко почти всю школу:
на переменах носиться – вместе,
учиться – вместе, и вместе – шкодить.
Меня дразнили твоей невестой.

Весь город нашим был полигоном,
Советский парк был для встречи местом.
И в «Детский мир» перед Новым годом –
шары рассматривать – тоже вместе.

Но ты уехал. Теперь тебе я –
обидчик, враг и москалька – в сумме.
А город новый твой рвёт, зверея,
как ты, все связи в своём безумье.

Пишу в последний – отдам дань драме.
Да и зачем – если всё по кругу?..

Наш город тихо вздохнёт ветрами:
не только я потеряла друга.

Солнечный день травую скошен,
солнечный наступает вечер.
На подоконнике спит кошка,
бабушка разбирает гречку.

Бабушки нет, и кошки тоже.
Есть только я да моя память.
Солнечный вечер давно прожит,
и не вернуться, не исправить.

Прожито. И держусь за то, что
прошлое становится вечным:
на подоконнике спит кошка,
бабушка разбирает гречку.

Кот рыжий не встречался вам?
Вальяжный, важный, весь домашний,
невозмутимо и бесстрашно
идуший по своим делам?

Мы как-то шли с ним по листве
сентябрьского почти что лета.
Он одного с листвой был цвета
и излучал неяркий свет.

Четыре лапы, две ноги –
мы разошлись у магистрали.
Но разговаривать не стали,
хотя, наверное, могли.

Во всяком случае, он так
серьёзно глянул на прощанье:
мол, ты смотри – пообещай мне
машин беречься и собак.

Я, от тоски заледенев,
ответный взгляд послать решила:
мол, ни собаки, ни машины
не могут быть страшней людей...

Надеюсь, взгляд ответный тот
его предупредил о многом.
Брожу по улицам с тревогой –
вам рыжий не встречался кот?..

Алое солнце на сером небе:
вроде бы лето, а бьёт озноб.
Как же принять, что со мною и с ней был,
что выбираешь из двух зазноб?

Выбрал другую? Из рук я – птицей.
Мятые крылья – впервой ли мне?
Что же ты медлишь со мной проститься?
Что же сжимаешь ещё сильнее?

Что же ты тянешь? Куда мне деться?
Хочешь, сама я курок – на взвод?..
Алое солнце упало сердцем,
так и не выкрасив небосвод.

Такие осадки сойдут за осаду:
из дома – никто, и домой к нам – никто.
А дождь барабанит по стёклам как надо,
до жути пугая домашних котов.

Гроза разрывает тяжёлое небо –
ей молнии в радость горстями метать.
Потоки воды – хоть забрасывай невод,
и, может быть, даже поймаешь кита.

Ещё не сентябрь, не расплата за кражу
земного тепла из небесной казны.
Мне город кивает рекламной растяжкой:
ещё отогреемся после грозы.

В который раз отказываюсь «в жёны»:
не страшно быть одной и «без плеча».
Страшнее из горящей стать сожжённой,
чем розы на «д. р.» не получать.

Я остаюсь упрямой и стихийной,
свободной и сжигающей мосты:
стоят цветами в вазе мастихины,
а значит – мне подвластны все цветы.

Транспорт общественный, выставший за ночь,
зимнему солнцу подставил бока.
Листья, забытые за зиму напрочь,
спят в серых почках-клубочках пока.

Солнечный свет с выси льётся отвесно,
ряби отгадка проста и легка:
ходит по небу троллейбус небесный,
мягко покачивая облака.

Он перевозит дожди, снеги-вьюги,
сны и в пути заблудившихся птиц.
Запахи лета привозит он с юга,
с севера – холод, тревоги – с границ.
Ночью – всё дремлет под звёздной бездной,
хрупок как снег и как сон невесом...

Знаешь, по слухам, троллейбус небесный
скоро поедет за новой весной.

Из Северного полушария,
взнаглев и поправши «авось»,
весна, я тебя приглашаю
в свой город, промёрзший насквозь!

Мы сможем творить что угодно,
да так, что из снега – вода!..
Весна, я свободна.
Свободна!
И жду тебя как никогда.

Зима, безразмерно большая,
спасует, от солнца осев.
Весна, я тебя приглашаю.
Впервые. Всерьёз.
Насовсем.

Отказаться от шанса прожить на пределе жизнь
равносильно тому, чтобы вовсе её проспать.
Мы с тобою следим, чтоб играющие во ржи
не упали бы в пропасть, – задача весьма проста.

Вечный вечер над полем огромным. И прост расчёт.
Воздух страшно бесстрастный колеблется и дрожит.
Он получит однажды и нас. Но пока ещё
мы над пропастью этой извечной стоим во ржи.

Опыт в роли ловца очень круто меняет жизнь:
бездна всюду с тобой – как ты окна ни занавесь.
Мы не сможем уже, как другие, играть во ржи...

Улыбнись мне в ответ, пока мы ещё оба здесь.

Ни пустой строки, ни пустого дня –
время на руке закружилось вихрем.
Милые часы, что вам до меня?
Жизнь моя для вас – краткий пёстрый выхлест.

Сумасбродит снег, лезет в фонари,
но уже весна через две недели.
Набирают цвет волосы мои:
видишь ли, они инеем седали.

Ни пустого дня, ни пустой строки.
Сколько мне ещё плыть под небесами,
брать вершины и – птиц кормить с руки?

На запястье жизнь – пульсом и часами.



**Евгения
ДЕКИНА**

СЫН ВАНЬКИ ПАНТЕЛЕЕВА

Где-то капало. Он лежал с открытыми глазами и слушал. А завтра – всё. Ни потолка, ни капель, ни койки – ничего не будет. И это «ничего» представлялось до такой степени чудовищным, что лучше бы параша, вонючие носки и брезгливые усмешки.

И вспомнить-то, как назло, особо нечего. Не жизнь – а так, нелепость какая-то. Первые тёплые лучи весеннего солнца на изрисованной школьной парте, мама, ласково целующая в лоб, смешная лохматая собака, плывущая навстречу. Любка ещё. И не то чтобы любил её очень, по-хорошему и понять-то не успел. Но когда обнимал в темноте под вишнями, заедая поцелуи переспелой ягодой, по телу прокатывалась колючая волна, от которой немели ступни. А потом, в тот первый быстрый раз у маленького, зацветшего изумрудной зеленью пруда, после всего уже, долго разглядывал листья ряски, которые даже на воде умеют пускать корни. А она лежала рядом, тёплая и теперь уже знакомая, обнимала мягкой рукой и тоже молчала. Деловито ползали муравьи, солидный жук пролетел мимо, и всё вокруг казалось потускневшим и необычайно мирным.

Из тюремного вообще лучше не надо. Впрочем, уже после, когда с ним больше никто не говорил. Год на второй. Или на третий. Новенький – лысый мелкий монгол с животом, похожим на примятое тесто, – девять ножевых. Монгол прищурил и без того узкие глазки свои, кивнул на висящий на Ванькиной груди крестик:

– Глупая сказка...

– Почему? – спросил Ванька сипло. И удивился собственному голосу, давно забытому за ненадобностью.

– Когда совсем мёртвый, любой воскреснуть может – ты живой воскресни. Тогда и я твой портрет набью... На живот, – добавил монгол и как-то недобро засмеялся.

Больше он с ним не говорил. С ним вообще никто никогда не говорил. Наверное, именно от этого хотелось в петлю. И уди-

-
- Евгения Владимировна Декина родилась в Прокопьевске Кемеровской области. Окончила филологический факультет Томского государственного университета. Работала журналистом, уборщицей, продавцом, барменом, учителем. В Москве с красным дипломом окончила Всероссийский государственный университет кинематографии им. С. А. Герасимова по специальности «Кинодраматургия», открыла детскую театральную студию «МАГ», успешно существующую и по сей день, работает сценаристом.

вился вдруг такому простому и лёгкому решению. Решению, которое избавит его от чудовищного завтрашнего «ничего». И не понял, почему раньше не пришло, почему не сделал это тогда, первой же ночью, после того, что все эти старые совершили над ним, или почему не сделал после татуировки, обозначавшей, что он и не человек больше, а так, «ничего».

Надо было сразу, в тот же день, как сел. Не дожидаясь вечера даже. Не подумал тогда. А потом поздно было. Когда уже навис над ним тот, огромный и страшный, а по сторонам от него двое помельче, с осками вместо улыбок, понял, что сейчас начнётся. Всё, чего боялся, всё, о чём слышал многократно – об изнасилованиях, пытках, о том, как лицом о бетонный пол и голову как орех. И сдаваться нельзя, терпеть нужно, до последнего терпеть и не даваться живым. Иначе такое потом ждёт, что и жить незачем. А так хоть какой-то шанс. И осознал, сколько ему ещё перетерпеть и не избежать никак, расплакался вдруг по-детски, поскуливая и всхлипывая. И этот, огромный и страшный, скривился так, будто и не человек перед ним, с которым и повоевать интересно, а так, мяса кусок. Живой ещё, но зря живой. И срать на него не стал, и насиловать тоже, плюнул куда-то мимо и отошёл. А Ванька рыдал и думал о том, что лучше бы били как человека, а не так вот – будто и нет его.

Почему потом, каждый день стирая им портки и убирая парашу, терпел? Зачем терпел? Как все, прождал пять лет вожденной воли, мечтал о ней, томился, хотел выйти. Дурак. Куда выйти-то? К мамке? Мамка давно умерла, и бог знает, где её похоронили. К Любке? Она наверняка давно замужем, родила тройню и терпит побои какого-нибудь горького пьяницы.

А теперь, когда до свободы рукой подать, и завтра, совсем уже через несколько часов, он получит назад свои шнурки, платок, мамкой ещё сунутый зачем-то в нагрудный карман, ремень и паспорт с отметиной, стало ясно, что там, на воле, иначе не будет. И нет способа избежать. Можно, конечно, и за тысячи километров, и за границу, стравить татуировку, сменить внешность, так, чтобы никто и не догадался, но внутри он навсегда останется этим вот обломком человека, даже и не человека, а животного, затравленного, измученного, без чести и голоса.

Но и тогда не удавился – сам не понял, почему. Из любопытства скорее, а совсем не из жажды жить или из трусости. Хотелось посмотреть, как там, на воле. И когда шёл по деревне, среди покосившихся до неузнаваемости заборов и заросших огородов, мечтал, что выбегут все сейчас ему навстречу, станут дразниться и кричать, что вот, мол, идёт Ванька Пантелеев, который Семёна лопатой порубил за то, что он Любку его изнасиловал. И если станут кричать и дразниться или камнями даже кидать, то это будет хорошо. Значит, живой. Значит, есть такой человек – Ванька Пантелеев. Но никто не вышел. А оттого казалось, что они уже узнали. А ведь могли узнать, потому что много кто уже отсидел и вернулся.

А вечером, когда он лежал плашмя в промёрзшем доме на мамкиной кровати, лежал и пытался вспомнить, как мама ходила и улыбалась, голос её, пришла Любка. Другая совсем. Как и ожидал – толстая, испитая и с ребёнком. Села на табуретку у порога и заплакала. И ясно было, что она не по нему плачет, а по тому, как могла целоваться под вишнями, лежать у пруда и обнимать мягкой рукой.

А потом вдруг бросилась, расцеловала, прижала – и стало так же хорошо и спокойно, как летом под вишнями. А потом сказала, что это не просто сын. Это его сын – Иван Иванович. Может, и врала. Мало ли с кем нагуляла за столько лет. А теперь вот одна осталась и решила... Или вооб-

ще от Семёна-насильника. Но Ванька так ясно понял вдруг, что не надо ему этого знать, что тоже заплакал. От одной мысли, что этот вот, тоненький, большеглазый, и вправду похожий на него пацан – сын, всё внутри наполнялось горьким, тягучим и тёплым. Наполнялось и склеивалось. И Любку целовал бесконечно, и пацана. Из благодарности больше, чем из любви. Значит, есть теперь такой человек – Ванька Пантелеев. И он не пустота, он – отец. И это казалось таким непостижимо огромным чудом, что кричать хотелось. Но он вместо этого суетливо растопил печку и побежал в магазин за конфетами. Бежал и думал, что если сейчас кто-то посмеет усомниться – убьёт на месте. За сына всех убьёт, даже Господа Бога. Но никто не посмел. Или сомнений не было.

И вот он стоял на перроне одной из мелких железнодорожных станций. Курил и думал о том, как доехать до брата. В столицу. К брату, не приехавшему даже на похороны матери. К брату, который – и его можно понять – совсем не рад зэку, да ещё и семейному. Нет, денег на билеты прислал, конечно. Но кто ж знал, что встретится им на пути детский магазин. А это ж не кто-нибудь – это сын.

И теперь смотрел на своё отражение в стекле вокзального окна и улыбался виновато. Небритый, тусклый какой-то мужичонка, в засаленной фуфайке не по размеру, в драных сандалиях, надетых на толстый шерстяной носок. Но это ничего. Потому что там, внутри, в зале ожидания, сидя спала, вздрагивая от беспокойных снов, женщина в грязном драповом пальто. А на полу мальчик, в беленьких кроссовках и новеньком джинсовом костюмчике, катал по полу огромный игрушечный самосвал. И чистенький, упитанный мальчик этот с ярким китайским самосвалом, казалось, был из совсем иной жизни – жизни, в которой не бывает тюрем, лопат и намыленных шнурков.

А здесь, на перроне, было свежо и немного страшно. Накрапывал мелкий дождик, рельсы впереди тонули в туманной темноте. Но страх этот и неизведанная темнота – всё было каким-то уютным, не похожим на то страшное ничто. Так, обычное будущее обычного человека.



**Андрей
ПРОСКУРЯКОВ**

ЗА ДВАДЦАТЬ ПЕРВОЮ ВЕСНОЙ...

Снежные хлопья валили, лепили
Чьи-то фигуры без лиц,
Снежные хлопья, слепите мне крылья,
Буду летать среди птиц.

Ввысь поднимусь, окунусь в неизвестность,
Синюю благодать,
Будто я – снова во снах своих детских,
Снова умею летать.

Нежным, прозрачным зефиром влекомый,
Меж вековых облаков
Я пролечу никому не знакомой
Птицей из розовых снов.

И позабуду, что крылья из снега
(Боже, ведь я же Икар!)
Снег – лишь вода в океанах и реках,
Воды – невидимый пар.

Снег растворится, растает, исчезнет,
Я незаметно проснусь:
Снежные хлопья из влаги небесной
Лепят красавицу-грусть.

Солнце спряталось за ели,
Заалели небеса –
В этих красках акварельных
Руки, губы и глаза,

-
- Андрей Юрьевич Проскуряков родился в 1994 году в Оренбурге. Детство провёл в с. Максимовка Пономарёвского района Оренбургской области. Учился в кадетском корпусе им. И.И. Неплюева (Оренбург). Окончил Оренбургский государственный университет. В настоящее время является студентом Оренбургской духовной семинарии. С 2012 года – член Оренбургского областного литературного объединения им. В.И. Даля (руководитель – Г.Ф. Хомутов). Печатался в оренбургских газетах и коллективных сборниках; дипломант Всероссийской литературной Пушкинской премии «Капитанская дочка» (Оренбург, 2015), победитель III Межрегионального литературного конкурса «За далью – даль», посвящённого 105-летию со дня рождения А.Т. Твардовского (Калининград, 2015).

Счастье сущих и уснувших
И одна на всех тоска,
Без которой день минувший –
Просто горсточка песка.

Все дороги ведут в Рим,
Там отыщешь и зрелищ, и хлеба.
Но пропел журавлиный клин:
«Есть одна, что зовёт в Небо».

Не пришпорить ночную темь,
Но ударит рассвет в колокол.
Вечный город и тьма путей,
Но один, что туда, за облако.

Разыскать в этой тьме мне бы
От сандалий Его следы..
Все дороги ведут в Небо,
Если прямо идёшь ты.

ВЕСЕННЕЕ

Весна! Теперь официально,
Поскольку люк над головой
Раскрылся в плоскости овальной
И дунул Божьей синевою.

Поскольку с горюшка в стаканчик
Я наливаю не вино,
Но сам воскресший одуванчик
Мне солнцем брызнул на окно.

И я впервые за полгода
Пришёл без насморка домой,
Как Ломоносов за подводой –
За двадцать первую весной.

Облака – близкие, близкие –
Дотянуться рукой могу!
Наша жизнь – это только присказка,
Да и то: на лету, на бегу.

Скорым поездом в даль апрельскую –
Там уж точно тают снега!..
Наша жизнь – это только лесенка,
Что чуть выше глаз чердака.

Притворюсь на три дня спящим и –
На перрон, в уходящий состав..
Скорым поездом в даль звенящую,
В разноцветье воскресших трав.



**Геннадий
РЯЗАНЦЕВ-СЕДОГИН**

ЗЕМЛЯ ЖИВЫХ

РОМАН

(журнальный вариант)

Окончание.
Начало в № 9–10 2017
№ 1-2 2018

ПАНАГИЯ

Пасха пришла вместе с весной. Стены нашего нижнего храма, оштукатуренные известковым раствором и побелённые извёсткой, изрядно потемнели от копоти, исходящей от горящих свечей и кадила. Нижний храм был похож на кузницу, но никто не замечал этого. Все радовались, мыли окна, вновь, как и в прошлом году, белили извёсткой стены, смахивали пыль с икон. Мы знали, что придёт время, когда мы войдём в верхний придел храма, который будет сиять чистотой и новизной. А в нижнем храме наконец сделаем настоящий ремонт. А пока нужно было служить, чтобы народ приносил свои лепты на затянувшееся строительство.

Я вспомнил, что не отнёс мальчику просфору с Пасхальной службы. Вспомнил к вечеру. Приём посетителей давно закончился. Закрыты все двери детской больницы, кроме приёмного покоя. Отделение гематологии находилось в другом крыле на втором этаже.

Я решил идти. Илюше будет радость, а радость всегда настраивает на выздоровление. Я проехал в ворота, показав охранникам в окно автомобиля вместо пропуска протоиерейский наперсный Крест. Пропустили, и я подъехал к приёмному покою больницы. На улице было по-весеннему прохладно, пахло свежестью. На чёрных клумбах распустились нарциссы и тюльпаны.

Дверь была не заперта. Я вошёл на стеклянную веранду, а затем в коридор. Больница не дежурила в этот вечер, поэтому было мало персонала. Когда я шёл по коридору по направлению к нужному мне отделению, из лаборантской вышла молодая женщина.

- Христос Воскресе! – радостно произнёс я.
- Воистину Воскресе! – ответила она, разглядывая меня: – А вы к кому?
- Мне надо пройти в отделение гематологии.
- Но все двери закрыты на втором этаже.
- А что же мне делать? Там больной мальчик Илюша. Я должен, понимаете, должен его увидеть и передать это.

Я развернул платок и показал медсестре Богородичную большую просфору.

– Это Панагия, понимаете? С Пасхальной службы.

Она внимательно смотрела на меня.

– С такой Панагией, с такой просфорой монахи Афонского монастыря после совершения службы идут все вместе в трапезную. Они её несут торжественно, в специальном сосуде, чтобы начать трапезу с благословения Божией Матери. Панагия – это как бы Богородица, понимаете? Мне надо...

– Подождите здесь.

Она побежала по узкому коридору и через минуту вернулась с охранником, который нёс ключи от двери на второй этаж.

– Я очень быстро, – радостно-торопливо говорил я, обращаясь то к сестричке, то к охраннику.

– Столько, сколько нужно, – сурово сказал охранник.

Я юркнул за дверь, светившуюся матовым стеклом, и побежал наверх, схватив в охапку полы подрясника.

В отделении слышался детский смех. Я приоткрыл дверь и заглянул в коридор.

Трое бледных ребятишек играли, запуская бумажный самолётик. Он то взмывал вверх, то натыкался на крашенные стены, то пикировал вниз, в пол с разодранным линолеумом. Увидев меня, дети сбились в стайку.

– Христос Воскресе! – шёпотом, улыбаясь, проговорил я, оглядывая коридор.

– Здравсьте! – смущённо ответили дети.

Они знали, к кому я пришёл.

– Они там, у них открыто, – показала пальчиком старшая девочка.

– Отлично, – сказал я и пошёл в Илюшину палату.

Она находилась в десяти шагах. Я тихонько постучал. Мама Илюши сразу мне отворила. В комнате было светло. Илюша сидел на своей кровати и, как всегда, был молчалив и серьёзен для своих двух с половиной лет.

– Христос Воскресе! – радостно сказал я Наталии. – Простите, что так поздно приехал к вам.

– Где же вы прошли?

– Это всё Богородица, – ответил я и подошёл к Илюше.

– Христос Воскресе, Илюша!

Он смотрел на меня тёмными серьёзными глазами.

– Смотри, что я тебе принёс.

Я неторопливо разворачивал платок.

– Скушаешь и будешь поправляться, выздоравливать.

– Илюша, смотри, батюшка принёс тебе святой хлебушек.

Илюша смотрел, казалось, безучастно.

Я протянул ему просфору на платке.

Он не шевелился.

– Бери, бери смелее!

Он лишь моргал большими ресницами.

– Илюша, бери хлебушек. – Наталия подседа к нему на кровать.

Илюша протянул свою припухшую, бледную, всю в метках от укулов руку, аккуратно взял просфору и положил её рядом на постель.

– Спасибо вам большое, – проговорила Наталия.

– Как он?

– Не очень хорошо.

– Я молюсь за него и за вас. Держитесь. Уже поздно. Пойду, а то закроют меня здесь. Илюша, до встречи.

– До встречи, – чуть слышно произнёс он, всё-таки заразившись от меня Пасхальной радостью.

– Спасибо вам, – повторила мне в дверях его мама.

– Звоните, хорошо?

– Хорошо.

Охранник внизу сидел на стуле в ожидании меня.

– Благодарю вас.

– Не на чем.

Я выскочил на улицу. На душе было тревожно, беспокойно.

Почему дети болевают лейкозом? Этот мальчик едва стал сознавать себя и ничего, кроме страдания, не испытывал. Он думает, что жить – это означает страдать. Страдание и жизнь для него неразделимы.

Может быть, это так и есть. Но только не в два с половиной года. В эту пору дети неосознанно счастливы. Все дети, кроме тех, которые страдают тяжёлыми недугами и думают, что жить означает страдать. Чаще они уходят из жизни, оставляя пустоту в сердцах тех, кто им дал эту жизнь, страдание и недоуменный вопрос: почему?

Если болеют дети, нет справедливости в этом мире. Зачем родиться, страдать и умереть? Кому нужна эта жизнь-страдание? Кому нужна эта жертва: Богу? Всех любящему Богу?

Силуан Афонский говорил: Бог любит милующее сердце. Растёт на веточке листочек. Можно сорвать. Ничего в мире не изменится. Но зачем? – спрашивает Силуан. Ползёт по земле букашка. Можно раздавить. Ничего в мире не изменится. Но зачем?

Но человек не веточка от дерева и не букашка. Кто его может сорвать или растоптать? Человеческий грех, порок, проклятие?

Силуан в юности был недюжинной силы. Мог выпить четверть после трудового дня и идти домой не шатаясь. Однажды проломил ударом грудь односельчанину, после чего оставил мир, уйдя в монастырь.

Он понял, что гармония в мире поддерживается не человеком, а Богом в его мире первоначальной красоты. И ничего нельзя менять снаружи. Менять нужно только себя, внутри себя, изучая судьбы Божии и человеческие.

«Бог любит милующее сердце». Бог жалеет листочек, исполненный жизнью, и букашку – воплощённую жизнь. Зачем страдает ребёнок? И, страдая, умирает. Если это так, значит, невозможна гармония? Насколько человек ценнее в глазах Божиих листочка и букашки?

СМЕРТЬ МАМЫ

Мама отличалась сильным характером. Она управляла всем домом, никому не давая расслабляться. Когда заболела, никто этого не заметил. На своём дне рождения, когда приехал из Москвы мой старший брат (он всегда приезжал на её день рождения, первого апреля), она выглядела просто уставшей. Конечно, ей исполнилось восемьдесят два, но она никогда не выглядела бабушкой, отличаясь острым, живым умом, способностью к анализу всего происходящего.

Но позже, просматривая фотографии с последнего дня рождения, я обратил внимание на её глаза. Во взгляде была не повседневная усталость, а утомлённость от жизни. Выцветшие глаза уже не здешние, а потусторонние. Она готовилась. Некоторое время назад она, уже несколько месяцев

не выходявшая из дома, вдруг ушла куда-то, удивив всех, и заблудилась. Она собиралась в долгий путь и как бы испытывала дорогу.

Брат уехал, попрощавшись с ней, а она начала слабеть. Пропал аппетит, она почти не вставала. Я приехал её пособоровать и причастить.

Она села в ночнушке на диване, на котором всегда спала, взяла в руки свечку и со всей серьёзностью сконцентрировалась на Боге. Молилась с покорностью, собрав последние силы.

Когда таинство было закончено, она легла и закрыла глаза. Я попросил её покушать. Она отказалась. Но, спохватившись, из уважения к сану священника, она ради послушания взяла тарелку, ложку, начала есть и сказала:

– Хочешь меня заставить жить?

И посмотрела на меня, ничего не понимающего в жизни.

И я, как всегда, без меры веря в свои силы, сказал:

– Хочу и заставлю.

Она промолчала. Отставив тарелку левой рукой в сторону, легла.

– Не могу. Нет сил.

Потом я уехал, а через несколько часов мне позвонила сестра и попросила срочно приехать. Это было 28 апреля. Мама была очень слаба и бледна. Всегда чувствуешь приближающуюся опасность.

– Надо срочно в больницу! – твёрдо сказал я.

Мама тоже была в страхе. На какое-то мгновение паника овладела ей.

Я позвонил знакомому врачу и попросил устроить маму в больницу, которую как раз окормлял духовно.

Приехала скорая. Носилки не проходили в двери квартиры и узкого и маленького лифта. Нужно было спускаться с девятого этажа по лестнице.

Я попросил санитаров помочь мне. Мы посадили маму на стул и, приподняв его вместе с ней, понесли из квартиры. Всё делалось в суматохе, неловко, грубо.

Она последний раз проявила свой непреклонный характер, сказав мне прямо в ухо, когда я нёс её:

– Всё у вас остаётся на потом. Какая беспечность! Не можете вы по-другому.

В машине скорой помощи она не говорила, а у приёмного покоя больницы произнесла:

– Бедная, бедная Наталия! – Она имела в виду мать моих детей.

А потом она замолчала. Навсегда.

Её отвезли на коляске в палату интенсивной терапии. Она впала в беспмятство. Но я думаю, что она просто замолчала, терпела, потому что, когда ставили уколы или брали анализы, она вскрикивала от боли, как человек, который всё чувствует и всё понимает. Позже я очень жалел, что подверг её последние часы жизни таким испытаниям. Видимо, из эгоизма, чтобы снять с себя ответственность за будущее мамы. Дескать, сделал всё, что мог для её спасения, отдав в руки врачей, которые, кроме боли, ничего ей не принесли, когда надо было возложить упование на Бога и Его милосердный Промысел.

Она всё время зачёсывала свои волосы пальцами наверх и поправляла белую простыню, которой мы с сестрой её поминутно укрывали. Анализы показали острый лейкоз. Болезнь развивалась стремительно, и в следующую ночь, под утро, сердце её остановилось.

Когда я глядел на неё в эти последние часы жизни, я понял, что смерть не страшна. Нужно просто немного потерпеть, как мы терпим лишения, страдания, боль, и этот переход случится.

Дальше началось самое постыдное в моей жизни.

В обиходе среднего персонала больниц есть слово «труповозка» – гадкое, унижительное название автомобиля, старого, заржавевшего от времени. Придумал это название какой-нибудь остряк-даун, слабоумный. Я видел одного такого, сказавшего о бродящих по территории больницы собаках:

– Давай их убьём. Чё им делать?

И подхватили все это название – от санитаров до врачей: труповозка.

Я шёл за мамой, которую везли на каталке к выходу через приёмный покой. Наверное, про меня все забыли. А жизнь, их жизнь шла своим чередом. Каталку подвезли к другой, и маму привычно, равнодушно переложили на простыне два здоровых детины. Потом тот, который стоял в головах у мамы, нажал какую-то педаль, и каталка рухнула вниз, а с ней тело мамы.

Сестра реанимации вытянула из-под мамы застиранную, всю в застарелых пятнах простыню. Может быть, она её пожалела, эту простыню, может быть, это была собственность палаты интенсивной терапии с инвентаризационным номером, но мама осталась лежать на металлической каталке, превратившейся в носилки, которые тут же впихнули в «труповозку». Всё произошло быстро, я был потрясён увиденным. И ничего не успел понять.

Я только жалею, что не дал в морду этому водителю «труповозки» в тот самый момент, когда он нажал на педаль каталки. И я буду с этим жить.

В очередной раз я твердил себе: «Когда же ты научишься реагировать правильно на обстоятельства жизни и давать им мгновенную оценку? Теперь ты понимаешь, что эта оценка исходит из твоих принципов и убеждений, из твоей веры и твоей принадлежности к священным понятиям, которые нельзя переступать и отменять. Когда ты наконец поймешь, что жизнь – это хорошо. Но есть вещи, которые выше жизни. Это верность, служение, достоинство, честь. Если у тебя в доме стоит рояль, а ты не умеешь на нём играть – на кой чёрт тебе этот рояль?! Если ты имеешь жизнь и не умеешь ей пользоваться, то зачем тебе эта жизнь?»!

После этого ужаса я ехал сзади на своей машине и от слёз едва различал дорогу. Ехавшая впереди «труповозка» была покрыта как бы слюдой – от слёз, которые застилали мне глаза. Она летела как сумасшедшая, какими-то ей одной известными дорогами к моргу. Наконец я потерял её из виду, но был даже доволен этим. Я знал, где находится морг, и когда подъехал к нему, то маму уже вынесли из машины и внесли в здание морга, стоящее отдельно от больницы. Я вошёл в одноэтажное здание и спросил доктора:

– Я могу вас попросить не вскрывать Седогину, мою маму, её только что привезли?

– Не положено. У нас для всех без исключения проводятся исследования.

– Дело в том, что мама была верующим человеком. А это оскорбление чувств верующего.

– Какие чувства, ей уже всё равно.

– Это неправда, мама всё видит и слышит. Я документ, справку привёз, вот, подписано главным врачом медсанчасти Кондратьевым.

– А-а-а, тогда хорошо, хорошо. Нам меньше работы.

Я вышел на улицу, вдохнул свежего воздуха.

Мама очень боялась вскрытия и неоднократно говорила об этом. Она всегда рассказывала папе о том, как однажды человека, погибшего в автокатастрофе, из морга отдали родственникам в гробу, а потом, на другой день, нашли в морге под столом его руку. Куда её девать? Тело, которому она принадлежала, уже похоронили. Тогда руку засунули в живот другого тела, которое по случаю вскрывали на этом же столе, и зашили: ему же всё равно, этому телу.

Маму обмыли и одели в одежды, которые привезла сестра. А на ночь маму уже в гробу привезли в храм, наш храм. И я готовился остаться с ней на всю ночь, чтобы вычитать Псалтирь.

Время разделилось на отрезки. Полной картины в моём сознании не существовало. Один отрезок был ярче, другой более тусклым. Но это были только отрезки, которые выхватывало сознание из как будто замедлившегося хода жизни. Гроб стоял у канона против Распятая. Вечерняя служба продолжалась. Я находился в Алтаре и ждал, когда допоют и дочитают последние молитвы, все разойдутся и я начну заупокойную панихиду.

В храме было особенно тихо. Люди сочувствовали мне, поддерживали словом, взглядом. К моему удивлению, после отпуска никто не ушёл. Когда я вышел из алтаря с кадиллом и направился к канону, то увидел, что все стоят с зажжёнными свечами: остались, чтобы помолиться вместе со мной у гроба моей мамы.

Слёз не было. Покой вошёл во всё моё существо. Я читал девяностый псалом, совершал каждение и думал о том, скольких людей за свою священническую жизнь я отпел. Теперь пришла очередь той, которая дала мне жизнь. «Да молчит всякая плоть человека», – пронеслось в моей голове, и я ощутил пустоту и одиночество. Её тело было успокоено. Это было другое тело, из которого ушло тепло, ушла жизнь. Оно было холодное и чужое. Прикосновение к нему было пугающим. Совсем недавно родное тепло исходило из этих рук и согревало участием и заботой. А теперь тело окоченело и застыло, всё в нём было овеяно присутствием смерти. Дальше мысль останавливалась. «Да молчит всякая плоть человека».

Люди расходились, скорбно поглядывая в мою сторону. Храм опустел.

Я вышел на улицу и увидел вдалеке Веру, которая сейчас же спряталась за близстоящее строение школы. Я смотрел в её сторону и ждал, когда она выглянет. Через минуту Вера по-детски высунулась из-за угла. Я сделал ей знак рукой. Она, застигнутая врасплох, пошла ко мне.

– Простите меня, – говорила Вера, подходя ближе, – я очень испугалась всего происходящего. Я испугалась за вас. Как вы себя чувствуете? Вы будете здесь ночью, мне сказали...

Она вглядывалась в моё лицо и говорила, говорила...

– Вы очень переживаете, конечно. Я знаю, знаю, как больно, когда отец или мама умирают. – Вера была взволнованна и как бы не в себе. – Как же вы будете здесь один? Я пришла, чтобы быть с вами. Вы разрешите с вами, ночью, когда вы станете молиться?

– Нет, Вера, что вы, – остановил я её, – я должен быть с мамой наедине. Это последняя ночь, когда я могу что-то ещё успеть сделать для неё.

– Я понимаю, понимаю, – говорила разочарованно Вера, – но, может быть, вы голодны, а я принесла вам чай в термосе и бутерброды, вот... – Она протянула мне сумку.

Я хотел отказаться. Но Вера предлагала с такой нежностью и заботой, что я взял пакет, зная при этом, что он мне не пригодится.

– А можно мне завтра прийти? – спросила Вера.

– Приходите.

– Берегите себя, – сказала Вера, взяв меня за руку, – вы мне очень дороги, я вас очень люблю.

Она развернулась и побежала прочь.

Темнело стремительно. Вечер был тихий, не шевелилась ни одна ветка. Покой царил в природе и в моей душе.

Я вошёл в храм, где лежала моя уснувшая мама, запер дверь, включил дежурный свет. Стояла пронзительная тишина. Лики икон смотрели со всех сторон торжественно и бесстрастно. Я остановился и почувствовал, как по полу потянуло холодом.

– Надо читать, читать и ни о чём не думать. Маме нужна молитва.

Я ходил по пустому храму, каждый шаг по плиточному полу гулко звучал в пространстве. Я поставил аналой, большой подсвечник, зажёл свечи и открыл Псалтирь.

– Блажен муж, иже не иде на совет нечестивых... – начал я громко.

Поздно ночью, около трёх часов, в железную дверь храма постучали.

Пришли матушки, чтобы подменить меня в чтении.

Отпирая дверь, я сказал, что Псалтирь вычитал до конца.

– Ну, мы почитаем с начала, сколько успеем до службы. Благословите нас.

– Бог благословит, – сказал я и перекрестил их.

Они дали мне ключ от квартиры, где я должен был перед службой отдохнуть.

Пока я одевался в алтаре, они начали чтение.

Я подошёл к маме, перекрестился и поцеловал её холодную руку.

– Благодарю вас, что вы меня поддерживаете, – сказал я провожавшей меня схимонахине Алипии.

– Благодать, батюшка, благодать, – говорила матушка.

На улице было по-весеннему прохладно и пустынно. Дом, в котором жила схимонахиня Алипия, находился рядом со строящимся храмом.

Я открыл дверь и вошёл в маленькую однокомнатную квартирку. За перегородкой была постелена чистая постель, положено полотенце.

Я лёг не раздеваясь и мгновенно заснул.

Утром совершал Литургию. Народу собралось много. Среди прихожан храма у гроба стояли брат и сестра, мои дети. Приехали мамин старший брат Михаил, с которым наша семья почти не общалась, другие родственники. Все они слились для меня в невнятную массу, смешавшуюся с текучим, как резина, временем. Фигуры в чёрных одеждах и скорбные глаза. Мелькнуло лицо Веры.

Служба была особенная. Глубина Божественной Литургии постигается в такие минуты, когда Бог нераздельно близок. Я молился каждым словом древнего текста и чувствовал невидимую душу мамы, которая была здесь, рядом с нами.

Приехал отец Александр, вошёл в Алтарь, молча положил три земных поклона Престолу, приложился и обнял меня, сухо сказав:

– Держитесь.

Отец Александр был моим учеником. Ездил со мной в деревни, в которые меня посылало церковное начальство, помогал. А потом принял решение стать священником.

Я попросил его вчера возглавить чин погребения. И он не отказал, приехал.

– Благословите исповедовать людей, – обратился ко мне отец Александр. Я согласился.

Причастников было на удивление много.

После отпуста народ расступился, маму перенесли и поставили напротив Алтаря. Облачился отец Александр, и мы вышли ко гробу.

При виде скорбных лиц людей, слёз в глазах сестры и Веры горловой спазм душил меня, и неудержимые слёзы наполняли мои глаза всю службу отпевания.

Потом потянулась процессия на кладбище, люди из храма не оставили нас, шли за медленно идущей машиной. Затем у края могилы соверши-

лись лития и прощание. Казалось, что это никогда не закончится, потому что в груди поселилась тупая боль и уже не отпускала. Поодаль я увидел младшего сына, который глядел на меня, и слёзы текли по его щекам. Дальше стояла Вера и пристальным взглядом глубокого сочувствия не отрываясь смотрела в мою сторону. Это было просветление моего сознания, которое как бы искало опоры и, находя, продолжало существовать.

МАККЕНА

Макенский позвонил вечером. В голосе слышались нотки человека очень довольного собой, благодушного, снисходительного. Он говорил неторопливо, с глубоким чувством собственного достоинства. Это был голос значительного, большого человека. И ты должен был понять это сразу. Почувствовать всем существом, до робкого холодка в позвоночнике. Скольких людей приводил в панику этот голос? Можно было только догадываться. Но обладатель этого голоса ловко, артистично манипулировал им. Это была игра. А может быть, это была жизнь. Сам хозяин голоса уже не отличал, где жизнь, а где игра. Его возможности позволяли ему не жить в привычном смысле этого слова, а лететь над жизнью. И он привык к ощущению полёта. И ещё в голосе слышатся запах дорогого парфюма, приспущенного галстука и коньяка высшего качества.

Он обращался ко мне на «ты» с первой фразы.

– Вечер добрый, – послышалось в трубке, – ты можешь не вспомнить, но я сейчас постараюсь объяснить, кто я. Э-э, меня зовут Макенский Борис Николаевич. Я вице-президент Александровского банка Москвы. Не знаешь меня?

– Простите, нет.

– Мне твой телефон дал Пыжов Сергей Иванович.

– А, Сергей Иванович Пыжов...

– Да, Пыж. Мы когда-то тренировались вместе. Ты постарше нас на три-четыре года. Признаюсь, мы восхищались тобой. Ты был уже звезда, а мы только подрастали. Меня звали Маккена, не помнишь такого?

И вдруг в моей голове возникла картина. Спортивный комплекс, зал, ринг... Соревнование по боксу. Может быть, первенство города. И на ринге мальчишка из нашего клуба с именем Маккена. Длинный, в белых трусах и красной майке. Худой, немного трусливый на ринге. Про таких говорят: «Не боец». Мы сидим с ребятами на балконе и кричим это удивительное имя, болея за наш клуб: «Маккена, Маккена, Маккена!..»

– Да, я помню прекрасно. Это имя «Маккена» прямо звучит в моей голове, – оживлённо заговорил я. – Благодарю вас, что вы мне позвонили и напомнили счастливое время нашего детства. Но что у вас случилось? Нужна помощь священника?

Макенский был доволен, что я так быстро вспомнил его.

– Ты правда помнишь меня?

– Вспоминаю зал, по-моему, «Спартак». Главного судью Волкова и тебя на ринге. Город, по-моему, первенство города.

– Точно. Молодец, уважаю! – он довольно засмеялся.

– Я завтра приеду. Звоню тебе из другого города. У мамы годовщина в этот день. Ты поможешь со службой?

– Конечно.

– На кладбище.

- Ну что ж, погода позволяет. Отслужим.
- Мама умерла год назад. Похоронил там, на нашем кладбище, вместе с отцом. Отца нет уже четыре года... – Он вздохнул. – Знаешь, тяжело терять близких. Особенно мать...
- Я понимаю, моя мама умерла совсем недавно.
- Ах, вот как? Недавно...
- Мы помолчали.
- Мне Пыжов сказал, что ты строишь храм. Сколько раз проезжал мимо твоей стройки и не знал, что это Седогин строит. Я тебе денег привезу завтра. Давай, пока.
- И он положил трубку.
- Вице-президент Александровского банка Москвы, – вслух произнёс я. – Это хорошо.

Время было позднее, я помолился и лёг в постель.

– В руке Твои Господи предаю дух мой. Ты меня благослови, Ты меня помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь.

Но сна не было. Я поворачивался с боку на бок. Тело устало за сегодняшней день, и хотелось уснуть, чтобы восстановить силы перед завтрашним трудным днём. Но на душе было тревожно. Я думал о маме. Её похоронили. А мир продолжает жить прежней жизнью. Казалось, что в нём ничего не изменилось. И так происходит всегда. Приходит и уходит человек, и кажется, что его никогда не было. Уйду когда-то и я, и тоже всё будет, как прежде, существовать, а меня уже не будет среди всего этого многообразия жизни. И только кратковременная память молитвенно хранит образы любимых людей и воздаёт за них в Алтаре «бескровные» жертвы, принесённые к Богу.

Сон не приходил. Тогда, поднявшись, я сел за письменный стол и щелчком включил лампу. Буду писать ему.

«Дорогой мой сын. Когда моя мама, Александра, Царство ей небесное, и твоя бабушка вдруг заболела, я не помню тебя около себя. Видимо, я тебя жалел. Ты ещё так молод. Но зато похороны я буду помнить всегда.

Маму пришлось проводить много народу на кладбище. Но я никак не мог сдерживать слёз. Душа моя разрывалась, комок подступал к горлу, и рыдания душили меня. И в толпе поодаль я увидел тебя в этот самый момент моей слабости. Ты видел мои слёзы и плакал вместе со мной. Это были слёзы твоего сердечного сострадания мне. Я никогда этого не забуду. Я понял, насколько глубоко ты сопереживаешь. Нет, ты плакал не из-за бабушки, потому что она не воспитывала тебя и у вас не было таких уж близких родственных отношений. Ты жалел меня. Я всегда, всегда буду помнить эти твои слёзы жалости и сопереживания моему страданию. Человек, внутренний человек, то есть настоящее содержание личности проявляется как раз в трагические минуты жизни. Начинает звучать его сердце. «...И восстанет сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа...» – так сказал апостол Пётр о женщине. Я почувствовал, что ты, несмотря на все наши разногласия и ссоры, по-настоящему любишь меня. Господи, помоги мне никогда не забывать этого при общении с тобой!

Я хочу написать тебе несколько слов о твоей бабушке.

Она родилась первого апреля. Представляешь, в наше время это был праздник лжи. Люди были самими собой. Им не нужно было скрываться и прятаться, как они делают в остальные дни года. Они просто были сами-

ми собой. Это была подлинная мистерия, или карнавал эпохи Франсуа Рабле, когда устраивались «праздник дурака», или «праздник осла». Этот день, первое апреля, давал совершенно иной, подчёркнуто неофициальный, внегосударственный аспект мира, человека и человеческих отношений. Сейчас я этого в жизни общества в отношениях между людьми совсем не наблюдаю. Кроме вульгарности и пошлости, а также гомерического хохота. А между тем, «первого апреля – никому не веря», люди как бы строили по ту сторону всего официального, всего наносного второй мир и вторую жизнь, к которым, как в эпохи Средневековья и Возрождения, они были в большей или меньшей степени причастны. В которых они в определённые сроки (мистерий и карнавала) жили. Это была особого рода двумерность. Она касалась жизни общества, которое жило в состоянии дозированной лжи. Эта жизнь затрагивала и отдельного человека, который проживал её как захватывающий детектив, находясь в состоянии лжи не только по отношению к людям, но и по отношению к самому себе. В этот день мистерии и карнавала родилась твоя бабушка. Я думаю теперь, что это определило её судьбу. Она всю жизнь была борцом за правду и за настоящее, подлинное движение души. При ней невозможно было кривляться или играть, быть гордым и тщеславным. Она всегда поставит на место. Часто она говорила мне, увлечённому искусством, словами Станиславского:

– Вы любите не искусство, а себя в искусстве.

Почти не имела друзей, не праздновала дни рождения. Не любила. Не любила также и веселий и никуда никогда не ходила. Особенно вторую половину своей жизни. Она говорила: «Всю жизнь прожила среди дураков...» Так, видимо, она называла нас, своих близких. Или, может быть, имея в виду день первое апреля, когда творились мистерии. И ушла она в этом же месяце, апреле, только тридцатого числа, прожив восемьдесят два года...»

Заворочался ключ в замочной скважине, и дверь потихоньку начала открываться, предательски заскрипев. Пришёл Иван. Я взглянул на часы. Два пятнадцать ночи. Я вытянул из розетки вилку, и свет настольной лампы погас. Осторожно дошёл до кровати, прилёг и затих. Слава Богу, он дома. Тревога ушла. Допишу потом. Я могу спать.

ВЕРА И ЖИЗНЬ

– Я принесла то, что вы просили. Получилось ещё восемь страниц.

– Благодарю вас, спасибо. Вам понравилось?

– Да, мне всё понравилось. Это будет настоящая книга. Я так хочу, чтобы вас читали, чтобы вы скорее закончили и все узнали то, о чём вы пишете. Потому что это очень, очень важно.

– Я вам благодарен за помощь. Я бы не справился один с этими техническими сложностями.

– Ну что вы, мне это совсем не трудно. Тем более что я не работаю. И времени у меня предостаточно. Пишите скорее. Так хочется уже это всё напечатать, – она сказала с каким-то детским азартом. – Только знаете, на меня ваши рукописи, ну, которые я печатаю, оказывают воздействие.

– Это, слава Богу, хорошо! – обрадовался я. – Это означает, что написанное мной волнует. В этом материале есть художественность.

– Это конечно, но я хотела сказать, что это оказывает на меня воздействие не как на читателя, а как на человека, понимаете?

– А как можно разделять читателя и человека? – удивился я. – По-моему, читатель и человек – это одно и то же лицо. Разве не так?

– Нет, это не так... – она подыскивала слова. – Читатель – он прочёл, что-то ему понравилось, что-то не понравилось, но он прочёл, и всё. А человек, ну в данном случае я, воспринимает это по-другому.

– Как это – по-другому?

– Он погружается во всё это и переживает, и эти переживания не оставляют человека ни днём, ни ночью. И он думает о том, как автор может со всем этим жить и как ему не больно и не страшно всё это носить в себе, понимаете?

– Понимаю...

– Нет, вы не понимаете! – она возвысила голос и начала говорить взволнованно: – Я такой жизни никогда не знала. До самого окончания института я была самым счастливым человеком на свете. Я могла радоваться как ребёнок всему, что меня окружало. Я, конечно, ничего не видела. Я даже могла заблудиться в своём собственном городе, потому что мама нас с сестрой очень любила и всё нам позволяла, но мы никуда не ходили. Я знала свою улицу с магазинами, школу, походы с мамой на рынок и больше ничего. А теперь через вас я узнала жизнь других людей и поняла, что ничего светлого, хорошего в ней нет. Одни страдания, мучения. Скажите, почему это всё происходит?

– Таков удел священника, – ответил я, не глядя ей в лицо. – Видеть жизнь с той стороны, с которой люди не могут её видеть. Старость, одиночество, страдание, болезнь, смерть...

Я взглянул на неё. Она смотрела на меня широко раскрытыми, печальными глазами, в которых стояли слёзы.

– Но я не хочу такую жизнь.

– Вера, простите меня. Я не буду давать вам свои листочки...

– Нет, нет, что вы, – она ладошками вытирала слёзы, – я не это хотела сказать. Вы меня не поняли.

– Я думал, что вы уже большая.

– А какая же я, когда мне уже двадцать три года?

Я улыбнулся, видя её решительность.

– Большая в том смысле, что вы уже понимаете весь трагизм жизни.

– Я понимаю, понимаю. И я готова преодолевать, – она спешила прояснить ситуацию. – Простите меня, что так много времени у вас заняла, и простите мои слёзы. Ладно? Я буду ждать ваши рукописи каждый день. Вы только пишите. Благословите меня.

Я перекрестил её и положил руку в её тёплые ладошки. Она коснулась её горячими губами и крепко сжала мою кисть. На моё запястье упала капелька её слёз.

– Я пошла, – сказала она, приподняв голову.

– Идите, Вера.

Она сделала несколько шагов, остановилась и, повернувшись, сказала:

– А можно вас попросить?

– О чём?

– Не называйте меня на «вы», пожалуйста.

– Хорошо, Вера.

– Ведь вы же Бога называете на «ты»?

– Да.

– Что же вы меня, соринку, называете на «вы»?

– Ты не «соринка», Вера, ты удивительно красивый человек.

– Правда?! – Вера даже подпрыгнула от радости. – Вы это мне правду сказали?

– Истинную правду.

Улыбка не сходила с её уст.

– Так не хочется от вас уходить. Бабушки говорят, что вы благодатный. Я сначала смеялась, не понимая этого, а это так подходит вам. А теперь очень даже понимаю и с ними согласна. Берегите себя.

Она повернулась и торопливо пошла.

– Вера! – крикнул я вдогонку.

Она встала как вкопанная.

– Ты забыла про листочки.

Я вручил ей новые свои записи, и она убежала.

РАСТЛЕННАЯ ПРОСТОТА

Это была молодая женщина лет тридцати пяти. Добротой светилось её лицо. Когда она смотрела в глаза, выделив вас из толпы, казалось, она хочет сказать что-то приятное, радостное, что-то важное, сокровенное открыть со всей искренностью своей души. Вам и только вам, прямо из глубины своего измученного сердца. А когда видела в чьих-то глазах сочувствие, спешила навстречу, застенчиво и блаженно улыбаясь. Это можно было бы назвать предельной простотой кроткой русской женщины, несущей во всём своём существе Истину Христову. О таких сказал ученик Христа, апостол Пётр: «...сокровенный сердца человек в нетленной красоте кроткого и молчаливого духа». Красоте незащищённой, стыдливо-застенчивой, по-детски открытой.

Мне казалось, что я знаком с ней. Только я не мог вспомнить, когда и где мы встречались. Что она относилась ко мне как к давнему знакомому, не было никаких сомнений. Она смотрела на меня, ласково и приятно улыбаясь. Так, как смотрел бы родной человек, только вчера простившийся со мною после весёлого продолжительного общения.

Я не думал о ней, не копался в своей памяти. За двадцать лет священнической деятельности большое число людей обращались за помощью. Все они рассказывали сокровенные подробности своей жизни, которые можно поведать только очень близкому человеку, рассчитывая на добрый совет и утешение. Вскоре я забывал их. Носить в себе то, что открывали люди, было бы тяжёлым бременем. Таинство священства защищает человека-священника. Он как бы состоит из двух сущностей: одна – психологическая, душевная, другая – таинственная, мистическая, связанная с божественной благодатью Духа Божьего. И там, во второй сущности, как в большой комнате, похожей на архивное помещение с множеством полок, располагаются судьбы людей, открывшиеся в Таинстве Исповеди. От этой комнаты есть ключи только у посвящённых в тайну жизни человека. В эту дверь может войти Бог или священник, который явился свидетелем приоткрывшейся жизни. Он непрерывно молится перед Творцом, пребывая в Таинстве. Эта жизнь в молитве сокрыта от глаз людей. Но она более реальна, чем внешняя жизнь, похожая на иллюзию или затянувшееся сновидение. В ней тьма и свет, как две половинки зеркала, отсвечивая, бросают на души яркие блики: то лоснящейся бездной, то сверкающим нетварным Божественным светом. Тайна священника заключена в том, чтобы, находясь на границе жизни и смерти, света и тьмы, времени и вечности, указать человеку путь к спасению души.

Потом приходили другие люди и приносили свои заботы и тайны. И бывало, на улице, при случайной встрече, кто-то приветствовал меня радостной улыбкой и благодарным взглядом. Я отзывался:

– Как вы поживаете? Всё ли у вас наладилось в жизни?

Получал ответ с поклоном.

– Спасибо вам, всё хорошо.

А я не мог вспомнить обстоятельств, при которых узнал встретившегося мне человека, хотя лицо его было знакомо...

Она часто во время богослужения подходила ко мне со спины и осторожно касалась меня своей рукой. Прихожане «шикали» на неё. Они терпели её беспорядочные передвижения по храму, громкий разговор перед иконами, у которых она останавливалась. И только иногда во время службы, когда кто-то из пожилых прихожанок делал ей замечание или даже физически воздействовал на неё, она возвышала голос, срываясь до крика:

– Что вы все лезете ко мне? Оставьте меня в покое!

Но при этом была удивительно послушна. Если в момент её раздражения на бабушек я смотрел на неё, она ретировалась, виновато улыбаясь и показывая мне жестом, что больше никакого шума не будет.

Её можно было бы отнести к юродивым, блаженным, странным. Вообще к больным людям, которых в дореволюционной России, да и в СССР было множество возле храмов и монастырей. Их народ жалел и любил. Её можно было бы охарактеризовать словосочетанием «святая простота», если бы не одно обстоятельство: она всегда была пьяна. Будь то раннее утро, которое в церкви начиналось с чтения Богослужбных часов перед Литургией, или вечер, когда служилась Вечерня. Она приходила в том «блаженном» состоянии, которое, как ей казалось, и является настоящей радостью. На самом деле эта была подмена подлинного духовного блаженства в присутствии Божества на добровольное подчинение себя одурманивающему действию алкоголя.

Святая простота – феномен, встречающийся нередко среди русского народа. Даже слабоумие в сочетании с сердечной добротой – вот, пожалуй, его точная характеристика. В ней же была растленная простота.

Её появления в храме были навязчивыми, и я видел, что это раздражает многих. Но моё отношение к ней не изменялось. Я жалел её. Обычно она пребывала в храме недолго, до того момента, когда кто-то из прихожан не «обидит» её. Она уходила и в этот день уже не возвращалась.

Однажды она пришла утром не одна. С ней был молодой парень, которого она, похоже, насильно затащила в храм и толкала его, заставляя подойти к иконам, поставить свечи, обратиться ко мне.

Он упирался и в своей строптивости напоминал большого подростка, которого родители заставляют быть послушным. На вид ему было лет двадцать пять. Бросались в глаза крепкая, атлетическая фигура, сильные руки с крючковатыми пальцами и коротко подстриженными и обгрызенными ногтями. Узкий лоб и серые маленькие глазки, в которых не было ни одной мысли, дополняли портрет. Он был пьян, как и она.

Её толчки уже напоминали потасовку. И кто-то опять не выдержал и сделал замечание. И тогда молодой человек вылетел в дверь, за ним, бросив несколько громких фраз в сторону прихожан, вышла она.

На следующее утро они появились вновь. По храму прокатился шумок. Я стоял за аналоем и вёл беседу с исповедником. Она подталкивала парня ко мне. Я заметил, что они, как и вчера, были пьяны. Она подвела его без очереди, встала за ним вплотную и, загородив всякое отступление назад,

что-то шептала на ухо. Когда я вгляделся в её лицо, то обнаружил свёрнутый набок нос – результат сокрушительного удара кулаком по лицу, отчего оно погрубело, потеряло невинность и прежнюю целомудренно-блаженную привлекательность.

«Как жаль», – подумал я.

Когда от меня отошёл исповедник, поцеловав Крест и Евангелие, она заставила своего напарника подойти ко мне вплотную.

– Исповедуйся, исповедуйся, – настойчиво, пьяно шипя, говорила она ему в самое ухо.

Я попросил её отойти в сторону. Она послушно отступила и молча переводила взгляд то на меня, то в пол. Я понял: случилось что-то серьёзное.

– Как твоё имя? – обратился я к этому пахнущему перегаром и потом существу.

– Петя, – ответил он как подросток.

– Пётр, – твёрдо поправил я, и спросил: – Ты пришёл исповедоваться?

– Да, – храбро произнёс он и вызывающе взглянул мне в глаза.

«Пьяному и море по колено, не то что страх перед исповедью», – промелькнуло в моей голове.

– Наклони голову, – попросил я его.

Он продолжал стоять прямо.

– Наклони голову к Кресту и Евангелию, а я накрою тебя епитрахилью.

Я поднял епитрахиль, накинул ему на голову и с силой, но осторожно нагнул её.

– Покайся, в чём ты согрешил, – тихо сказал я.

Он прокашлялся и хрипло произнёс:

– Я человека убил.

– Человека убил? – с тревогой переспросил я и взглянул на неё.

Она, встретив мой взгляд, заговорщицки кивнула и стыдливо опустила глаза.

– Да, человека убил.

– А ты заявил об этом в полицию?

– Нет.

– Понятно, – сказал я и стал слушать дальше, но Пётр молчал.

– А при каких обстоятельствах ты это сделал? – осторожно спросил я, хотя понимал, что для исповеди это не имеет значения. Ведь я не следователь, не прокурор, чтобы уточнять обстоятельства дела. Он убил – и это страшный грех.

– Его надо было убить, – сухо произнёс Пётр, как бы прокручивая в голове всё случившееся.

– И ты убил?

– И я убил.

Я опять посмотрел на неё, на людей, ждавших своей очереди, которые будут говорить, что грешны «словом, делом, помышлением...». А тут такое!..

– Знаешь, – сказал я ему, – ты должен прийти ко мне в другой раз, трезвым, понимаешь? Совершенно трезвым. И тогда мы с тобой всё обсудим. Я не могу сейчас об этом со всей ответственностью говорить. Ты пил сегодня?

– Пил.

– Вместе с ней?

– Да, вместе, и вчера, и ночью, и утром мы пили.

– Она тебе дорога?

Он кивнул головой.

– Зачем ты заставляешь её пить? Женщине нельзя пить алкоголь, понимаешь? Ты её уничтожишь этим. Это ты сломал ей нос?

– Я.
– Зачем ты ударил её?
– Потому что достала.
– Ладно. Ты, Пётр, иди. Я буду ждать тебя здесь, в храме, трезвым. Договорились? Ты придёшь?

– Может быть, приду.

Он отвернулся и, качнувшись, пошёл наискосок через толпу к двери.

Она побежала за ним.

Подошла следующая исповедница. Наклонила голову к Кресту и Евангелию, я накрыл её епитрахилью, а она сунула мне в руку записку с грехами. Я надел очки и прочитал: «Гордилась, не соблюдала заповеди... маловерием, осуждением...», а в конце: «великая грешница Раиса».

«Великая грешница – это уже святая», – подумал я.

Я читал, а сам всё размышлял о них. Зачем она привела его ко мне? Видимо, он ей дорог. Она по-своему любит его и переживает за него. Но с ним нельзя быть после того, что случилось. И потом, это он спаивает её и бьёт. Он пьян. Что может возникнуть в его голове? Что он может надумать после разговора со мной?

На душе стало неприятно. Я постарался об этом забыть.

Служба закончилась. Очередь выстроилась к святому Алтарю. На клиросе кто-то из девочек читал молитвы Последования ко святому Причащению. Это была Аня, одиннадцатилетняя школьница. Она звонким голосом чеканила:

«...Смирися и ныне смирению моему; и якоже восприял еси в вертепе и в яслех безсловесных возлещи, сице восприими и в яслех безсловесных моя душа, и во оскверненное мое тело внити. И якоже не удостоил еси внити, и свечеряти со грешники в дому Симона прокаженного, тако изволи внити и в дом смиренных моя душа, прокаженных и грешных; и якоже не отринул еси подобную мне блудницу и грешную...»

...И якоже не возгнушался еси скверных ея уст и не чистых, целующих Тя, ниже моих возгнушайся скверных оня уст и нечистых, ниже мерзких моих и нечистых устен, и сквернаго и нечистейшаго моего языка».

Читала серьёзно, но невдумчиво, и все так же серьёзно и невдумчиво слушали Аню, и никто не заметил парадокса происходящего.

«Сюрреализм бытия», – пронеслось в моей голове.

БОЛЕЗНЬ ВЕРЫ

Вера заболела и не приходила несколько дней. Моего номера телефона у неё не было, у меня не было её телефона, и связаться с ней было невозможно. Я часто приезжал на стройку с утра и по нескольку раз в день с одним желанием – увидеть Веру. Я представлял себе, как она стоит в своём лёгком плащике, перепоясанном пояском, и держит в руках белые листочки с текстами моих размышлений. Она пришла ко мне и ждёт только меня одного. Но её всё не было. Какая-то навязчивая мысль о ней преследовала меня. С каждым днём нарастала внутренняя тревога. Словно два человека действовали во мне. Один продолжал обычную жизнь, заполненную службами, стройкой, общением с сыном. Другой думал о вере и смотрел на обычные дела сторонним, холодным взглядом, не углубляясь в происходящее. Казалось, время замедлило свой бег, и все события этого периода жизни и встающие на пути люди раздражали этого другого человека. Он хотел

только одного: чтобы время шло быстрее, настолько быстрее, насколько это возможно до появления Веры.

Я вдруг понял, что происходящее с моим «другим» человеком начинает беспокоить меня. Эта навязчивая зависимость от Веры, от общения с ней была болезненной и странной. Хотелось видеть вновь и вновь её внимательные глаза, её заботливую нежность. Пронзительную незащищённость и радостное доверие к жизни. Её открытость, искреннюю прямоту, а главное – её трогательное отношение ко мне, готовность сделать для меня всё что угодно. Защитить, закрыть от страданий, от боли, от ужаса жизни. Эта готовность читалась в каждом её слове, в каждом взгляде, в каждом жесте. Что это? Я не хотел до времени отвечать на этот вопрос. Хотелось купаться в этих удивительных девичьих энергиях вновь и вновь. «Помнишь ли ты слова, – скорее утверждал, чем спрашивал мой «другой», – немецкого писателя, кажется, Гессе: «Человек обнимает Бога, а когда открывает глаза, в объятиях находит женщину»? Какая ересь!» – сам себе удивлялся я.

Веры не было уже четыре дня. Приехав в очередной раз к храму и не увидев её, я деловито обошёл площадку, оглядываясь по сторонам, поговорил с Тихоном Антоновичем, сделал некоторые распоряжения и уже направился к машине, когда ко мне подбежал школьник.

– Вам велели передать, – сказал мальчишка и, сунув файлы с листочками, заторопился прочь.

Я не стал окликать его, так как понял, что это весточка от Веры.

Я сел в машину, закрыл дверь и стал извлекать из хрустящего файла листочки. Из вороха бумаг выпал маленький, мелко исписанный листочек. Это была записка от Веры, в которой она сообщала о своей болезни, извинялась за долгое отсутствие. И ещё она просила о встрече через два дня, вечером, в саду известной больницы: «Вечером там безлюдно и можно спокойно поговорить». При этом она просила, чтобы я пришёл «в светском платье». Ещё была строчка, наглухо замазанная чернилами. И приписка: «Ваша Вера».

Я обрадовался этой записке с неуверенным почерком Веры.

КРОВЬ

«Дорогой мой мальчик! Вчера приезжал модный публицист Проханов. Пошёл послушать. Публика пришла соответствующая. Националисты. Мужчины и женщины. В книжном магазине с большим отделом православной литературы, историческим отделом, со множеством книг о русских и советских военачальниках, пронациональные публицисты Олег Платонов и другие. На стенах портреты Жукова, Суворова, Кутузова, императора Николая Второго и другие. Прижизненные портреты Григория Распутина и «икона» царя Ивана Грозного, канонизированного не Церковью, а теми же националистами.

Стулья поставили в зале магазина, рассаживались долго. В воздухе царил атмосфера избранничества, посвящения в «мы, русские», и сплочённая враждебность, готовность сейчас выступить против врагов видимых и невидимых. Презентовалась книга гостя «Русский». Роман с названием более публицистическим, чем художественным. Название – призыв, манифест, программа.

Когда вошёл автор, все возбуждённо заплодировали. Организатор встречи – Сергей Ястребов, директор и хозяин книжного магазина, живущий в деревне и не пускающий своих детей в общеобразовательную школу, чтобы не заразились духом времени. Он платит зарплату учителям, которые при-

езжают к нему в деревню, чтобы учить его детишек под строгой цензурой отца. Тоже избранники из «русских». Советовал учить китайский вместо международного языка английского, потому что Китай будет дозвель в мире. В церковь не ходит. Но роль Церкви в истории России не отрицает. Говорит снисходительно, Церковь «похлопывая по плечу». Провинциально-услужливо бегал по залу магазина, демонстрируя бурную деятельность и причастность к чему-то большому, великому.

Модный публицист говорил о державности России (державном, имперском сознании). О Киевской Руси, Московском царстве, романовской России, сталинской империи и, может быть, грядущей державе Президента Путина. О странной судьбе русского народа среди других народов мира. Об идее инока Филофея «Москва – Третий Рим, и четвёртому не бывать». О Риме, который под своими крылами двуглавого орла жертвенно объединяет другие народы, живущие в радости и счастье под этим божественным покровом имперского духа.

Все мужчины, собравшиеся на этой встрече, никогда не бывают в церкви, никогда не каются и не причащаются Тела и Крови Спасителя. А когда приходит Церковь в их дом, когда случаются трагические события, связанные со смертью близких, они выходят из пространства, в котором пребывает священник, совершая отпевание. Они выходят покурить, обсудить происходящее. Они сурово переживают. Лирика жизни не для них. Это женщинам и бабушкам надо молиться...

И они, как всё русское общество, не понимают, что многомиллионные жертвы русского народа, принесённые на престол имперского отечества, коренятся в идеологии бессмертия. Потому что никаким бездуховным патриотизмом и псевдолюбовью к косовороткам и берёзкам, полям, ветрам России невозможно оправдать эти кровавые жертвы, принесённые ради единства и благополучия народов за счёт одного народа-страдальца. Что двигало им, народом-мучеником? Вера в вечные, непреходящие ценности правды и истины? «Милость и истина сретостесь, правда и мир облобызастесь...» Невозможно объяснить интернациональный долг категориями этого мира. Здесь нужно видение на мир из Вечности. Это духовный взгляд, сакральный на события русской истории. Этот взгляд сформировала Церковь через Христа Воскресшего. Жертвы, миллионы жертв помрачают наше сознание бесчувственностью. А между тем каждый отдельный человек со своей жизнью и судьбой страшился, испытывал боль, любил, радовался, плакал, отчаивался. И каждый стоял перед выбором добра и зла, действовал, движимый по таинственному зову крови. Кровь – вот таинственная сила. Жертвы могут быть осмыслены только идеологией бессмертия. Эта идеология живёт в ментальности русского человека. В крови русского человека. Кровь – это важная вещь!

Иоанн Кронштадтский знал, как важна кровь. Он всю свою жизнь причащался Крови Христовой, совершая святую Евхаристию каждый день. Чашу наполнял до краёв и потреблял эту Чашу Крови Христовой.

Кровь. Она несёт не только жизненную энергию по телу, она, пульсируя, несёт программы и коды принадлежности к идеологии бессмертия. «Пийи Мою Кровь во Мне пребывает и Аз в нем». Пейте, пейте Кровь Господа Христа!

И Россия пила эту Кровь. За тысячелетнюю историю Святой Руси потоки крови текли из жертвенной Чаши и напоили русских людей бессмертием, животворящей Кровью Агнца, которой приносилась жертва сокрушенного и смиренного духа.

«Господи и Владыко живота моего! Дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не даждь ми. Дух же целомудрия, смиренномудрия, терпения и любви даруй ми, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй ми зрети мои прегрешения и не осуждати брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь».

«Твоя от Твоих, Тебе приносяще о всех и за вся» – написано на символической Чаше в память Бородинского сражения в Спасо-Бородинском монастыре. В основании Чаши лежат ядра от пушек, убивавших русских воинов, жертвенно приносивших на алтарь Отечества свои жизни. За Отечество и за «друзья своя».

И не понимают эти «патриоты», что их раздражение и гнев – это падение и осквернение сознания, что никогда истина не придёт в дом и не будет царствовать и что это остервенение к врагам уничтожает в их крови фундаментальные основы русского национального сознания, связанного с Истиной, растворённой в крови Агнца.

«Не в силе Бог, а в правде».

«Милость и истина сретостися, правда и мир облобызастся. Истина от земли возсия, и правда с Небесе причиче».

«Ибо и Господь даст благость, и земля наша даст плод свой. Правда пред Ним предъидет, и положит в путь стопы своя».

Мы должны стремиться, чтобы нам оказаться участниками Воскресения Христова и, ещё находясь в этом теле, перейти от смерти к жизни. Ведь для каждого человека, который меняется и становится из одного другим, конец – не быть тем, кем он не был. Но важно, для кого человек умрёт и для кого будет жить: ведь есть смерть, ведущая к жизни, и есть жизнь, ведущая к смерти. И не где-то, а в этом преходящем веке можно обрести и то, и другое. И от того, как мы поступаем во времени, зависит различие вечных воздаяний. Да так и было в представлениях наших предков.

Удивительно, что в крови народа нашего продолжают сохраняться программы и коды идеологии бессмертия. Но мы видим, что они постепенно вытесняются духовной ленью, гордыней и водкой.

ИСПОВЕДЬ ВЕРЫ

Наступило время нашей встречи в больничном парке. Дни были ещё короткими, хотя весна набирала силу. Сгущались сумерки, и становилось прохладно, зябко. В огромном больничном саду находилось несколько специализированных корпусов, соединённых асфальтированными дорожками и пустыми аллеями. Листочки на деревьях стремительно зеленели. Берёзовые серёжки висели гроздьями. Запах свежести был слышен со всех сторон.

Было безлюдно. Я направился к детскому корпусу. В здании вспыхивал жёлтый свет, а окна третьего этажа светились неоновым светом.

Я поискал взглядом окна гематологического отделения, где лежали Наталия и Илюша, и перекрестил их.

Жизнь в больничном парке замерла. Зажглись на столбах фонари, и я увидел Веру, стоящую у тёмной стены детского корпуса и наблюдающую за мной.

– Я боялась, что вы не придёте, – вместо приветствия произнесла Вера.

– Здравствуй, Вера, – сказал я и спросил: – Как ты себя чувствуешь?

– Здравствуйте, – ответила она, подходя ко мне, – хорошо, температура нормальная. Вы перекрестили окна, где лежит Илюша с мамой, да?

- Да, они ещё здесь.
- Так страшно жить, когда знаешь, что происходит такое. Когда я читала ваши записи про Илюшу, я плакала. И с тех пор я молюсь за него. – И, остановившись, она спросила меня: – А можно мне молиться за Илюшу?
- Почему нельзя, можно, – спокойно ответил я.
- Потому что я плохая, потому что у меня плохие мысли, а молитва должна быть чистой! – Вера отвернулась и глубоко вздохнула.
- Я молча шёл рядом. Её взволнованность передавалась и мне.
- Я вас однажды видела в магазине, одетого как сейчас, не в священнические одежды, – Вера переменяла тему, – так было странно смотреть. Знаете, бывает, известные стихи какого-нибудь великого русского поэта, переложенные на музыку, без музыки уже не звучат. Вот так и вы: без ваших священнических одежд выглядите непривычно. Вы прямо срослись с ними. Посмотришь на вас, и так и хочется вас одеть в ваши одежды.
- Зачем же ты просила меня приехать в мирском?
- Чтобы проверить своё впечатление, – Вера засмеялась.
- Проверила?
- Проверила, к вам не подойти, вы какой-то «намоленный», как говорят о вас ваши старушки.
- Ты не замёрзла, Вера? – спросил я и взял её руку. – Ледяная. Ты замёрзнешь и опять заболеешь.
- Вера повернулась ко мне, крепко сжимая мою ладонь своими холодными пальчиками.
- Я соскучилась по вас, – взволнованно произнесла Вера, – без общения с вами, оказывается, очень грустно жить.
- И я скучал по тебе.
- Она решительно смотрела прямо мне в глаза, сильнее и сильнее сжимая мою руку. Лицо её было бледное, тёмные волосы, брови и горящий взгляд подчёркивали его белизну.
- С тех пор, как я вас увидела, – выпалила Вера, – вы стали моей идеей, моей каждодневной мыслью. Вы должны выслушать меня сегодня, обещайте не наставлять меня в сегодняшний вечер. На вас нет священнических одежд, и вы не можете меня наставлять. Побудьте сегодня простым человеком, мужчиной. Обещайте, обещайте мне это.
- «Обними её, – сказал «другой» человек внутри меня, – обними и согрей одинокую, трепетную душу».
- Хорошо, обещаю, – сказал я и свободной рукой обнял Веру за спину и почувствовал её косточки под тоненьким плащом.
- Ты вся дрожишь, ты замёрзла?
- Нет, я не замёрзла, я боюсь, боюсь своих мыслей...
- Вера была как в бреду.
- Мне показалось, что она ещё больна и у неё от болезни изменённое сознание.
- Вера, ты ещё не выздоровела, а на улице прохладно...
- Вы обещали! – строго сказала Вера и ещё крепче сжала мою ладонь.
- Я привлек её к себе. Минуту мы стояли молча. Она почти не дышала. Только её сердце колотилось под моей рукой.
- Я вас люблю, – тихо произнесла Вера.
- Я сделал движение, чтобы отстраниться от неё, но она прижалась ко мне ещё сильнее и заговорила торопливо, сбивчиво:
- Я вас люблю не за то, что вы очень красивы, а ваши священнические одежды как-то особенно подчёркивают вашу красоту; не за то, что вы умный

и так много знаете и всё можете объяснить, а за то, что вы для меня родной человек. До вас моя жизнь была лишена какого-либо смысла. Неосмысленная жизнь, понимаете? И ещё в ней присутствовал страх. Я была словно неприкаянная. Я не знала даже, когда окончила институт, что мне делать в жизни. Всё, чем я ни занималась, мне казалось не тем. Что-то должно быть другое, большее, настояще. Я ждала этого настоящего. И потом, когда я к вам пришла, я поняла, что вы мой смысл, что я должна служить вам, помогать вам во всём, всё делать для вас. Понимаете, вы – моя осмысленная жизнь.

Она поминутно вздыхала, и было видно, что ей трудно говорить всё это. Но также было понятно, что она тысячу раз высказала все слова в воображаемом разговоре раньше. И вместе с тем, когда она признавалась в своих чувствах ко мне, ей становилось легче. Она перестала дрожать и поглаживала своей ладошкой отворот моего пальто. Счастье переполняло её оттого, что она может делиться этим счастьем, потому что не делиться им было уже невозможно.

– Я почти уверена, что все мои мысли неправильны, даже преступны. Я не должна так думать. Вы облечены саном. Но то, что я чувствую к вам, не может быть не божественным чувством. Любовь посылает Бог. Ведь так, скажите? – Она отстранилась и посмотрела мне в глаза.

«Не пропусти, – сказал во мне мой двойник, – ради этой минуты живёт человек, когда сама любовь заглядывает в его глаза. Она смотрит на тебя с такой открытостью, на которое только и способно это чувство. И если бы можно было умереть в эту минуту, то ты бы умер, унося с собой этот бесценный дар, который бы тебя соединил с Богом. Но ты слишком мелок для такого великого чувства, поэтому ты не умрёшь, а будешь жить, как живут все другие люди, теряя во всё новых и новых желаниях и привязанностях чувствительность к истине».

Вера смотрела на меня несколько секунд. Мне они показались долгими. Это были секунды, которые остаются в тебе навсегда, потому что открывается человек во всей своей потрясающей красоте.

«Это уже было со мной в каком-то месте, где-то на свете, – мелькнуло в моей голове. – Почему же ты ещё не умер, почему ты не ушёл в лучший мир, однажды пережив это?»

«Потому что ты жалок и мелок», – настойчиво повторил мой двойник.

– Вера, да, Бог посылает любовь, – сказал я тихо и почему-то добавил: – А любовь призывает смерть.

Вера отстранилась от меня.

– Какие страшные слова вы говорите, – крикнула она, – зачем, зачем я вас узнала! Я никогда не думала, что жизнь так ужасна. Не представляла, что так страдают люди, даже дети, которые должны быть счастливыми и испытывать только радость от этого счастья. Страдают матери. И вы весь этот ужас носите в себе, живёте этим ужасом жизни и описываете его. А я не хочу, не хочу, чтобы люди умирали. Чтобы весь этот ужас и смерть бросали тень на любовь, на рождение детей, на радость жизни...

– Я не об этом хотел сказать, Вера, – перебил я её, – я только хотел сказать, что у любви, как и у дружбы, есть болезнь, которая уничтожает её. У дружбы – зависть, а у любви – ревность. Эти болезни – плоды человеческих чувств, человеческих переживаний, не божественных. Возникшая любовь пытается себя защитить и сохранить для вечности и поэтому призывает смерть.

– Я вас не понимаю, объясните... – Вера не сводила с меня глаз.

– Человеческая любовь сильна, имеет большую энергию. Она жаждет обладать тем, кого она любит. Она испытала переживание слияния с любимым, которое привело её в состояние полного восторга. Она понимает, что большей близости и большего счастья не существует между людьми. И она переживает состояние абсолютного единства, словно две души сливаются и начинают существовать в одном теле. Она жаждет обладать настолько, что не хочет отпускать от себя любимого ни на одну минуту, из страха, что кто-то третий может протиснуться между двумя любящими и разрушить блаженство. Испытав это однажды, человек просто не может жить дальше. Он должен умереть, не обязательно физически, он должен умереть для мира, для новых желаний и новых привязанностей.

– С этим я согласна, – перебила меня Вера, – но почему это только человеческая, а не божественная, как вы сказали, любовь?

– Потому что она несовершенна. Преследуя цель сохранить любовь, ревность способна подменить любовь ненавистью. Причём с такой же силой энергии. Поэтому так и говорят: «От любви до ненависти один шаг». Я бы перефразировал: от человеческой любви до ненависти. Понимаешь, Вера, о чём я говорю?

– Понимаю про любовь, а про ненависть не понимаю.

– Возненавидев любимого, человек ищет новой любви, чтобы вернуться в это состояние вечного блаженства. И в новых отношениях происходит то же самое. Но и на этом человек не останавливается. Потеряв любовь, ищет ещё и ещё, до момента разочарования в любви. Он говорит, что любви вовсе нет. Это просто болезненный невроз, и больше ничего. Но любовь определённо существует. Это некая таинственная, божественная реальность. Человек просто не знает, как в ней существовать, как её сохранить.

– А вы знаете?

– Знаю, Вера, но никому не могу передать эти знания.

– Передайте мне.

Вера опять подпала под влияние моих назидательных размышлений и уже готова была стать прилежной ученицей, но было видно, что она хочет другого: говорить со мной о простых человеческих вещах.

– Передайте мне, – повторила она.

Мне тоже стало скучно от моих собственных теорий, но всё же я решил довести мысли до логического конца, в назидание.

– Единственное спасение любви – это церковный брак, в котором человеческая любовь просветляется божественной любовью, которая не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, во всё верит, все покрывает, на всё надеется и никогда не перестаёт. Иоанн Златоуст где-то говорит, что первая любовь – это дар брака. Дал Бог любовь человеку, надо сочетаться браком и растить любовь в Истине.

Вера молчала. Она как-то притихла.

– Как вы это всё объяснили. Но почему люди так не любят друг друга? – произнесла Вера как-то отрешённо.

Она отпустила мои руки и медленно пошла вперёд. Я молча шёл рядом.

«Ты смешиваешь жизнь и теории, которые никогда не пересекаются, – говорил во мне мой двойник, – ты только что заглянул в открывшуюся, живую, трепетную жизнь и одним тебе известным способом вероломно закрыл её. И теперь идёшь, наполненный рецептами мудрости на все случаи человеческих отношений, самодовольный и противный. Неужели ты не понимаешь, что жизнь нельзя измерить логарифмической линейкой? Что мысли,

высказанные некогда умными людьми, могут быть стереотипами и штампами, которые не только не приближают человека к истине а, наоборот, отталкивают его от неё? Ты только что уничтожил жизнь».

– Вера, – сказал я, – прости меня.

Вера остановилась. Повернулась ко мне и произнесла:

– Я буду ходить за вами всю жизнь, буду вас ждать, буду вас потихоньку любить. Вы должны знать об этом.

– Прости меня, Вера, – повторил я, глядя в её наполненные слезами глаза.

Она обвила мою шею руками и всем своим худеньким телом прижалась ко мне.

– Не отталкивайте меня, я без вас погибну, – сказала она и побежала прочь.

ИЛЮШИНО СТОЯНИЕ

Позвонила Наталия. Отчаяние сквозило в её голосе.

– Лейкоциты на нуле, по всему телу фиолетовые пятна. Приезжайте, мне страшно.

– Хорошо, я сейчас приеду.

В коридорах детской областной поликлиники, которая совмещалась с больницей, толпились люди, взрослые и дети. Я прошёл по коридору и услышал, как один мальчик сказал своей маме:

– Боженька пришёл.

Я поднялся на второй этаж по пустой лестнице и оказался в гематологическом отделении.

Меня встретила в коридоре взволнованная женщина.

– Батюшка, вы не благословите нашего мальчика в больницу, в Москву? Мы срочно выезжаем через два часа.

– А где он?

– Здесь, в палате.

Я вошёл в палату и увидел мальчика десяти-одиннадцати лет, сидящего на голой кровати с панцирной сеткой.

– Встань, встань! – скомандовала его мама.

– Как тебя зовут? – спросил я.

– Меня зовут Дима.

– Дмитрий, – поправил я и всмотрелся в его лицо – чистое, детское, очень нежное, с голубыми глазами, припухшими губами и прямым носиком. Благородное личико. И весь мальчик был стройный, красивый.

– Вы знаете, – обратилась ко мне его мать, – он у нас на конкурсе джентльменов занял первое место в школе.

Она угадала мои мысли.

– Так ты настоящий джентльмен?

Он пожал худенькими плечами.

– Едешь в Москву?

– Ну, да, – он смущённо посмотрел на маму.

– Давай я тебя благословлю, чтобы всё было хорошо.

Я взял в руки наперсный крест и перекрестил его.

– Бог тебя благословит, поцелуй крестик.

Он коснулся креста губами.

– Всё терпи, не забывай, что ты джентльмен.

– Спасибо, батюшка, – его мама вышла со мной в коридор, – помолитесь за нашего Диму.

– Что ставят?

– Острый лейкоз.

– Помолюсь, обязательно помолюсь. Дай вам Бог терпения.

– А вы не можете нам дать ваш номер телефона, чтобы мы иногда...

– Конечно, запишите.

Она искала в сумке ручку и бумагу.

– Знаете, так бывает страшно одним остаться...

– Вы звоните, я буду молиться за вашего джентльмена.

Я шёл к Илюше и думал: что я увижу сейчас?

Он лежал в своей кровати под простыней, такой же белый, с выцветшими губками. Тёмные глаза его были открыты, но он ни на что не реагировал. В катетер у ключицы поступала кровь из ламинированного пакета, висевшего над кроватью. Наташа сидела рядом и держала его ручку, на которой виднелись маленькие сине-фиолетовые пятнышки. Увидев меня, она заплакала.

Я подошёл к ним.

– Давайте молиться.

Я совершал молебное пение за больного, коленопреклонённо читал молитвы и всё крестил и крестил чью-то кровь, висевшую над Илюшей. Я хотел, чтобы Господь вселил в неё животворящую жизненную силу. Наташа тоже встала на колени, не выпуская руку Илюши из своих рук. Кровь шла по трубкам капельницы, коричнево-красная, и попадала в сосуды мальчика. Мне казалось, что я видел, как она движется, сперва по большим сосудам, артериям, потом попадает в вены, спешит к капиллярам и питает клетки, которые начинают веселиться, радоваться, наполняясь жизненной энергией новой крови.

Закончив молебен, я ушёл, а Наталия осталась стоять. Вечером она позвонила мне и сказала, что мальчик ожил, что врачи удивлены его анализам.

– Слава Богу, слава Богу, – повторял я в трубку.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ

Заканчивалась первая неделя Пасхи. Я совершал молебен в нижнем храме. Молилось около семидесяти человек. Настроение было праздничное. Певчие пели тропари святым угодникам Божиим. Молебен был водосвятный, читались Апостол и Евангелие, молитва на освящение воды.

Я увидел боковым зрением, как в храм вошёл мужчина средних лет, крупного телосложения, в костюме, с галстуком. Он купил целую охапку самых дорогих свечей и деловито переходил от подсвечника к подсвечнику, возжигая и ставя свечи. По всему храму, у всех икон вскоре горели свечи. Он не крестился. Остановившись, вглядывался быстрыми глазами, расположенными на довольно мясистом лице, в образ и картинно ставил на подсвечник свечи. Было видно, что это руководитель, лидер, хозяин жизни и человек небедный. Народ, собравшийся в церкви, он, казалось, не замечал.

Это был Макенский, вице-президент Александровского банка Москвы. Я узнал его не по внешности, а скорее догадался, что это он. Разглядеть в этом широкоплечем, мощном человеке, весившем не менее ста двадцати килограммов, того худенького мальчишку – Маккену (таково было его прозвище), который робко двигался по рингу, было очень сложно. Закончив таинство, я вышел к нему.

– Борис Николаевич! – я назвал его по имени и протянул руку для приветствия.

– Да, это я, – благостно улыбаясь, протянул мне Макенский крупную, но очень мягкую ладонь. – Узнал меня?

– Узнал, но не по внешности, по-другому.

– Как это – по-другому?

– Большой человек виден сразу, издалека.

– Я тебе денег привёз, – Макенский полез в боковой карман пиджака и извлёк приготовленный конверт. – На, держи.

– Благодарю, – немного смутившись, произнёс я, принимая конверт, – нам деньги нужны, нужны!

– Молодец, красивый храм получается, русский. Будем помогать по мере возможности, – заверил Макенский убедительно и строго. – Чем собираешься крыть купола?

– Купола на Руси кроют золотом, чтобы чаще Господь замечал, – улыбувшись, процитировал я Высоцкого.

– Это правильно, молодец! – Он был доволен не только собой, но, видимо, и мной.

– Я о моей просьбе хочу сказать, – посерьёзнев, заговорил Макенский.

– Да, да.

– Мама умерла год назад. Похоронена здесь, на нашем кладбище. Я приехал из Воронежа и остановился у сестры. Мы сможем завтра на могилке отслужить молебен?

Служить надо было заупокойную службу – панихиду. Он не разобрался в обрядовой стороне православия.

– Борис Николаевич, я подъеду, как вам удобно.

– Давай, встречаемся у ворот кладбища в одиннадцать часов дня. Подойдёт?

– Договорились. Я буду непременно.

– Хорошо, молодец, Женька! Ничего, что я так тебя, а то тут народ божий?

– Ничего, ничего. Юность – это планета, в которой остаётся всё как прежде. Мы были открыты, просты, искренни, бедны, и от всего этого мы были счастливы.

– Ты прав, молодец! Ну, давай, давай, а то тут у тебя люди, я вижу.

Мы крепко пожали друг другу руки и обнялись.

– До завтра! – сказал Макенский с чувством и направился к двери.

Я вошёл в Алтарь и вспомнил о конверте. Посмотрел: в нём лежало сто тысяч рублей.

– Слава тебе, Господи, не оставляешь храм без попечения.

Я положил земной поклон Престолу.

– Здравия и спасения рабу твоему Божиему Борису со сродниками, а матушке его вечная память.

На следующий день я приехал на кладбище. Весеннее солнце пригревало с каждым днём все сильнее, и дворики могил, украшенные разноцветными яркими бумажными цветами, пестрели по всему кладбищу. Дорожки, присыпанные песком, создавали ощущение чистоты, прибранности, казалось, что ни одна могила не осталась без заботы живых людей. Оградки были покрашены новой краской, около чистых памятников лежали пасхальные яйца, конфеты, куличи.

Гнетущая атмосфера погоста исчезала в дни Великого праздника Пасхи. Никто не плакал у могил своих близких. Даже матери, похоронившие детей,

не сидели у надгробий и не проливали слёз, как они это делали в течение всего года. В предпасхальные дни они украшали могилки, а в дни праздника переживали в утомлённом сердце то неясное, но устойчивое чувство надежды на скорую встречу, которую обещает воскресший Спаситель, победивший смертью смерть.

Это живое чувство причастности к великому событию мировой истории, перевернувшему мир, неискоренимо в сознании русского человека. Он может этого не понимать в полной мере, может быть, не сумеет рассказать, если вы его спросите, для чего он приходит поклониться могилам своих предков. Но чувством он знает, что человек только гость на этой земле, и те люди, которые жили здесь прежде него, уже ушли в другой, более светлый мир, и что придёт и его черёд расставания, но и радостной встречи. Это мироощущение русского человека было бы невозможно без присутствия в мире становящегося смысла – Церкви Христовой, которая, существуя в двух реальностях, плывёт как корабль посреди моря житейского и спасает тех, кто желает спастись. В Европе и Америке в обществе не принято говорить о смерти. Это считается дурным тоном. Неприлично вспоминать о том, что вселяет в человека животный страх. А наши православные святые в один голос восклицают: «Думаю о смерти и вовек не согрешишь».

С самого детства я любил эти сладостные солнечные дни таинственного единения людей, живых и мёртвых.

Во вторник следующей недели сюда снова будут стекаться люди, чтобы памятью соединиться со своими родными и близкими. Исполнившись благодарности, они принесут символы своей веры и надежды – крашенные яйца и куличи как напоминание об освобождении человека от рабства греха и смерти.

Всенародное шествие на кладбище в Великие дни Светлой Седмицы от Пасхи до Антипасхи и Радоницы не смогли остановить или прервать ни времена гонений на Церковь, ни идеология социализма и коммунизма, звавшая человечество к «светлому будущему», земному раю без Христа. Это единственное несанкционированное шествие, которое не нужно было организовывать. Оно рождается и живёт в сердцах людей, движимых к разгадке смысла бытия человека. Кладбище в Пасхальные дни – это как раз то место, где проведена черта временного и вечного, где возвеличивается и возвышается всякий человек: раб и владыка, царь и нищий, богатый и убогий – все стоят в равном достоинстве, потому что у Бога нет лицемерия. Но каждый в сознании живых возрастает памятью и верой до масштаба вечности, бессмертия. Теплом и живым единством согреты эти дни манифестации и демонстрации победы жизни над смертью. И даже сейчас, когда в головах и сердцах людей остались только отблески от веры отцов наших, можно почувствовать свободу русского человека, его бесстрашие перед лицом последнего врага человека – смерти. Таких людей нельзя было поставить на колени, их можно было только уничтожить. Отсюда такие масштабные, кровавые жертвы в двадцатом столетии.

Меня встретила сестра Макенского, и я молча пошёл за ней. Его джип с открытым багажником стоял неподалёку от могилы родителей. Небольшая кучка людей находилась в оградке. От неё отделился Макенский и пошёл нам навстречу. Каркали вороны, набегал ветер, который то приближал, то отдалял это тревожное карканье.

Мы обнялись. Он был подчёркнуто серьёзен.

Служба прошла сухо и сдержанно. Он пригласил меня остаться, помянуть. Я откланялся.

– После Пасхи я тебя найду, – сказал мне Макенский, прощаясь.

Я отправился к своей маме.

Крест из чёрного гранита на могиле возвышался и звал меня к себе. Я вошёл в ограду, перекрестился и поцеловал крест, на камне которого были высечены слова из Никодима Святогорца: «Живи, как бы ежедневно умирая. Скоро пройдёт жизнь твоя, как облачная тень перед солнцем».

Я собрал с гробнички серую траву, которая успела высохнуть и запылиться.

– Все идёт хорошо, моя дорогая мама. Если ты слышишь меня сейчас, то прошу: помолись за своего внука Ивана, чтобы Господь дал ему силы и чистоту разума.

Я верил, что природа должна взять своё. Не было в нашем роду ни пьяниц, ни убийц, ни казнокрадов...

Отслужив заупокойную литию, я пошёл к машине, как вдруг зазвонил телефон.

– Батюшка, отец Евгений, это мама Димы, которого вы благословили в Москву, помните, в больнице...

– Да, да я помню вашего джентльмена.

– Помолитесь за нашего Диму, у нас очень плохие дела, – она заплакала в трубку.

– Помолюсь, обязательно поусерднее помолюсь.

– А можно мне иногда вам звонить?

– В любое время дня и ночи.

– Спасибо. Помолитесь за Диму.

– Хорошо, поправляйтесь и верьте, что всё будет хорошо.

УБИТАЯ ПРОСТОТА

Я подходил к храму.

– Батюшка! – услышал я окликнувший меня голос и оглянулся.

Это была наша прихожанка Анна, старенькая, но живая и всё про всех знающая бабулечка.

– Слышали новость? – шамкая губами, спрашивала меня эта маленькая старушка, как спрашивает человек, который хочет сообщить о развязке интересующего всех дела.

– Нет, – с искусственным любопытством ответил я.

– Свету убили.

– Какую Свету? – переспросил я, посерьёзнев, но ответ уже прозвучал в моей голове.

– Нашу Свету, болящую.

– Кто тебе сказал?

– Мария Михайловна. К ней приходили следователи, показывали карточку убитой и спрашивали, знает ли она её. Она ответила, что знает, и рассказала им, что это больная женщина, ходившая в наш храм. Не сойти мне с этого места, она поведала мне, что это настоящее убийство. Под головой, на карточке, она увидела большое кровавое пятно. А следователь вроде проговорился, что на теле убиенной, почитай, восемь ножевых ранений под грудь, в шею и что по голове проехали колесом легковой машины.

– Неужели это правда? Какой страх и ужас! Матерь Божья! – произнёс я, оторопев.

– Правда, истинная правда! – Анна перекрестилась в подтверждение своих слов.

– Бедная, бедная Света!

Я представил эту картину убийства несчастной, и холод пробежал у меня по спине.

– А где это всё случилось?

– А вон там, в лесу, – Анна повернулась и, морщинистой рукой поправляя платок, указала сучковатой палкой, с которой никогда не расставалась, в сторону леса, – за крайними заводскими общежитиями.

Это было в двухстах метрах от храма, за больницей, в красивейшем сосновом бору, где я знал каждое дерево и каждый пенёк – здесь прошли мои детство и юность. Я вглядывался в кроны качающихся сосен, и картины прошлого проносились в моей памяти.

– Вот в этом лесу её и убили, – нарушила молчание Анна.

– А кто убил? Их ещё не арестовали?

– Пока никто ничего не знает, – заговорщицки прошепелявила бабушка, – но скоро всё будет известно, – заверила она.

Я направился в храм. Все только и говорили об этом убийстве.

Вспомнилось событие, которое случилось в моём детстве. Однажды наш посёлок облетела весть о том, что на этом же самом месте, между больницей и третьим участком, около дикой яблони, ночью разбойники сняли часы с женщины. Женщина не пострадала, только сильно испугалась. Я помню свои детские впечатления, как всем было страшно от этого невероятного события и оттого, что такое могло произойти в нашем районе. Всех интересовал один вопрос: кто этот человек и как он мог такое совершить? Как всё переменялось...

Три дня назад в храме Светлана тихонько подошла ко мне на исповедь и ласково, с улыбкой говорила, почему-то называя меня не как священника – отцом Евгением или батюшкой, а по имени и фамилии:

– Евгений Седогин! Это я, Светлана. – Она смотрела мне в глаза. – Ты же не можешь меня не помнить?

Она улыбалась широкой, открытой, хмельной улыбкой.

– Ну, вспоминай, Евгений Седогин, – она прикоснулась к моей руке, – ты отпел моих – Анатолия и младенца, моего сыночка Александра, на Жуковского, в общаге. Утопленники, помнишь?

Я внимательно поглядел на неё.

Вся картина полностью предстала передо мной.

Это было кирпичное пятиэтажное общежитие для людей, которые приехали из деревни работать на тракторном заводе. Комнатки-девятиметровки, с общим туалетом в длинном, тесном, плохо пахнущем коридоре, захлапнённом железными ящиками для картошки, детскими колясками, велосипедами, бельевыми верёвками с развешанными на них пелёнками. Простые, всегда пьяные работяги-мужчины, а сегодня трезвые и суровые, стояли рядом с женщинами, своими жёнами и соседками, у одного из домов и ждали, когда придет из морга катафалк. И в этой толпе обезумевшая женщина в чёрном платке, повязанном просто, по-деревенски. Молодая, по-бабьи крупная, она выла от горя, едва держась на ногах, и ей подносили нашатырь на салфетке, чтобы не потеряла сознание.

Она ждала из морга своего любимого мужа и четырёхлетнего сына, которые на её глазах утонули в реке. Муж был старше её на тридцать лет. Человек он был серьёзный, непьющий, работающий. Она полюбила его, и у них родился сын.

Третьего дня он сидел на берегу с удочками и рыбачил.

Она пришла к нему с четырёхлетним сыном и не углядела за ним. Мальчик упал в воду с крутого берега. Муж бросился его спасать. В этом месте, на повороте, сильное течение и водовороты. Ребёнка снесло. Отец нырнул, разводил руками, искал и, выбившись из сил, утонул сам.

Рядом со мной стояла Светлана – та самая женщина, обезумевшая от горя.

– Ну вот, вспомнил? Это я, Светка.

– Бедная Света, это ты?

– Я, Седогин, – она радостно улыбалась, – ты отпевал моих любимых. Я сейчас пойду к ним. Я каждый день хожу, убираюсь и разговариваю, разговариваю с ними. А дай мне пятьдесят рублей, я им цветочки куплю.

Я дал ей денег.

– Пошла, Евгений Седогин.

И она, оглядываясь и радостно улыбаясь, направилась к выходу.

«Может быть, это он её убил?» – подумал я про того парня, который всегда был с ней, по крайней мере, я знаю его в лицо.

На другой день выяснились все обстоятельства убийства. Мне рассказала о них Клавдия Михайловна, моя верная помощница с самого первого дня строительства храма. Это была полноватая женщина преклонных лет, строгая и категоричная, любившая правду и говорившая её прямо в глаза. Её русская душа обладала каким-то непостижимым мерилем правильного отношения ко всему. Она не терпела фальши, лукавства и позёрства.

– Это правда, говорят, – обратился я к ней с вопросом, – что с такой звериной жестокостью убили Свету?

– Брешут, батюшка, не верьте! – отмахнулась Клавдия Михайловна. – На резвого коня впереди яма приготовлена, – отрезала она. – Когда же они набрешутся-то?! А дело было так: Светка сидела в лесочке с двумя женщинами и одним ухажёром из соседнего дома, из общаги. Заспорили из-за пива. Она стала с этим ухажёром скандалить и пошла на него с кулаками. А он чем-то тяжёлым – по пьяни, конечно – проломил ей макушку. Правда только то, что, когда её приподняли, перевернули, положили лицом кверху, то увидели, что много крови вышло.

– Его арестовали?

– А он и не отказывался. Говорит, что, дескать, хотел её остановить...

– Думаю, он не хотел её убивать, – заключил я.

– Да, конечно, не хотел. Он до армии был парень очень положительный. А пришёл из армии и стал выпивать, нигде не работал. Бес-то – он тут как тут, подстерёг.

– Знаешь, Клавдия Михайловна, – с уверенностью сказал я, – она искала, где ей умереть и, по-моему, нашла.

Клавдия Михайловна не поняла меня. А я не стал объяснять, что имею в виду.

– Нашла, а то как же, – возбуждённо заговорила она. – Мать от неё отказалась. Она же и день и ночь пьяная. В квартире наделала пожар, жила в обугленных стенах. Срам для молодой женщины... – И, помолчав, добавила: – Врачи сказали, что жить ей и так оставалось недолго. Печень разложилась вся, цирроз, – заключила Клавдия.

– Хоронить-то на какие шиши? – размышляла дальше Клавдия Михайловна, жалея сразу всех. – Тридцать тысяч нужно для того, чтобы только одеть покойницу. Мать всё же дала средства, и соседи подобрали деньжонок.

– Скажи, мать Клавдия, пусть привезут в храм, я её отпою.

– Хорошо, батюшка, передам, благослови меня, буду читать у гроба.

Я перекрестил её. Она добавила:

– Отпой её, батюшка, сам, она же наша.

– Наша Света, Клавдия Михайловна, наша, отпою.

Но мне не суждено было отпеть Светлану и проститься с ней. Утром я ехал на службу, и в машине случился сердечный приступ. Я не годился служить, пришлось возвращаться домой.

Говорили, что лежала она в гробу почему-то в красном платке, спокойная и красивая.

Весь народ пришёл проводить её в последний путь, в нижнем храме было не протолкнуться.

Похоронили её рядом с мужем и сыном.

РУССКИЙ БАРИН

Макенский нашёл меня во вторник на Радоницу. Он приехал вместе с Пыжовым на своём джипе с водителем. Служба отошла. Люди разошлись. Работы в праздник были остановлены. День был солнечный и тёплый, один из тех дней, которые наполнены неизъяснимой радостью присутствия живого Бога.

Мы остановились у плит перекрытия, сложенных на стройплощадке, и Макенский попросил водителя «накрыть поляну». Завязался разговор. Мы вспоминали события нашей юности, погружаясь в счастливое, беззаботное время, которое вселяло в нас радость и доверие к жизни. Дорогой коньяк способствовал нашему погружению в прошлое. Макенский наливал и наливал стаканчики, говорил не останавливаясь, щёки его розовели, было видно, что жизнь его удалась. Он несколько лет был главой администрации города-миллионника, потом заместителем министра, а вот теперь вице-президентом Московского банка. Доктор наук, за плечами которого два института.

Пыжов был немногословен. Его прошлое научило его осторожности. Он владел в городе сетью ресторанов, казино и боулинг-клубов. Его машину взрывали на автостоянке несколько лет назад, в него стреляли, но он выходил невредимым. Плотного телосложения, большеголовый, с глубоко посаженными глазами, коренастый, он обладал природной силой, и был по-мужички здоров. Я вспомнил, как в спортивном лагере на ринге он в боксёрских перчатках ударил сверстника. Тот упал и получил сотрясение мозга. Речь Пыжова была косноязычна, но в этом косноязычии отражалась связь с реальной жизнью, и обороты его речи казались от этого тяжеловесными.

– А мы встретились с Макенским, – говорил он мне, – ну, чего, стали рассуждать. У меня мать похоронена здесь, на нашем кладбище. У него мать и отец тоже здесь лежат. Я говорю: давай поставим часовню рядом с кладбищем. Он согласился. Пошли к вашему Владыке, чтоб благословил, а он говорит, часовня не нужна. У вас там храм строится, в нём за людей молятся, и за ваших родителей там будет идти молитва, вот этому храму и помогите. Так мы к тебе и пришли. Мы тебе поможем. Макенский, поможем?

– Мы тебе построим храм! – твёрдо сказал Макенский. – Давай выпьем за это.

И мы снова выпили. Я начал соображать, что у меня нет такой подготовки к алкоголю, как у моих спонсоров, но радость и надежда повредили моей бдительности, и вскоре я почувствовал зыбкость существования. Я оглядывался по сторонам, помня, что я священник, что проходят люди вдоль

забора стройплощадки, что они меня узнают, и многие приостанавливаются, складывают руки для благословения и просят их на расстоянии благословить. Я, изо всех сил сохраняя равновесие, крещу пространство и кланяюсь. Вдруг на территорию стройки направилась молодая женщина с коляской, идя прямо на меня... Макенский сделал несколько шагов ей навстречу.

– У вас есть деньги на питание ребёнка? – спросил он смутившуюся женщину, которая пожалала плечами.

Макенский достал бумажник из кармана пиджака, извлёк из него пяти-тысячную купюру и протянул женщине.

– Возьмите, это на питание вашему ребёнку.

– Ну, зачем вы, – робко ответила женщина и посмотрела на меня.

Я показал ей знаками, чтобы она не отказывалась. Она взяла, поблагодарила и, забыв, зачем шла ко мне, развернула коляску, чтобы торопливо удалиться.

– Спасибо, спасибо тебе, щедрый русский человек! – с чувством сказал я Макенскому.

– Русский народ беден, – ответил Макенский, – потому что ленив и невежествен.

Закончился коньяк. Макенский пошёл к своей машине и принёс в руках зелёный бархатный мешочек, перевязанный золотистой верёвочкой.

– Это виски девятнадцатилетней выдержки. Хотите попробовать?

– Всякий человек подаёт сперва хорошее вино, а когда напьются, тогда худшее, а ты хорошее вино сберёг доселе, – автоматом произнёс я.

– Сберёг, сберёг, – сказал Макенский и отвернул голову пузатой бутылке.

Мы ещё выпили.

Макенский начал читать стихи:

*Село, значит, наше – Радово,
Дворов, почитай, два ста.
Тому, кто его оглядывал,
Приятственны наши места.*

Он читал с русским размахом и пафосом. Он любил всё русское и жалел его.

*Богаты мы лесом и водью,
Есть пастбища, есть поля.
И по всему угодию
Рассажены тополя.
Мы в важные очень не лезем,
Но всё же нам счастье дано.
Дворы у нас крыты железом,
У каждого сад и гумно.
У каждого крашены ставни,
По праздникам мясо и квас.
Недаром когда-то исправник
Любил погостить у нас.*

– Серёга, Серёжка! – с чувством произнёс Макенский. – Настоящий русский поэт! Любил Рассею и страдал за неё.

Потом Макенский и Пыжов стали что-то выяснять друг с другом, вспоминать прежние обиды и недоразумения. Видно было, что Макенский заискивает перед своим другом.

«Ничего не изменилось со времён нашей юности, – подумал я. – Русскому человеку нужна сила, нужна крепкая рука, только тогда он проникается уважением к собеседнику или власти и смиряется. Не страх Божий, а человеческий ближе его менталитету».

– Вот сколько ты тратишь денег в месяц на своё житьё-бытьё? – заинтересованно спрашивал Макенского Пыжов.

– Десять тысяч долларов мне вполне хватает, – с гордостью отвечал Макенский, – тренажёрный зал, сауна, хорошая, качественная еда, одежда от кутюр – вот, пожалуй, здоровый образ жизни уважающего себя человека.

Я подумал, слушая Макенского, что если бы он один месяц пожил на пенсию в пять тысяч рублей, а десять тысяч долларов пожертвовал на храм, то я бы поставил иконостас.

– А ты сколько тратишь? – продолжал Макенский, обращаясь к Пыжову.

– Как масть пойдёт, как карты сложатся, но не меньше твоего. А «подушка безопасности» у тебя есть?

– Есть, – отвечал Макенский, – я думаю о своей семье. На счетах жены и сына лежат бабки, хватит им и их внукам останется.

– Молодец, это я уважаю.

У меня зазвонил телефон. Я отошёл от Макенского и Пыжова в сторону. Звонок был из Москвы от мамы джентльмена Димы, который уехал в московскую клинику.

– Отец Евгений, нет больше нашего Димы, – она неутешно плакала в трубку, – умер Дима. Помолитесь, помолитесь за упокой его души, пожалуйста.

– Помогите вам Господь и Божия Матерь, – говорил я в трубку.

Кроме рыданий, ничего не было слышно, и звонок прервался.

Я повернулся к храму, перекрестился.

– Господи, прими невинную душу отрока Димитрия, а родителей его утешь, Господи.

Макенский и Пыжов продолжали горячо спорить. Водитель скучал, поглядывая на своего шефа.

– Я слежу за своим здоровьем, – говорил Макенский Пыжову, – спорт, здоровое питание, ежегодное медицинское обследование и хороший секс.

– Давайте выпьем, – предложил я, – за дружбу. Человек силен друзьями.

– За дружбу!

– За дружбу!

И мы допили зрелый виски до дна. Я не заметил, как уехал Пыжов. Макенский вёл меня к машине. Водитель усаживал его на заднее сиденье, но Макенский отстранил его, встал передо мной, достал из кармана уже известный бумажник, извлёк из него все деньги, которые в нём были, и протянул их мне.

– Возьми и строй, – сказал он, – только помни: на Руси купола кроют золотом.

Он обнял меня – большой, размякший, тёплый человек – и уехал. Я пошёл к храму, сжимая в руке его деньги, на стройке споткнулся и упал, деньги веером рассыпались на песок. Стоя на коленях, я собирал пятитысячные червонные купюры. Утром, при счёте, их оказалось триста пять тысяч.

...На другой день очень болела голова...

НАТАЛЬНО ГОРЕ

На сердце не было покоя, и я поехал к Илюше. Он был плох.

Наталия вышла в коридор и осторожно прикрыла дверь. Илюша спал.

– Я совсем вас замучила, – говорила она, плача, – но мне так страшно. Мы здесь никому не нужны. У меня уже складывается мнение, что врачи нас избегают. Четыре месяца в больнице, и никаких результатов. А вчера, представляете, лечащий врач намекнула мне, что, может быть, нам уже пора выписываться из больницы домой...

– Как он? – спросил я.

– Илюша совсем сник, я уже не могу видеть его смиренные страдания, – Наталия плакала навзрыд, – и самое ужасное, что я, мать, бессильна. Подскажите, что мне делать, как нам дальше быть?

– Бог милостив, не отчаивайся, – говорил я, но чувствовал, что нет силы в моих словах.

– Соседка из второй палаты мне говорит, – продолжала Наталия, – зачем ты зовёшь священника. Оставь, дескать, всё как есть, не вмешивайся. А то он, говорит, молится и только продлевает мучения твоего сына.

– Ты сама-то что думаешь? – осторожно спросил я.

– А может, она права, – заключила Наталия.

Я раздумывал, не знал, что ей ответить. Потом вдруг вспомнил случай, который произошёл со мной в первые годы моего священства.

– Знаешь, – прервал я молчание, – когда я был молодым священником в начале девяностых и служил в кафедральном соборе, за мной на иномарке (тогда это была большая редкость) приехал молодой мужчина. Он был сильно взволнован. Просил меня, по благословиению архимандрита Петра из монастыря, перекрестить его семимесячную дочь в реанимации детской больницы. Взяв Крестильный ящик, я отправился с ним.

В реанимации, в лоточке под стеклянной выпуклой крышкой лежал младенец. Трубочки и провода помогали ему выживать. У него был диагноз: аневризма сосудов головного мозга. Я перекрестил девочку, как мог в таких сложных условиях полным чином, потому что я знал, что у меня есть время. Потом её отец привёз меня обратно в собор. Через два дня он приехал просить меня причастить её. Я почти не думал тогда, как мне это сделать. Сейчас существуют специальные маленькие Чаши для детей, которые герметично закрываются для транспортировки. В те времена таких Чаш не было. Я взял потир с Христовой Кровью, накрыл его покрывцом, уселся в кабину машины и держал в обеих руках, чтобы не расплескать. Младенчика Анну причастили, а через день приехали её соборовать. Я попросил пропустить в реанимацию её мать, чтобы совершить Таинство над ней и её маленькой дочерью. Точно так же я соборовал тебя и Илюшу. Пока я молился, мать плакала, увидев свою девочку в таком состоянии, а молодая женщина-врач в очках ходила по реанимации и говорила мне, когда я разоблачался, что это всё бесполезно: взрослый может выздороветь теоретически, а ребёнок выздороветь не может даже и теоретически. Но я делал, что должно, не обращая внимания на её слова. Наверное, тогда, в начале своего пути, я был неискушённый, более чистый человек. Сейчас мне даже кажется, что к тем событиям я как человек не имею никакого отношения. Я был уставшим от суеты священником, который на людей уже никак эмоционально не реагировал, а просто почти механически совершал Таинства одно за другим, одно за другим. И, видимо, в какой-то момент Бог проливал, куда Он Сам хотел, Свою бла-

годатную животворящую энергию – и происходило чудо. Подобных событий было несколько в моей священнической жизни.

Я окончил Таинство, но продолжал молиться за маленькую Анну. Помню, вскоре после этого я уехал на сессию в Московскую семинарию, сказав детям Воскресной школы поминать о здравии в своих утренних молитвах младенца Анну. Каково же было моё удивление после возвращения из Троице-Сергиевой лавры, когда я увидел Элизбара (так звали отца девочки). Он шёл ко мне навстречу совершенно спокойный и даже радостный.

– Как дочка? – спросил я его.

– Перевели в общую палата, она лежит с мамой! – Он с чувством пожал мне руку и, вздохнув, спросил: – Когда я могу прийти исповедоваться?

Я назначил ему день. Дело в том, Наташа, что его правая рука – я это давно заметил – была похожа на пятку. Суставы кулака были смяты настолько от многочисленных ударов по спортивным снарядам или по чему-либо ещё, что совершенно утратили естественный рельеф.

Исповедь была мужественная. Он много согрешал и насилием, и жестокостью.

Сейчас девочка выросла, учится в школе. Мать работает преподавателем, а отец возглавляет частное охранное предприятие, а по воскресным дням приходит в церковь. Понимаешь, Наташа?

– Я поняла, – тихо ответила она.

– Я могу ошибаться, потому что это никак нельзя доказать. И это могут быть просто слова. Но существует какая-то связь, зависимость жизни наших детей от нашей жизни, от наших поступков. Можно со слезами переживать болезнь своего ребёнка, но эти переживания ничему не помогут, потому что они недействительны. Действенны только состояние самосознания и от видения своих грехов – искреннее покаяние, – подытожил я.

– Простите меня, я дура, – сокрушённо сказала Наталия, – вы помолитесь за нас?

– Помолюсь.

Мы договорились, что я приеду на следующий день.

Утром заворочался на прикроватной тумбочке мой телефон. Звонила Наталия. Она сказала тихим, уставшим голосом:

– Нет больше Илюши. – И отключила трубку.

Много я повидал смертей за свою священническую жизнь. Они касательно прошли через мою судьбу. Но здесь было другое. Я привязался к этой семье, приняв их как близких. Я решился на борьбу с силами зла и провалился. В этом умершем мальчике с тёмными, большими, взрослыми глазами было нечто такое, что повергло меня в состояние отчаяния и тоски. Я должен был признать свою беспомощность. Мне казалось, что он смотрит на меня из угла и как бы говорит: «Я надеялся на тебя, я сильно хотел жить, почему ты не смог помочь мне выздороветь?» Зияющая пустота навалилась на меня. Весь день я старался не думать об этом, но он преследовал меня, смотрел и говорил: «Зачем ты приходил ко мне, если ты не мог запретить смерти?»

К вечеру состояние моё стало невыносимым, и я решил пойти к отцу Владиславу.

ОТЕЦ ВЛАДИСЛАВ

День прибавлялся, но всё ещё рано темнело. Часы показывали восемь тридцать вечера. В доме, где жил отец Владислав, горел свет, но окна батюшки на втором этаже были тёмными. Я знал, что он дома. Просто отец Владислав не любил незваных посетителей, поэтому не включал свет. Спать ложился рано, обычно в девять часов вечера. Телевизора у него не было. Единственной его страстью была классическая музыка. Он любил то, что хорошо знал. Батюшка мог бы быть выдающимся пианистом – так выделялся своими способностями в музыкальном училище, которое окончил. На четвёртом курсе он виртуозно исполнял Третий концерт Рахманинова, и все прочили ему блестящую карьеру. Будучи человеком талантливым, он не мог пройти мимо красоты православия, которое пленило его своими формами. Позже оказалось, что он не бездарен и религиозно. Женился рано. Став иереем Божиим, забросил все светские занятия и предался служению во всей полноте.

Жена его, так называемая матушка, сбежала, не выдержав переводов мужа-священника из одного сельского прихода в другой. Оставив пятилетнего ребёнка на руках отца, связалась с каким-то проходимцем, забеременела от него. Когда пришло время родить, он ограбил квартиру и исчез неизвестно куда. Мать, родив ребёнка, отказалась от него и оставила бедного младенца в родильном доме. Так как она с отцом Владиславом была ещё не разведена, батюшке пришлось пройти через унижительную процедуру отказа от ребёнка.

Церковь он любил. Любил Богослужение, но многое в жизни Церкви огорчало его. Он был разочарован не в её глубинных, благодатных и истинных формах, а в тех отношениях, которые у неё сложились с людьми. Непонимание красоты православия современным человеком глубоко оскорбляло его. Это касалось, прежде всего, отношения интеллигенции, да и народа к Церкви. Единственным сокровенным утешением для него оставалась музыка, которую он некогда отверг как «праздное и бесполезное занятие».

Я постучал в дверь. Послышалось шарканье по полу, и глухой голос спросил:

- Кто там?
- Это я, батюшка.
- Сейчас.

Он так же пошаркал. Потом с минуту было тихо. Наконец дверь открылась.

- Христос воскрес! – с подчёркнутой радостью, но тихо сказал я.
- Воистину воскрес! – ответил отец Владислав.

Мы протянули друг другу руки и прикоснулись щетинистыми щеками.

– Проходите, проходите, – он пропускал меня в темноту коридора, – никого не ждал в такой поздний час.

– Простите меня, что без предупреждения, – оправдывался я, продвигаясь по коридору, – но телефон ваш не отвечает.

– Что-нибудь случилось? – обеспокоенно спросил он.

– Ничего не случилось, – уклончиво ответил я, – просто зашёл поговорить.

– Слава Богу. Однако любопытно... Хотите чаю?

– Нет, благодарю, – отказался я, – не будем терять времени. Я знаю, вы не любите продолжительных разговоров.

– Это правда, – сказал он. – Присаживайтесь. Быстро утомляюсь. Можно вас попросить не включать свет? Беспорядок так меньше виден.

– Мне всё равно, – согласился я, располагаясь на диване, с которого он сбросил на пол какие-то вещи.

– Слушаю Владимира Горовица и потом засыпаю. Гениальный пианист. Как великолепно он исполняет Рахманинова! Он достиг абсолютной свободы. Владеет одинаково музыкой и инструментом. И я всё время думаю об одном и том же, об одном и том же: чтобы владеть музыкой, её надо понимать. Вопрос краеугольный – о понимании. Если музыкант не понимает произведение композитора, он не может его транслировать людям. Если он его не понимает, он не владеет им. Оно властвует над ним и делает из него неумеху. Это всё равно что читать незнакомый текст, не улавливая смыслов. Помните, когда мы учились читать Апостол?

– Да, хорошо помню.

– Вот. Если предварительно не разберёшь смыслы, текста нет. Размыт или мёртв. Так и в музыке. Вы меня понимаете?

– Понимаю, – оживился я, – и очень даже хорошо. И я мог бы вам сказать о понимании в более широком смысле слова.

– Это интересно.

– Вы очень метко через отношение к музыке выразили мысль. И я убеждён, что существует миф непонимания, который поддерживается многими ограниченными людьми в России. Он состоит в том, что Россия – непостижимая страна, что у неё существует некая предопределённость судьбы, что Россия непонятна не только западному человеку с его «радио», но и для самого русского народа она является загадкой. Я думаю – не знаю, согласитесь вы с этим утверждением или нет, – но этот миф о непостижимости России питает, поддерживает наш внутренний хаос.

– Внутренний хаос, – повторил отец Владислав, не вдаваясь в смысл сказанного. Он находился в своих недавних впечатлениях от Горовица. – И я его очень хорошо понимаю, когда он закрылся на двенадцать лет и не выходил не только к публике, но даже из собственного дома. Ходили слухи, что Горовиц сошёл с ума. Два года он не спускался со второго этажа своего американского дома, сидел как под арестом. Я думаю, что это была проблема непонимания. Публика не понимала того, что он хотел сказать ей через музыку, и он очень от этого страдал. Да, ещё, я думаю, он усугубил свой кризис тем, что укорял себя за невозможность играть так, чтобы его слышали и поняли. Но так, как он понимал музыку в двадцатом столетии, как понимал её, владел всеми её формами, никто, никто больше не мог её понимать.

Отец Владислав посмотрел на меня.

– Этим он близок мне, думаю, что и вам. Трудно донести живое слово, чтобы оно попало на благодатную почву и пустило корни. Но я, кажется, перебил вас. Да, простите, – спохватился батюшка, – жена, жена спасала его, не отлучаясь все эти двенадцать лет. А я, прости Господи за ропот, сижу один в своей берлоге, и вот вас принесло.

Я невольно улыбнулся.

– Да, а когда он решил всё-таки выйти к людям в Карнеги Холл, назвав это «первой репетицией», публика неистовствовала. Стояли и день и ночь, чтобы получить входной билет. Он шёл в сопровождении жены сквозь толпу. Кто-то крикнул: «Горовиц, я ждал вас двенадцать часов!» Его жена остановилась, повернула голову в сторону кричавшего и сказала: «Я ждала его двенадцать лет!» Какие бывают жёны! Но, простите, вы какую-то глубокую мысль мне сказали про хаос, про русский хаос, который нас сдавливает со всех сторон.

– Со всех сторон и каждого русского человека внутри, – прибавил я, – и это более всего ужасно. При видимых успехах в нашем православии царит тотальный инфантилизм. Я говорю о жизни церковного народа. Кому-то он, видимо, выгоден, этот инфантилизм. Когда, когда русский человек преодолевает своё несовершеннолетие, которое есть неспособность пользоваться собственным рассудком без помощи кого-либо другого?

– Всегда инфантилизм народа, – заметил отец Владислав, – выгоден в России тоталитарным структурам.

– Вы правы, конечно. Но меня больше беспокоит не социальный аспект, а личностный. Меня поражает в русском человеке непонимание.

– Непонимание чего? – спросил отец Владислав, вслушиваясь наконец в мои рассуждения.

– Непонимание России, непонимание своей веры христианской, своей Церкви, самих себя. Русские не понимают самих себя. Это, по-моему, восьмой смертный грех. Грех неведения. Грех, который уничтожит не только христианскую цивилизацию, но он реально убивал и убивает земного человека. Я только говорю о первой смерти, а не о второй – смерти души для вечной жизни. И если это грех, то надо учиться понимать. Но нет! Я повторяю и настаиваю, что русскими псевдопатриотами культивируется миф, фантом о предопределении русской судьбы. «Умом Россию не понять!» – восклицают они во все времена, не понимая, что в словах этих выразилось отчаяние поэта, а не убежденность в том, что Бог спасёт Россию, что бы ни происходило.

– Вы знаете, я думал об этом, – отец Владислав посмотрел на меня, – не смейте смеяться, я думал, думал!

– Нет, что вы, откуда вы взяли, что я смеюсь?

Темнота в комнате сгущалась. Предметы приобретали тяжеловесные формы.

– Я думал и думаю, что Россия – это детство человечества. Как это ни странно звучит в двадцать первом веке!

– Детство человечества? – повторил я удивившую меня мысль.

– Ну помните, нас учили, рассказывая о греческой культуре, её мифологии, особом восприятии мира и так далее, что греческая культура, по мнению учёных, была детством всего человечества. По аналогии с этим можно сказать, что Россия является в современном мире детством человечества. Что я имею в виду? Если западная жизнь управляется законами, то в России закон что дышло, куда повернул, то и вышло. То есть жизнь Европы и Америки управляется внешними требованиями закона. В России это не работает. Русская жизнь управляется внутренними законами, продолжающими жить органично в сознании, или, как теперь говорят, в ментальности русского человека. Он совестлив, он стыдлив, он готов прийти на помощь совершенно бескорыстно. Ему понятна жизнь святых людей. Она ему нравится, он восхищается ей и к ней стремится. Западный мир не понимает и не приемлет понятия святости. Он даже не знает, что это такое. Я иногда прихожу к мысли о том, что это даже хорошо, что наши люди воспринимают Церковь как некую неразгаданную тайну. Нечто надмирное, небесное, значительное, святое. Пусть они не понимают, как не понимают жизнь дети. Но при этом они веруют в чудесное. Когда дети вырастают, приобретают жизненный опыт, они перестают веровать. Они теряют это свойство. Результат? Все возвышенные понятия уничтожены. Задумайтесь! Наша с вами вера стоит на догматах, то есть она укоренена в тайне. Догмат непостижим. Его можно измерить или явить верой и только верой. Они в тайну вглядываются,

но не изучают её. Им интересно пока только то, что можно руками потрогать. А если бы они вглядывались пристально, глубоко, они бы поняли, что наша Церковь защищена от всякой логики, от всякого силлогизма неопи- санной тайной, как защищена сама жизнь, потому что жизнь и есть тайна. Пусть лучше они не понимают и остаются детьми, верящими не в Истину, которую мы с вами проповедуем с амвона, а в личность Христа, живого, не засушенного рационализмом.

– Вы себе противоречите, – перебил я отца Владислава, – если вернуться к началу нашего разговора, Горовиц..

– Такие люди, как Горовиц, – возвысил голос отец Владислав, останав- ливая меня, – это посвящённые люди. Что вы, батюшка?! Поэты, художники, музыканты... Вам ли этого не знать? Вы окончили Литературный институт. Они несут людям красоту, облечённую в образы. Они свидетельствуют миру о той Божественной гармонии, которую он утратил. Горовиц говорил, что концерт – это не лекция. Человек должен получать радость от исполнителя.

Он помолчал.

– Устали? – спросил я его.

– Когда я только пришёл на приход, – продолжал он, по обыкновению не услышав меня, – я начал с лекций. По воскресным вечерам приглашал прихожан в храм. Мы расставляли скамейки, рассаживались, и я им что-то рассказывал. Чаще всего это была теория. Однажды, после одной из таких встреч, ко мне подошла Екатерина, постоянная прихожанка и причастница. Сейчас я что-то её давно не вижу, может быть, уже умерла: была она уже почтенного возраста. Говорит мне:

– Батюшка, вы нам всё говорите такие слова, которые нам непонятны. Вы расскажите что-нибудь из Патерика. Вот я читала в одной книжке про рабу Божью...

И начинает мне пересказывать прочитанное:

«Она засветло приходила в храм и зажигала лампы к службе перед каждой иконой и на каждом подсвечнике. Однажды ранним осенним утром пришла, как обычно, на своё послушание. Погода была сырая, промозглая. Зажигая лампы у икон святого Алтаря, она подняла голову вверх и уви- дела, как будто в первый раз, над иконостасом большое Распятие. остано- вилась, поражённая, и стала вглядываться. Слёзы потекли у неё по щекам. Достала платок и решила ждать настоятеля. Как только он переступил порог храма, она подошла под благословение и сказала ему:

– Отец настоятель, у меня к вам прошение.

– Что ты хочешь просить? – обратился к ней настоятель.

– Сегодня утром было темно и холодно, когда я пришла в храм зажигать лампы, и я увидела, что наш Спаситель там, наверху, – она указала рукой на иконостас, – совсем раздет. Нельзя ли Его чем-то тёплым обернуть, чтобы Он не мёрз?»

– Понимаете? – обратился ко мне отец Владислав, – за двадцать лет слу- жения я не встречал ни одной особи мужского пола, которая бы так сопере- живала Христу, жалела бы Его. А вот русских женщин таких я видел. Они Спасителя жалеют и плачут о Нём. Вот что такое наша национальная вера в самых глубинах русской души. Помните, – спохватился отец Владислав, – да вы лучше меня знаете с литературным-то образованием, когда Достоев- ского спросили, за кем он пойдёт – за Истиной или за Христом, – Достоев- ский выбрал Христа. Русскому человеку нужен живой Бог, а не теории. Да я среди доморощенных русских философов (а у нас таких полно) не встре- чал сострадания к Христу, – закончил отец Владислав, но встрепенулся

и продолжил: – Помните, ещё приведу вам литературный пример: у Гоголя в «Ревизоре» городничий обличает судью: вы, говорит, в церковь не ходите, в Бога не веруете, а как начнёте рассуждать о сотворении мира, просто волосы дыбом становятся. Как-то так, я могу ошибаться по тексту. Что же ему отвечает судья? А он отвечает серьёзным тоном: «Да ведь сам собою дошёл, своим умом». Вот как сказано про русского мужика на все века. Сидит, смотрит из своего угла, думает что-то. У Крамского, по-моему, есть картина «Созерцатель», кажется, так называется. Мужик, в кафтане, в лаптях, стоит один в зимнем лесу на дороге. Стоит, задумался. О нём Достоевский тоже рассуждает в «Братьях Карамазовых». Он, говорит, не думает – он созерцает. Нет, подождите, – заторопился отец Владислав, – я вам сейчас это место найду, третьего дня просматривал и наткнулся. Это надо точно воспроизвести.

Батюшка вышел в коридор, подметая пол подрясником и гулко топая босыми пятками. Вспыхнул свет, полосой лёгший от двери до ковра, захватив часть шкафа, над которым темнели иконы. С полминуты было тихо, потом снова заходили половицы под ногами отца Владислава. Он встал, облокотившись о дверной косяк. Монументальная тень его накрыла ковёр.

– Я вам прочту отсюда, послушайте. Надо близко к тексту передать: «У живописца Крамского <...> изображён лес зимой, и в лесу на дороге, в оборванном кафтанишке и лаптишках стоит один-одинёшенек, в глубочайшем уединении забредший мужичонко, стоит и как бы задумался, но он не думает, а что-то «созерцает». Если бы его толкнуть, он вздрогнул бы и посмотрел на вас, точно проснувшись, но ничего не понимая. Правда, сейчас бы и очнулся, а спросили бы его, о чём он стоял и думал, то наверное бы ничего не припомнил, но зато наверно бы затаил в себе впечатление, под которым находился во время своего созерцания. Впечатления же эти ему дороги, и он наверно их копит, неприметно и даже не сознавая, – для чего и зачем, конечно, тоже не знает: может, вдруг, накопив впечатлений за многие годы, бросит всё и уйдёт в Иерусалим скитаться и спастись, а может, и село родное вдруг спалит, а может быть, случится и то, и другое вместе. Созерцателей в народе довольно». Каково?

Отец метнулся, сделав два гулких шага в сторону, щёлкнул по стене, и свет погас. Он шумно вошёл в комнату. Остановился у окна. Тёмный силуэт его фигуры вытянулся и замер. Он неподвижно смотрел в окно.

– Живёт точно во сне и продолжает спать русский человек. Прошли трагические времена и испытания, революции и войны с миллионными жертвами, и перестройки, и демократии, а он всё спит... – Отец Владислав повернулся и посмотрел на меня. – И знаете, он видит сны...

Батюшка замолчал.

– Какие сны? – спросил я просто так, чтобы вывести отца Владислава из задумчивого состояния. Мне было любопытно, чем он закончит.

– Это сновидения ада – вот какие сны он видит, – подытожил батюшка и как-то отвлечённо добавил, возвращаясь к действительности: – Я, конечно, сегодня не усну.

– Простите, простите меня, ради Христа, что я поздно пришёл к вам.

– Ничего, дослушайте. – Он уселся в глубину кресла. – Не далее как вчера прихожу я в свой храм. Одна из моих помощниц говорит мне: «Вас человек спрашивал, а я сказала, что вас нет, будете завтра. Он ответил, что завтра придёт». Вот вчера он и пришёл, этот человек. Возраста лет сорока или около того, худощавый, с землистым цветом лица. Одет в старомодную одежду, брюки расклешённые, мешковатый пиджак, вид замкнутый, задумчивый.

«Вы ко мне?» – спрашиваю я его. «Да, я к вам, батюшка, хотел поговорить с вами». – «Ну идите сюда».

Подхожу к аналою, приглашаю стать рядом, лицом к алтарю.

Подходит, в руке что-то аккуратно завернуто в газетку.

«Слушаю вас». «Я несколько дней назад освобожден из мест лишения», – спокойно начал он.

Мне стали понятны его худоба, замкнутость и некоторая стесненность в движениях – это ощущение четырёх давящих стен камеры. «Я отсидел двадцать лет за убийство трёх человек, – спокойно продолжал он, – и вот, пока я сидел, все эти годы думал прийти к священнику и рассказать об этом преступлении». «Вы пришли, чтобы раскаяться, облегчить душу?» – спрашиваю я его, а сам уже намереваюсь идти за епитрахилью и требником для Таинства исповеди. «Можно так сказать, – слегка замялся он, – конечно, я лишил жизни людей, как бы не имея на это право, потому что я эту жизнь людям не давал. Но я не испытываю раскаяния, а даже, наоборот, я чувствую удовлетворение, что ли. Что-то вроде исполненного долга».

– Честно говоря, – посмотрел на меня блеснувшими глазами отец Владислав, – я готов был обличить его в бесчувствии, в непонимании глубины греха. Но вместе с этим он как-то располагал к себе, был даже симпатичен, как будто он служил какой-то идее и был последователен в её осуществлении.

«Вы были на войне?» – спросил я его. «Нет, я не воевал». «Да где же вы могли лишиться жизни сразу нескольких человек?!» – воскликнул я. «Я вам расскажу».

И он спокойно начал свой рассказ. «Мы жили с мамой вдвоём. Село наше небольшое, но зажиточное. Друг друга все знают: кто чем живёт, кто чем дышит, кто к кому ходит. Я только что закончил десять классов. Сдал экзамены на аттестат, были планы поехать в город, поступить в институт. После экзаменов и вручения аттестатов, как это было принято, последний звонок, выпускной, ночные гуляния. Не хотелось мне идти на выпускной, но мама настаивала, иди, мол, такого события больше не будет, останется память на всю жизнь. Я согласился и пошёл. Было тошно на этом выпускном. Все пили потихоньку по углам, чтобы учителя не видели, потом пошли к реке.

Я всегда был нелюдимым. Отошёл в сторону и, ни с кем не прощаясь, отправился домой. Я знал, что мама уже спит, а дверь она не запирает, чтобы я беспрепятственно вошёл в дом. Когда я тихо открыл дверь и переступил порог, то сразу почувствовал какую-то страшную тишину. Она лежала на полу в комнате на тёмном неровном пятне. Она была изнасилована и убита ножом. На её груди следователи насчитали одиннадцать ножевых ран. Как выяснилось потом, ночью к нам приходили три местных урода за деньгами на водку. Она им отказала, и они, уже пьяные, пришли позже, надругались над ней и убили.

Началось расследование. Один из преступников был сыном местного бизнесмена. Их арестовали, а через два месяца выпустили. Дело до суда так и не довели, сказали, что недостаточно улики. Они гуляли по улицам, развлекались, а моя мама лежала в земле.

Я начал за ними следить. Это стало моей навязчивой идеей. Я должен был им отомстить. Узнал, что они каждую неделю посещают баню на краю села, в усадьбе этого самого бизнесмена. Пьют, развлекаются, играют в бильярд, чаще в те дни, когда папаша уезжает за товаром. Баня была деревянной, с одним окном, стояла возле леса. И вот наконец всё сошлось. В октябре, десятого числа, стемнело рано. Сынок затапливал баню, готовил.

Часам к семи с пузырями пришли его дружки. Мне из леса всё было хорошо видно.

Около девяти я подкрался к глухой бревенчатой стене. Облил заготовленным бензином оба угла. Прошёл незамеченным под маленьким оконцем к двери. Дверь открывалась внутрь, ручка была железная, кованая; я забил в неё черенок от лопаты. Облил бензином левый угол постройки и саму дверь. Все зажгёт, а у окошка встал с вилами и ждал их. Занялось сразу, со всех сторон. Слышу, забегали крысы, заорали. Один, хозяин, показался в окне. Деревянным ведром ударил в стекло, осколки полетели на меня. Я увернулся и начал колоть вилами в окно и кричать:

– Это вам, сволочи, за маму мою убитую, это вам суд Божий, горите в геенне огненной!

Они лезли, прощения просили, а я всё бил и бил в окно заточенными, как иглы, вилами. Не выпустил ни одного.

Набежали люди. Кто посмелее из мужиков подступали ко мне, но и их я не подпускал, отмахивался вилами. Да не особенно-то они хотели, понимали, что за подонки оказались в ловушке.

Крики прекратились, и я понял, что это конец. Бросил вилы, сел на землю. Меня связали и отвели в сельсовет, потом приехала милиция, надели на меня наручники и отвезли в город. Я во всём сознался, состоялся суд, потом тюрьма. Вот так, батюшка», – закончил он. А потом говорит, помолчав, – продолжал отец Владислав: – «Не буду искушать вас вопросами, батюшка. Сам всё понимаю. Убийца я, но раскаяния я не чувю в себе. Случись такое снова, точно так же поступил бы. И знаете, что меня спасало от отчаяния все эти двадцать унылых лет? Книжонка одна. Да вот же она!»

Он начал разворачивать газетку, а сам продолжал говорить: «Один конвойный мне её в зону принёс. Он был человек образованный, учился в институте на учителя истории, но учителем не стал, попал работать в зону. Грамотный был человек, книжки читал, мы с ним иногда разговаривали. Когда он узнал, что я вырос без отца и как моя мать погибла, предложил взять книгу: «Почитай, найдёшь утешение, а может быть, и оправдание». Книгу он развернул и положил на аналой. Я читаю название и не верю своим глазам.

– Евангелие? – нетерпеливо спрашиваю я отца Владислава.

– Не угадали. На книге было написано: «Вл. Соловьёв. Сочинения».

– Владимир Сергеевич Соловьёв?

– Он самый, серия «Философское наследие», год издания – 1988-й, часть вторая, с великолепным портретом автора. «Тут есть статечка, – продолжал мой собеседник, – «Три разговора» называется. Я прочёл её, не знаю сколько раз. Особенно первый разговор про зло в мире и как с ним бороться. Сильное впечатление на меня произвёл рассказ генерала. Очень сильное. Я тогда всё понял и успокоился». Какой случай, представляете себе?

– Что же вы ему сказали? Уж не похвалили ли вы его за его поступок?

– Нет, не похвалил и не осудил. Я давно никого не сужу. Русская жизнь – сплошной апокалипсис. Я созерцал. Это был истинно русский тип.

– Но вы его наставляли на путь?

– Да он и не нуждался в моих наставлениях. Ему нужно было выговориться. Он этого торжественного момента ждал много лет.

– А дальше что было?

– Ничего. Он поблагодарил и ушёл.

– Ушёл?

– Ушёл.

– Вы бы ему Евангелие вручили.

– Оно у него уже тысячу лет, и что изменилось за это время? – отец Владислав посмотрел на меня. – Он и в Евангелии себе найдёт оправдание в благоразумном разбойнике, а всё остальное пропустит.

Было видно, что отец Владислав устал, но ему тоже, видимо, надо было выговориться.

– Я сегодня говорил монолог и не дал вам слова вставить, как вы успели заметить, наболело.

– Знаете, не буду вам рассказывать о том, зачем пришёл... – Я приподнялся, чтобы уходить. – Будет причина вновь прийти к вам, дорогой батюшка.

– Заинтриговали вы меня... – Он тоже приподнялся с кресла и пошёл впереди меня в тёмный коридор, словно показывая дорогу. – Но не буду настаивать, а то мне совсем не уснуть сегодня, хорошего-то вы ничего не расскажете...

Мы тепло пожали друг другу руки, прикоснулись щеками, я вышел в освещённый подъезд, зажмурившись от яркого света лампочки. Дверной замок щёлкнул, и я побежал вниз по лестнице.

СВЕТ РАЗУМА

«Дорогой мой мальчик! Когда-то у просветителей был такой девиз: «Имей мужество пользоваться своим разумом».

Задача разума состоит в том, чтобы понимать, куда тебе идти. В книге немецкого философа Гегеля «Феноменология духа» можно найти отличное замечание. Он говорит, что разум есть достоверность сознания. Твоя задача – научиться осознать себя. Когда человек не осознаёт себя, он живёт как бы во сне. Несовершеннолетие – это и есть неспособность пользоваться своим рассудком без помощи кого-либо другого. Выбор надо сделать определённо. Надо эти вещи понять, уяснить, чтобы быть свободным человеком. Либо мы, всё общество и каждый отдельный человек, сделаем ум и разум частью своего бытия, своей жизни, либо мы все выпадём в некую маргинальную структуру.

К сожалению, надо признать, что механизм современной культуры отказался от самосознания, несмотря на усилия великих писателей девятнадцатого и начала двадцатого веков, да и лучших писателей советского периода.

Важная вещь – понимание. Всё кажется в мире, особенно молодым людям, непостижимым. Но для того и дан человеку разум, чтобы понимать, постигать. Эта непостижимость оказывается удивительной! Потому что, дорогой мальчик, всё Божье творение есть текст, мир есть текст. Страна, жизнь, картина, книга, ты сам и так далее – всё есть текст, и его надо читать. Вдумываться в него, вникать в него и понимать. Найди и почитай стихотворение Пушкина «Воспоминание». В нём есть строчка: «И с отращиванием читая жизнь мою...»

Пушкин читает жизнь и судит её, потому что он понимает её.

Нужно общими усилиями всех разумных людей перенаправить механизм культуры, научить её понимать, демифологизировать её, десакрализировать её. (Пишу сознательно эти сложные слова, верю, что понимаешь или поймёшь их.) Были времена, к счастью, ты не жил в Советском Союзе, когда понимание казалось грехом. Бытие людей, которые желали понимать, было

трагично. Реальность жиддилась на понимании бесчеловечного мифа, который отрицал разум.

Разум — это Свет, это Истина Христова. «И свет во тьме светит, и тьма не объяла его». Этот свет лучшие люди России передали нам, вам, следующим поколениям людей, которые могут принять и дальше его передать. От всех нас и от наших усилий зависит простая вещь: утверждать понимание России как национальную добродетель. Вот задача, которая стоит перед священником, писателем, художником, студентом, интеллигентом — всем образованным народом, чтобы эта добродетель стала подлинным фактом культуры, способным к дальнейшей ретрансляции.

Оглядываясь назад, на историю России, можно сказать, что мы несём в себе «культуру взрыва», как написал в 1924 году один из замечательных русских поэтов. Вот в чём настоящая беда. Взрыв стихии 1917 года, который все ждали. Народный взрыв. Он должен был снести всё! Все достижения европейской цивилизации. Кто-то боялся этого, а кто-то приветствовал, задавая вопрос: «Способна ли эта стихия, эта народная плазма самой природы к созидательной деятельности?»

Эта невероятная по жестокости сила, вспышка, подобная извержению проснувшегося вулкана, в 1917 году потрясла всех. Это было время, когда дети истребляли родителей, родители — детей, брат убивал брата, казнили носителей веры — был ужас кровавый, непередаваемый. Когда спохватились — как-то это надо было остановить, этот беспощадный разгул народной стихии, — то поняли, что этот бунт можно остановить только одним путём: ещё большей жестокостью. То, что как раз и проделали большевики. Потому что они сначала разбудили это, на этой волне поднялись наверх, но потом им стало понятно, что этой стихией управлять невозможно, как невозможно управлять селевым потоком, сорвавшимся с гор. Вот тогда и возник красный террор, который поначалу был обращён на интеллигенцию, потом повернулся против всего народа. Все тогдашние реформы, которые проводили в жизнь большевики, были жестоки, чудовищны.

Один из кадетов писал в воспоминаниях, как у него случился диалог в лагере, в котором он сидел, с одним мужиком-солдатом.

«— Русскому народу такое правительство нужно, другое с ним не справится...»

Обрати внимание, мой дорогой мальчик, на то, почему сейчас вспоминают и хвалят Иосифа Сталина. Дескать, только Сталин справится, Сталина не хватает!

Дальше мужик-солдат говорит:

«— Вы думаете, народ вас уважает? Он над вами смеётся, а большевика уважает.

— Почему? — спросил кадет-либерал.

— Потому что большевик его каждую минуту застрелить может».

Вот формула приведения стихии в порядок. Вот чем, оказывается, некий порядок обеспечивается. Не в условиях христианской свободы, а в условиях некоего звериного, свирепого диктата.

Крещение России — это первый толчок, который ввёл Россию в ореол христианских стран. И дальше могло быть нормальное развитие. Но взрывы, нашествие степи, татары-монголы — потоп, поглотивший только что складывающуюся русскую культуру. Революции, войны и так далее. Всё это взрывы. Но сейчас, мой дорогой мальчик, у России есть уникальная возможность показать всему миру спасительный путь. Наша стихия, наша плазма — наш народ продолжает сохранять в глубинах народной природы черты

христианских начал жизни. Он все ещё несёт в себе этот живой свет, исходящий от раскалённой лавы, только потому, что остаётся частью самой природы – как река, как деревья, как земля. Европа давно утратила эту глубинную связь с корнями, оторвалась от неё, предавшись цивилизации комфорта. Россия через образование, через знание и понимание своего назначения должна стать великой демократической страной, которая бы гармонично сочетала в себе два закона: закон юридический, государственный и Закон Божий, закон христианский. Не нужно сейчас бояться западного силлогизма и рационализма, которые, как все думают, могут уничтожить веру, как это случилось с самим западным миром. Надо найти равновесие в двух началах, в двух законах и осуществить гармонию, реализовать её. Гармонию закона совести и юридического закона. Но если всмотреться внимательно, то второй закон в своих высших целях зиждется всё-таки на первом – законе совести.

Надо вспомнить возвышенную идею, которая двигала людьми при создании империи Древнего Рима, Византийской империи, Европы Карла Великого и нашего великого Петра Первого. Империя, под покровом которой свободно живут все народы в едином христианском братстве. Россия через знание и понимание может показать миру единственный спасительный путь.

Однако, мой мальчик, надо не упустить из виду, что христианство не почвенная религия в России, а пришлая. И не только для России, но и для цивилизованной Европы. Она исторически оказалась непочвенной и самому израильскому народу, в лоне которого возникла. Это не удивительно, потому что это религия откровения, религия, спустившаяся с небес и непочвенная для всех народов земли. Поэтому в определённые этапы истории могут вставать древние боги язычества. И тогда происходит то, что происходило много раз в истории человечества. «Взрывы» в двадцатом столетии – это столкновения язычества с христианством. Это реакция язычества на христианство. Германский нацизм и национализм в двадцатом веке – это был отзвук, возвращение, рецидив азиатского, языческого деспотизма. Древние боги проснулись. Они могут проступить, проявляться, мой дорогой мальчик, и в личности каждого человека, об этом надо всегда помнить.

У великого русского поэта Фёдора Ивановича Тютчева есть глубокое стихотворение. Приведу тебе его полностью.

*О чём ты воешь, ветер ночной?
О чём так сетуешь безумно?..
Что значит странный голос твой,
То глухо жалобный, то шумно?
Понятным сердцу языком
Твердишь о непонятной муке –
И роешь, и взрываешь в нём
Порой неистовые звуки!..*

*О! Страшных песен сих не пой
Про древний хаос, про родимый!
Как жадно мир души ночной
Внимает повести любимой!
Из смертной рвётся он груди,
Он с беспредельным жаждет слиться!..
О! Бурь заснувших не буди –
Под ними хаос шевелится!..*

Оно написано в начале тридцатых годов позапрошлого века.

Тютчев понимал жизнь России и анализировал жизнь её и собственную.

Он понял, что в каждом человеке и в целых народах живёт этот перво-родный языческий хаос, не изжитый христианской цивилизацией, во тьме которого прячутся демоны. Береги себя от него, мой дорогой мальчик!»

ПОХОРОНЫ ИЛЮШИ

Я вошёл в неосвещённый храм. В стороне у южного входа стояли несколько человек. На лавочке перед аналоем, на котором лежала праздничная икона, покоился маленький гробик. Наталия в одиночестве находилась подле него.

Всё в храме: колонны, иконы, аналои, люди и сам храм – казалось нелепо большим, всё громоздко окружало этот маленький гробик. Он был так мал, что его можно было взять в руки и унести.

Ещё большая нелепость заключалась в том, что был нарушен естественный ход вещей, установленный Богом. Только что начавшаяся жизнь, по непостижимым человеческому уму причинам, остановилась и отлетела, оставив недвижимое, маленькое, измученное болезнью тельце.

Я подошёл к Наталии. Она осунулась лицом, была бледна.

– Прими моё искреннее сочувствие и прости меня, Наталия.

– Вы ни в чём не виноваты, – слабым голосом сказала она, – спасибо вам, что вы поддерживали нас всё это время.

Я вошёл в Алтарь, облачился и вышел северной дверью. Храм был почти пуст. Люди, человек шесть, приблизились к Наталии.

«Это могла быть большая жизнь, окружённая другими любящими жизнями, которые стояли бы и молились за любимого дедушку, отца, брата, друга, провожая его в последний путь к Творцу, – подумал я, – а эта маленькая жизнь не успела связать себя с другими жизнями узами любви и дружбы».

В тишине храма от гулко звучащих шагов священника сквозили сиротливое одиночество и оставленность.

– Откройте Илюшу, – сказал я.

Крышку суетливо сняли и положили на скамейку. Мать заголосила. Муж подошёл и обнял её.

Я возгласил:

– Благословен Бог наш!

Начался чин погребения младенческого.

Казалось, что мальчик спит. Его маленькое личико было чистым и гладким. Оно выражало тот покой, к которому стремятся святые подвижники. Покой, оваянный присутствием Бога, принявшего невинную душу. Но чтобы это видеть, нужно иметь другое зрение – зрение глубокой веры.

Я вышел на воздух из нижнего храма, почувствовав головокружение, земля качнулась у меня под ногами, потемнело в глазах. Я присел на лавочку у входа. Через пять минут поднялся, опять почувствовал удар в голову, но решил дойти до автомобиля и ехать домой. За рулём машины было спокойнее. Я почти доехал до дома, когда ощутил движение в груди и как бы задохнулся – в этот момент сердце моё заколотилось. Я съехал на обочину, заглушил двигатель и позвонил сыну.

– Кажется, мне плохо, тахикардия, – сказал я, – ты не мог бы меня встретить и отвезти в скорую?

– Где ты? – взволнованно спросил Иван.

Я объяснил ему, и через десять минут он был рядом. С ним прибежала и Вера. У неё в руках оказалась бутылка с водой, разовый стаканчик и лекарства.

– Надо сейчас же выпить, – торопливо говорила она, побледневшая и взволнованная, – вот аспирин-кардио. Он разжижает кровь, сейчас это важно. А у вас нет боли в груди? – спрашивала она и смотрела обеспокоенными глазами на меня. – Такой сильной боли вот здесь?

– Нет, Вера, боли такой нет, просто быстро бьётся сердце.

Ваня сел за руль, Вера уселась сзади, и сын повёз нас в ближайшее отделение «Скорой помощи». Он гнал с недопустимой скоростью, совершая невероятные манёвры на дороге, что я поминутно одёргивал его:

– Мне нельзя волноваться, а ты так несёшься, – останавливал его я, – мне станет ещё хуже, и никакая скорая уже не понадобится...

Но он не слышал. Страх, что он может не успеть вовремя за помощью к врачам, подгонял его.

То ли от волнения на дороге, то ли оттого, что подействовали таблетка и капли, приступ отступил.

– Ваня, – попросил я, – поворачивай домой, мне лучше.

Не раздеваясь, я улёгся в постель и проспал несколько часов кряду. А ночью, в половине второго, приступ повторился, и пришлось вызвать неотложку.

БОЛЬНИЦА

Скорую помощь ждали минут сорок. Иван не ложился, сидел на кровати и смотрел на меня тревожными глазами. Я крепился, не подавая вида, что мне совсем плохо.

– Иди, зажги лампаду у Богородицы, – попросил я Ивана, – помолись.

– Тебе больно? Где больно, в груди?

– Мне не больно, сердце спешит куда-то. Но ты не волнуйся, – сказал я слабым голосом.

Он подскочил и побежал в кабинет.

Сердце колотилось во всём теле. Приподняться на ноги не было никакой возможности. Тело было расслабленным и тяжёлым. Темнело в глазах, кружилась голова. Я не мог дойти до ванной комнаты. В бессилии, закрывая глаза, я уповал на Бога, творя молитвы. Время в этот предутренний час, казалось, остановилось. Гудела труба, по которой бежала вода, слышались шаги в квартире над нами, резкий звук упавшего и покотившегося по полу предмета. Снова стало тихо. Не слышно было в соседней комнате Ивана. Он, видимо, молился за меня.

Показалось, что в открытую дверь из коридора вошла Наташа, неся на руках Илюшу. Они прошли к окну и остановились. Наташа что-то показывала мальчику там, за окном. Он вглядывался, прислушиваясь к ласковым интонациям голоса матери и правой бледной ручкой теребил её волосы. Я боялся, что они повернутся и увидят меня. Сердце мое билось ещё быстрее, я натягивал простыню на голову, чтобы укрыться от них.

– Папа, – взволнованно позвал меня Иван, – как ты себя чувствуешь?

Сын снимал с моей головы простыню.

– Нормально, – отвечал я и, приподнимая голову, смотрел в сторону окна – там никого не было.

Ваня то подходил к окну и вглядывался в пустынную улицу, ожидая, что её осветят фары движущейся машины, то возвращался ко мне, брал в руку моё запястье, чувствовал под пальцами бьющуюся вену и вновь, взволнованный, бежал к окну.

– Где же они есть? – тихо и сокрушённо произносил он.

– Я хочу тебя попросить, – обратился я к нему.

– О чём, папа?

– Я порадовался вчера, что ты общаешься с Верой. Я этого очень желал...

Он внимательно смотрел мне в глаза.

– Пап, прекрати, ты говоришь таким тоном, как будто завещание пишешь. Всё будет нормально.

– Ваня, послушай меня, говорю тебе отцовскую волю и священническое благословение. – Я взял его руку. Она была большой, настоящей мужской рукой. – Всё может произойти в этот волчий час, когда отдыхает Господь. Но знай, мне ничего не страшно. Я так часто смотрел в глаза смерти, что привык к ней, как к временному затруднению, с которым сталкиваются разные по возрасту люди. На свете есть два дела, которым может посвятить себя мужчина – это профессия врача и служение священника. Оба дела душеспасительные как для людей, так и для самого человека, посвятившего себя этой деятельности. Идеально, когда обе деятельности сочетаются в одном человеке. Такие случаи были и есть. Ваня, выбери наконец свой путь, не теряй время, дни суетны и лукавы. Береги маму, заботься о ней. Не теряй Веру, она настоящая. В наше время это большая редкость. Если встанешь на путь священства, она будет хорошей матушкой и матерью твоих детей. Пообещай мне...

– Пап, хорошо, хорошо, я постараюсь. Относительно Веры одного твоего благословения недостаточно, есть ещё желание самой Веры.

Он побежал к окну.

Наконец улица осветилась фарами поворачивающей к нам машины, и он рванулся в подъезд, шумно сбегая по лестнице. Через минуту послышались голоса и топот ног, подъезд оживился. Я перекрестился и вздохнул.

– Благодарю тебя, Мать Божия.

Первым вошёл худой и высокий человек с двумя чемоданчиками. Он был молод, белобрыс, длинная шея его и короткие синие рукава бросались в глаза. Следом вошла доктор, женщина средних лет, в белом халате, поверх которого была надета стёганая серая телогрейка. Она выглядела уставшей и отстранённой.

– Что случилось? – спросила она и добавила, обращаясь к Ивану: – Принесите два стула и немного тёплой воды.

Иван бросился на кухню.

– Сорвался ритм, – тихо сказал я.

– Миша, давай будем снимать кардиограмму, и набери девять кубиков панангина, приготовь катетер.

– Понял, – ответил медбрат.

Он поставил чемодан на принесённый Иваном стул, открыл верхнюю крышку, и рукава его поднялись по самые локти.

– Непереносимость к каким-нибудь препаратам у вас есть? – спросила доктор.

– Нет.

– Давайте я вас послушаю.

Ваня стоял в дверях и наблюдал за происходящим. Глаза наши встретились, и я ободрающе подмигнул ему. Он улыбнулся в ответ, но не смог пере-

силить эмоцию напряжённого переживания, и улыбка получилась вымученной. И я подумал: какой он у меня глубокий и добрый мальчик.

Медбрат смачивал мою грудь мокрой холодной салфеткой и устанавливал присоски с проводами. Загудел аппарат, и начала выкатываться из него плёнка, расчерченная длинными вертикальными зигзагами. Она всё бежала и бежала до тех пор, пока доктор не схватила её и привычным резким движением рванула, намотав на ладонь.

Потом Миша ставил катетер, через который вливали панангин. Молча ждали, но приступ тахикардии не снимался.

– Вы можете пройти самостоятельно до машины? – спросила меня врач.

– Попытаюсь...

Я приподнялся на локти, спустил ноги с кровати и сел.

– Ваня, – попросил я, – возьми стул и иди за мной, может быть, мне нужно будет присесть.

– Давай, пап, я поддержу тебя.

Одной рукой он держал меня под руку, другой нёс стул.

Дважды пришлось садиться. Темнело в глазах, обмякшее тело тянуло вниз, я готов был потерять сознание. В машине меня уложили на холодные жёсткие носилки, поставили в катетер капельницу. Ваня стоял на улице и с волнением смотрел на происходящее. Я сделал ему знак рукой, чтобы он шёл в дом, и дверь скорой с шумом задвинулась. Машина поехала, переваливаясь с бока на бок по неровной дороге. Поплыли тёмные окна спящего дома, тусклые фонари на столбах. В кабине водителя хрипела рация.

Так прервалась моя деятельность, замерла моя жизнь. Никогда я не был настолько беспомощен и одинок. Я находился среди чужих мне людей, механически выполнявших свою рутинную работу за скромное жалование.

«Волчий час, время сгустившейся предрассветной тьмы. Все люди спят, отдыхая перед неизвестностью предстоящего дня. Но есть другой день, – подумал я, – внутри человека, в котором никогда не бывает тьмы».

Окно скорой то темнело, то освещалось пробегающим светом. Он скользил внутри машины, облизывая боковую дверь, мои руки и синие штаны медбрата, сидящего с закрытыми глазами, и я не мог определить, где мы едем и скоро ли появятся светящиеся окна и жёлтая, обшарпанная стена знакомой мне с детства больницы.

Наконец машина, заскрипев тормозами, остановилась. Распахнулась дверь. Послышались голоса людей. Меня выдвинули из автомобиля вместе с носилками. Молодой крепкий парень лет тридцати пяти, крупноголовый и простоволосый, и женщина средних лет, в утягивающем её полноту халате, закатали носилки в коридор больницы и помогли перебраться на стационарную коляску. Потом вызывали доктора, заполняли карточку, и тот самый парень, который, видимо, выполнял во время дежурства больницы тяжёлую работу, отвёз меня к лифту, громыхнул дверями и поднял в блок интенсивной терапии кардиологического отделения.

Капали в вену кордарон. Я чувствовал сильную усталость, как будто мне пришлось бежать многокилометровую дистанцию. Хотелось спать, но тревога не покидала меня, стояла капельница, я боялся шевелиться и думал: когда закончится лекарство, кто освободит мою руку, потому что рядом из медперсонала никого не было. Скоро стало понятно, что никто не придёт. Справа слышалось частое, прерывистое дыхание. Из соседнего бокса раздавался густой храп. Я беспрестанно повторял слова молитв и думал о том, как может быть одинок и беспомощен человек. И даже Бог кажется таким далёким, когда нет сил рвануться к Нему, чтобы попросить о помощи. Я уснул.

Мне снился приезд в наш храм Владыки, обычные хлопоты при его встрече, а я, почему-то не облачённый, стою в углу и боюсь, что входящий в храм Владыка, всех широко благословляющий и поздравляющий с праздником, увидит меня. Уже громогласно возгласил протоиерей: «Премудрость. Честнейшую Херувим...» Хор подхватил со сладкопением: «Достойно есть...» Иподиаконы надели на Владыку мантию, Владыка делает одно поклонение и уже принимает крест, и вдруг служба останавливается одним взмахом руки архиерея.

– А где же ваш настоятель? – спрашивает он в мёртвой тишине храма.

Все: и священники, и миряне – поворачивают головы в угол, где стою я. Моё сердце готово выскочить, я задыхаюсь. Владыка манит меня к себе, берёт за руку тёплой, мягкой отеческой рукой и благословляет идти в алтарь.

Я проснулся. Медсестра будила меня прикосновением к моей правой ладони. Она молча снимала капельницу, которая была пуста.

Весь день в больнице приступ то останавливался, то возникал вновь. Я старался не шевелиться и почти не дышать. Любое движение тела провоцировало приступ. Меня подключили к монитору, капали какие-то растворы, но ничего не помогало стабилизировать ситуацию. После четырёх часов врачи ушли по домам, оставив меня с молодым дежурным доктором. Положение было угрожающим.

Крадучись вошёл в палату Иван в халате. С ним встревоженная Вера.

– Пап, как ты? – спросил Иван. – Приступ сняли?

– С переменным успехом, – ответил я.

Он смотрел на меня, на монитор, и лицо его менялось.

– Я сейчас, пап. Вера, побудь с отцом.

Через минуту он вошёл с молодым доктором.

– Ну, да, – раздумывая, приговаривал доктор, – вы старайтесь не волноваться, – обращался он ко мне. – Вам это сейчас ой как не надо. Я скажу, чтобы ещё поставили кордарон.

Доктор ушёл. Ваня не сводил взгляд с монитора, который стоял на тумбочке за моей спиной. По его испуганным глазам можно было прочитать, что пульс был за двести ударов в минуту. Он торопливо вышел вслед за доктором. Вера, казалось, онемела. Она стояла, в ужасе наблюдая за происходящим. Я тогда не знал, как моя болезнь повлияет на судьбу этой удивительной, чистой девочки.

Глаза её наполнялись слезами, она, застигнутая врасплох, не могла сдвинуться с места.

«Красив человек, глубоко сострадающий другому человеку, – подумал я, наблюдая за Верой, и улыбнулся ей, – пожалуй, это самое правдивое состояние его души».

Вбежал доктор, за ним встревоженный Иван. Вера вдруг громко вскрикнула и выбежала за дверь.

Через полчаса Вера робко заглянула в палату и уставилась в монитор. Глаза её были красными от слёз. Она увидела, что пульс восстановился, вошла и сказала:

– Слава Богу, вам лучше, теперь всем будет хорошо.

Иван смотрел то на меня, то на заплаканную Веру, и его повзрослевшее лицо выражало тихую радость оттого, что мы вместе перед бедой.

Они успокоились. Рассказывали всякие глупости, пытались шутить. Но монитор притягивал их тревожные взгляды.

Вскоре медсестра, исполняя приказание доктора, попросила их уйти.

– Папа, держись, – сказал Иван, – завтра я приеду.
– Не бойтесь, дорогой батюшка, – прощаясь, сказала Вера тихим голосом, – приступа не будет, Господь посреди нас. – Она коснулась моей руки. – Поправляйтесь.

Они ушли. Я уснул и проспал до самого утра.

ВЫБОР ВЕРЫ

Состояние стабилизировалось. Приступов тахикардии больше не возникало. А потом начались мои мытарства. Ведущий меня врач написал в выписке направление в областную больницу и далее в Москву, на обследование и операцию. Подготовили все анализы, включая коронарографию. Дело осталось за квотой на операцию. Господь не оставил меня, квоту выделили и я засобирався в дорогу.

Тоскливо было на душе, я переживал за храм. В больницу приходили меня проведать Тихон Антонович с бригадой. Одеты все были нарядно, в рубашках и пиджаках, трудно было узнать в этих людях моих строителей. Тихон свистел в медальон на шею:

– Ты, отец Евгений, подлечись, работа не волк, в лес не уйдёт. А мы храм не бросим, – Тихон повернулся к своим подчинённым, – не бросим, ребята?

– Нет, не бросим! – поддержали Тихона и Славка, и Сергей Шустов, и крановщик Виктор Васильевич.

– Слышишь, – обратился ко мне Тихон, – лечись в Москве столько, сколько надо. Приедешь – храм не узнаешь, будет стоять как пасхальное яичко.

От слов Тихона стало спокойнее. Но дело было даже не в словах, а в его отеческой заботе, исходившей из глубины его доброй души. Слова были для того только, чтобы скрыть за шутками это внутреннее движение сердца, чуткого, сострадательного.

Они оставили пакет с фруктами и как-то застенчиво удалились.

Приходила инокиня Неонила, маленькая, исхудавшая от поста дева, стояла в углу палаты, ждала, когда медсестра поставит капельницу. Уста её улыбались кроткой, застенчивой улыбкой, а тёмные глаза светились внутренней благодатной радостью.

– Возьмите, батюшка, во здравие души и тела, – сказала она и протянула мне богородичную просфору, – и вот эти записи, сделанные мной сегодня, в них есть новость, – загадочно прибавила она. – И благословите.

На руке стояла капельница. Я только произнёс с чувством:

– Бог благословит.

Она не задержалась ни на минуту, поклонилась низко и ушла.

Я открыл её записи и прочёл следующее:

«Дорогой батюшка! Спешу сообщить вам радостную новость (это слово было подчёркнуто), если только этим словом можно назвать происходящее.

Вчера очень поздно легла. Утром проснулась рано – не могу спать. Думаю: надо молиться. Прочитала часть правила и села читать жизнеописание архимандрита Кирилла. Прочитала и молюсь: «Батюшка, батюшка, отец Кирилл, помоги отцу Евгению сегодня, а мне бы поскорее вернуться к матушке!» Стала читать акафист преподобному Серафиму и сразу же в черновом варианте в 6 утра записала следующее:

«Дорогой батюшка! С великой радостью спешу вам сообщить, что сейчас вам дано короткое (тоже подчёркнуто) время на то, чтобы вы сделали

свои заметки и все свои писательские намерения хотя бы в набросках. Вам даётся очень короткое время, потому что потом его у вас совсем не будет. Вам нужно будет предстать перед Престолом Божиим и молиться за погибающий мир. В том числе вам нужно успеть составить набросок к полному жизнеописанию схиигуменьи Дорофеи. Лучше вас этого никто не сделает. Я постараюсь в ближайшие дни кое-что написать вам из того, что знаю (самое малое) о матушке. Я вам советовала съездить в Киев, помолиться там о здравии, и хорошо было бы вам при поездке туда инкогнито посетить Ржищев. В Киево-Печерской Лавре есть две гостиницы.

Посмотрите Преображенский храм в сестринском корпусе. Матушка собственноручно делала рисунки на Иконостасе. Икона Живоносного Источника Божией Матери (про неё матушка говорила, что в ней заложена великая глупина, духовная сила и мощь)».

Это я записала утром. А теперь о ваших делах. Напишу иносказательно, по-монашески.

Когда матушка первый раз сняла с меня облачение, это было большим потрясением. Пришла в келью, помысел говорит: не буду ничего кушать от великой скорби. Я начала размышлять: откуда этот помысел? Думаю, ладно, пока делаю так, а потом видно будет.

На следующий день сёстры матушке сказали, что я ничего не могу есть. Во время трапезы матушка начала говорить на эту тему. Рассказывала, как их воспитывали в Воронежском монастыре. Затем на секунду остановилась, как бы размышляя или молясь (ведь, конечно, она меня жалела очень), и говорит:

– Инокиня Неонила, если ты не будешь кушать, то я с тебя и подрысник сниму. Будешь ходить в короткой цветной юбке!

Сёстры пришли в ужас, а я внутри чуть не рассмеялась. Думаю: ну и матушка, вместо того, чтобы меня пожалеть и простить, придумала выход из положения. Конечно, мне пришлось кушать, и сёстры облегчённо вздохнули. Видно, тогда не пришло ещё время меня простить. Немного позже матушка меня простила (но до этого я несколько раз подходила к ней и просила прощения за своё поведение и гордость), тогда я почувствовала великий мир внутри и такой дух кротости и смирения, что не передать словами. Конечно, через какое-то время опять всё растеряла, искала потом у Господа и просила, но такого духа кротости, смирения, мира, умиления и покаяния больше очень долго не чувствовала и не могла найти. Было сильное внутреннее потрясение от действий матушки, и молитва лилась к небу чистым потоком.

(Наверное, когда-нибудь вы напишете обо мне книгу и назовёте её «Есфирь». Поместите в неё всё, что вам когда-нибудь писала, и все ваши записки ко мне. Только пусть это будет после моей смерти.)

Молитвы и благословение архимандрита Кирилла и схиигуменьи Дорофеи да будут над всеми нами.

Батюшка, простите за дерзость. Недостойная инокиня Неонила».

Так закончила матушка своё письмо.

«Матушка, матушка, – задумался я, – теперь мне нужно разгадывать твои «иносказательные» монашеские наставления. Пусть почитает Вера, может быть, она мне объяснит. Вот из неё получилась бы настоящая монахиня».

Эта мысль как-то сама собой высказалась в уме и напугала меня.

Владыка своим указом прислал в помощники молодого священника. Благовоспитанного человека, доброго и внимательного. Он был высок ростом,

полноват. Выяснилось, что несколько лет назад отец Сергей (так звали этого двадцатидвухлетнего священника) увидел меня в школе. Я тогда ходил с лекциями (помню, меня хватило на двадцать три школы) и рассказывал детям о целомудрии. Их собирали в актовом зале, входил священник, который пытался на их подростковом языке говорить им о важных и глубоких предметах. На одной из таких лекций был четырнадцатилетний мальчик Серёжа, который был так вдохновлён рассказом священника, что по окончании беседы бежал за ним по лестнице.

– Я не знаю, для чего я бежал за вами, – рассказывал мне отец Сергей при первой нашей встрече в храме, – я не думал у вас что-либо спрашивать, а просто для чего-то преследовал вас на расстоянии до самого выхода из школы.

Душа моя успокоилась, и я засобирился в Москву.

– Ваня, ты не мог бы пригласить Веру к нам домой? – осторожно попросил я. – Мне нужно передать ей работу и кое-что объяснить.

Я постарался задать свой вопрос спокойным, равнодушным тоном.

Иван был внимателен ко мне. Никуда не торопился, все дни находился рядом и трогательно заботился обо мне.

– Папа, Вера не отвечает на звонки, – сказал Иван и вышел в другую комнату.

– Может быть, ты пойдёшь к ней домой и пригласишь её к нам?

Иван появился в дверях. Взгляд его был взволнованным, лицо казалось бледным.

– Пап, она же видит, что я ей звоню, – Иван потрясал телефоном, – и не отвечает, понимаешь?

– Может быть, отключён телефон, плохая связь, – успокаивал я его, – могут быть и другие причины.

– Нет тут никаких причин, кроме той, что она не хочет со мной разговаривать.

– И давно это происходит? – обеспокоенно спросил я сына.

– Уже несколько дней. – Иван подсел ко мне. – Сначала были гудки длинные, а два дня в трубке отвечает компьютер, что абонент недоступен.

– Надо сходить к Вере домой. – Я обнял Ивана за плечи.

– Если она не хочет со мной говорить, она не захочет и видеть меня. – Иван облокотился о свои колени и свесил голову.

– Ты копаешься в своём самолюбии, а вдруг с Верой что-нибудь случилось? – твёрдо сказал я.

– Ты прав, – Иван приподнялся, – пойду.

Он вышел на улицу. Я стал думать о Вере, и беспокойство овладело мной. Я решил ехать в храм, чтобы перед отъездом сделать некоторые распоряжения по работе строителям. К престольному празднику Архангела Михаила, двадцать первого ноября, планировалась первая служба в верхнем храме с приездом Владыки. Всё должно быть подготовлено. Но в глубине души я надеялся встретиться с Верой.

Стоял ясный солнечный день. Рабочие во главе с Тихоном сидели под навесом и ели. Увидев меня, радостно поднялись навстречу.

– Ангела за трапезой! – громко произнёс я. – Сидите, я с вами почаёвничая.

Все уселись на прежние места и уставились на меня.

– Вижу, – обратился я к ним, – продвинулись хорошо. Через четыре месяца приезд Владыки, надо постараться к престольному празднику войти в верхний храм и отслужить в нём первую службу. Что скажете?

– Куполов нет, – отметил Тихон Антонович.

– Купола приедут из Волгодонска через месяц, – ответил я.

– Неужели? – удивился Тихон.

– Это факт.

Все загалдели.

– Что же вы нас в известность не поставили?

– Пока лежал в больнице, друзья из большого бизнеса решили сложиться на купола и заказали на заводе Волгодонска.

– Это же не подсвечник купить, – вставил Славка, – это же огромные деньги!

– Да, деньги большие, – подтвердил я, – два с половиной миллиона.

Все ахнули.

– Но и друзья большие, – с гордостью проронил я, – один из них – директор завода «Гидромаш» Пещеров Александр Николаевич, другой – вице-президент Александровского банка Москвы Макенский Борис Николаевич, третий – Погорелов Пётр Евгеньевич – генеральный директор двух центральных московских телеканалов, и Пыжов Сергей Иванович – свободный бизнесмен.

– Не имей сто рублей, как говорится, – вставил Виктор Васильевич.

– Как людям не жалко отдавать такие деньги? – удивился Шустов.

– Они не отдают, Сергей, – ответил я, – они вкладывают. Бог в долгу не бывает. Времена меняются, сейчас человек богат, а завтра может разориться.

Тихон Антонович переменял тему разговора.

– Когда едешь на операцию?

– Завтра, Тихон Антонович, – ответил я и добавил: – Прошу ваших молитв.

– Да какие мы молитвенники, – бросил Тихон, – мы люди работающие.

– Я вам расскажу историю, – предложил я. – Один интеллигент подошёл к реке и попросил перевозчика на лодке доставить его на другой берег. Вошёл в лодку, сел, положил на колени портфель. Перевозчик опустил вёсла и отчалил от берега. Очкарик смотрит: на вёслах написано: на одном «молись», на другом «трудись».

– «Трудись» – это я понимаю, – вслух сказал интеллигент, – а «молись» зачем? Пустое времяпрепровождение!

Доплыли как раз до середины реки.

Перевозчик молча положил весло, на котором было написано «молись», вдоль лодки и стал грести одним весло. Лодка вперёд не пошла, а закружилась на месте.

– Я понял, понял, – ответил интеллигент перевозчику.

– Да, мудроно, – сказал Тихон, – жаль, что нас этому не учили с самого детства, а теперь уже поздно начинать.

– Никогда не поздно! – твёрдо сказал я.

– И то, правда, – подтвердил Тихон, и все поддакнули.

– Поезжай, лечись, а мы будем делать то, что хорошо знаем.

Мы пожали руки, и я, глядя по сторонам, направился к машине. Ко мне бежала работница храма с пакетом в руках.

– Батюшка, для вас оставили.

– Кто? – удивился я, но мне уже сердце подсказывало, что этот пакет от Веры.

Я сел в машину и рассмотрел его. Коричневая обёрточная бумага была перевязана прозрачным скотчем по углам и крест-накрест. Наверху было написано синей ручкой: «Отцу Евгению лично в руки».

Распечатать его сразу не получилось. Я отъехал подальше от храма, остановился и раскрыл пакет.

Это было письмо от Веры.

«Бог милостив, отец Евгений, это я теперь знаю. Когда вам было плохо в больнице, я молилась за вас и просила Господа только об одном: чтобы вы стали здоровы, чтобы угроза, нависшая над вами, исчезла. В тот момент воспоминание о смерти моего отца буквально нависло надо мной и придавило с пугающей силой.

Когда Ваня побежал за доктором, я стояла, словно застывшая от холода статуя. Меня как будто парализовало. Я смотрела на зелёный монитор за вашей спиной, по которому змейкой ползла светящаяся линия, рисуя странные кривые, и не могла пошевелиться. В углу экрана мигали цифры, которые менялись, казалось, каждую секунду от 180 до 230 – это было биение вашего сердца. Я испугалась, что нас оставили одних. И когда доктор забежал в палату, а за ним влетел Ваня, я словно ожила. Выбежав из палаты, встала у двери. Сердце колотилось в груди. В следующую минуту вышел доктор, взглянул на меня и пробежал в ординаторскую. Лицо его было сильно встревожено. Я испугалась и пошла за ним, чтобы просить его незамедлительно помочь вам, но услышала разговор по телефону сквозь приоткрытую дверь ординаторской: «Из отделения интенсивной терапии спустить в реанимацию, так, – повторял молодой доктор, – общий наркоз, остановка сердца и дефибриляция... Понятно», – подтвердил кому-то доктор.

Сердце моё сжалось от услышанного разговора. Я не понимала значения слов, а поняла лишь, что будет остановка сердца.

Я побежала по коридору на лестничную клетку, встала на колени и плача стала молиться, чтобы вас не везли в реанимацию, чтобы не было остановки сердца, при этом пообещав Богу, что если вам станет лучше, я уйду в монастырь.

Сколько продолжалась молитва, я не знаю, мне казалось, что долго. Когда я приоткрыла дверь палаты, то увидела спокойное лицо вашего сына и, взглянув на монитор, поняла: всё в порядке.

Я не могу не исполнить своего обета. Нет грусти, что я решилась на этот шаг и нет разочарования в том, что была застигнута Богом в такую минуту. Но для вас я смогла бы сделать всё, даже, пожалуй, умереть. Что я и делаю сейчас, умираю для мира, чтобы быть живой для Бога и... для вас. Простите, я плохая, потому что полюбила вас, зная, что вы никогда не будете со мной. Что я не буду смотреть на прекрасный мир вашими глазами, слушать ваши сложные и глубокие рассуждения, понимать, что вы знаете ответы на все вопросы. Я опоздала на целый век со своим рождением, но я буду ждать вас в ином, более счастливом мире.

Но знайте: любить вас – это настоящее счастье! Я узнала любовь, пережила её всем сердцем, и за это я благодарна Богу и вам, дорогой, любимый человек. Я принесу свою любовь к Богу как оправдание моей дерзости, пусть Он меня простит. Благодарю вас за сдержанность и благородство. Невоплощённое чувство печалит душу, но за это оно защищено от возможности быть разрушенным. Пусть оно принадлежит вечности, как планета, ещё не открываемая людям.

Не ищите меня и не печальтесь. Когда Господь даст мне силы благодати, укрепит мою волю, сделает меня твёрдой как камень – тогда я напишу вам.

Мама разрешила мне поехать на неопределённое время в монастырь и пожить в нём. Всех переживаний я ей сказать не могу, но думаю, со временем она меня от себя отпустит.

Я помню, что вам предстоит ещё одно испытание в Москве. Не волнуйтесь, теперь ничего не случится, ведь я вас люблю, а значит, вы никогда не умрёте.

Когда вам будет особенно тяжело и грустно, вспомните, что где-то на этой земле есть одна убогая послушница, которая день и ночь возносит свои молитвы о вас перед Господом.

Всегда ваша Вера».

Я положил письмо на колени и перевёл дух, волнение овладело мной. Я вдруг почувствовал одиночество и тоску по счастливой, но неосуществлённой жизни.

«Какой ты удивительный человек, Вера, – в раздумье произнёс я, – печально мне, но печаль моя светла. Божья милость сказалась над нами, что всё так закончилось. Но сможешь ли ты понести это бремя любви, хватит ли тебе верности обетам, которые ты собираешься сделать? А если хватит, то будешь святым человеком».

В следующую секунду я подумал об Иване, его отношении к этой прекрасной девушке, о своих планах на их общую судьбу и глубоко вздохнул:

– Вера, Вера, – повторил я, – зачем ты от нас уехала?..

Я вспомнил один недавний разговор с Верой. Мы спорили о людях в церкви, молящихся, просящих Бога, но не получающих просимого.

– Бог же их должен слышать, – горячо настаивала она. – Я только это хочу сказать. Они же все молятся!

– Бог не разделился и не умалился, Вера, Он всё тот же, – убеждал я её. – Только трудность состоит в том, что они, люди, изменились. Господь даёт обильно благодати, как и во все времена, но они не могут её вместить. Поэтому и чудо невозможно, ибо оно невозможно без участия человека; не хватает его глубины, его высоты, его выхода до уровня взаимодействия с Богом! Не возникает чуда оттого, что человек мелок. Если бы он мог вместить Бога, не было бы столько горя и страданий.

– Она поехала готовить почву сердца, – вслух сказал я и завёл машину, – но куда она поехала, в какой монастырь?

Мне показалось, что если бы я знал, где она находится, то сейчас бы отправился за ней.

ИВАН

Я открыл дверь нашей квартиры и вошёл. Иван был уже дома и ждал меня. Он стоял в коридоре, облокотившись плечом о стену.

– Она уехала в монастырь. – Он смотрел мне в глаза не мигая. – Это ты её на это благословил? – Вопрос прозвучал угрожающе.

– Нет, я не благословлял Веру в монастырь, – спокойно ответил я, – для меня это тоже новость.

– Но ведь человек не может вот так уйти, он должен получить благословение духовника, родителей, крёстных, кого там ещё, не знаю, иметь вескую причину... – кипятился Иван.

– В общем, ты прав, так должно быть, – успокаивал я его, – но бывают, видимо, душевные порывы.

– Она и тебе ничего не сказала? – лицо Ивана вытянулось от удивления.

– В том-то и беда, – вздохнул я и прошёл в комнату. – Садись, поговорим.

Иван сел в кресло напротив меня. Беспокойство не оставляло его.

Я не мог ему сказать о письме, о причине ухода Веры из мира, но что-то надо было говорить. Я смотрел на него и думал, как он изменился за последние недели. Моя болезнь и общение с Верой благотворно подействовали на него. И сейчас надо было сказать что-то важное, глубокое, может быть, судьбоносное для него.

– Знаешь, Ваня, – осторожно начал я, – Вера уехала в монастырь, и это в очередной раз убеждает меня в том, что она глубокий, серьёзный человек. Но чтобы остаться в монастыре и принять сначала постриг в иночество, потом обеты монашества, положено пройти искус послушничества под руководством опытного наставника. Этот срок в среднем определяется тремя-пятью годами. За это время – я знаю множество примеров – послушник может передумать, поняв, что этот путь не для него, и вернуться в мир.

– Вера не из таких, которые сворачивают, – раскрасневшись, вставил Иван.

– Откуда ты её знаешь? – с тайной радостью спросил я его. – Ты общался с ней без году неделя.

– Знаю, я всё понял про неё!

– Давай не будем забегать вперёд, – остановил я его, – есть ещё Божья воля и Божий промысел. Но я не это хочу сказать. – Я встал и, идя в кабинет, продолжал, возвысив голос: – Я хочу тебе объяснить тот мир, в который Вера отправилась, не своими словами, а словами книги, которую я всё последнее время читаю. Вот она, – я показал Ивану книгу, которую взял со стола. – Послушай, коротко прочту тебе основное:

«...когда великий Апостол языков говорит: «Какая польза без любви, даже в такой вере, которая двигала бы горы?» – он не утверждает возможность такой веры без любви, но, предполагая её, объявляет бесполезной. Не духом мудрости мирской, спорящей о словах, должно быть читано Святое Писание, но духом мудрости Божией и простоты духовной. Апостол определяет веру, говорит: «Она есть невидимых обличение и утверждение уповаемых» (не только ожидаемых или будущих); если же уповаем, то желаем; если же желаем, то любим; ибо нельзя желать того, чего не любишь. Или бесы имеют такое упование? Посему вера одна, и, когда спрашиваем: может ли истинная вера спасти, кроме дел? – то делаем вопрос неразумный, или, лучше сказать, ничего не спрашиваем; ибо вера истинная есть живая, творящая дела: она есть вера во Христа и Христос в вере.

Те, которые приняли за истинную веру мёртвую веру, то есть ложную или внешнее знание, дошли в своём заблуждении до того, что из этой мёртвой веры, сами того не зная, сделали восьмое таинство. Церковь имеет веру, но веру живую, ибо она же имеет и святость. Когда же один человек или даже епископ имеет непременно веру, что можем мы сказать? Имеет ли он святость? Нет, ибо он ославлен преступлением и развратом. Но вера в нём пребывает, хотя и в грешнике. Итак, вера в нём есть восьмое таинство, как и всякое таинство есть действие Церкви в лице, хотя и недостойном. Через это таинство какая же вера в нём пребывает? Живая? Нет, ибо он преступник, но вера мёртвая, то есть внешнее знание, доступное даже бесам...»

– Это очень интересно! – перебил меня Иван и заёрзал на кресле.

– «...И это ли будет восьмое таинство? – воодушевившись, продолжал я. – Так отступление от истины само собою наказывается...»

...Святая церковь, исповедуя, что она ожидает воскресения мертвых и окончательного суда над всем человечеством, признаёт, что совершение всех её членов исполнится с совершением её самой и что жизнь будущая принадлежит не духу только, но и воскресенному телу, ибо только Бог есть

совершенный бестелесный дух. Потому она отвергает гордость тех, которые проповедуют учение о бестелесности за гробом и, следовательно, презирают тело, в котором воскрес Христос. Тело это не будет телом плотским, но будет подобно телесности ангелов, как и сам Христос обещал, что мы уподобимся ангелам.

В последнем суде явится в полноте своей оправдание наше во Христе, не освящение только, но и оправдание: ибо никто не освятился и не освящается вполне, но ещё нужно и оправдание. Всё благое творит в нас Христос, в вере ли, надежде ли, или любви; мы же только покоряемся Его действию, но никто вполне не покоряется. Поэтому нужно ещё и оправдание Христовыми страданиями и кровью. Кто же ещё может говорить о заслуге собственных дел или запасе заслуг и молитв? Только те, которые живут ещё под законом рабства. Всё благое творит в нас Христос, мы же никогда вполне не покоримся, никто, даже святые, как сказал Сам Спаситель. Всё творит благодать, и благодать даётся даром и даётся всем, дабы никто не мог роптать, но не всем равно, не по предопределению, а по предвидению, как говорит апостол. Меньший же талант дан тому, в ком Господь предвидел нерадение, дабы отвержение большого дара не послужило к большому осуждению. И мы сами не растим дарованных талантов, но они отдаются купцам, чтобы и тут не могло быть нашей заслуги, но только было несопротивление растущей благодати. Так исчезает разница между благодатью «достаточной и действующей». Всё творит благодать. Покоряешься ли ей, в тебе совершается Господь и совершает тебя; но не гордись своей покорностью, ибо и покорность твоя от благодати. Вполне же никогда не покоряемся, посему, кроме освящения, ещё просим и оправдания.

Всё совершается в совершении общего суда, и Дух Божий, то есть дух Веры, Надежды и Любви, проявится во всей своей полноте, и всякий дар достигнет полного своего совершенства: над всем же будет Любовь. Не должно, однако же, думать, что дары Божии, Вера и Надежда, погибли (ибо они нераздельны с Любовью), но одна Любовь сохраняет своё имя, а Вера, пришедшая в совершенство, будет уже полным, внутренним ведением и видением; Надежда же будет радостью, ибо мы и на земле знаем, что, чем сильнее она, тем радостнее».

– Это очень просто написано для понимания, – вставил Иван, – но очень красиво, я бы сказал, стройно. А некоторые мысли ты мне уже говорил, помнишь, пап?

– Да, помню, когда мы спорили с тобой о том, кто действует в человеке, когда он совершает преступление, и кто действует, когда человек совершает жертвенный поступок.

– Да, точно, – подтвердил Иван.

– И последние несколько слов, которые вдохновляют меня во время строительства: «...Церковь называется Православной, или Восточной, или Греко-Российской. Но все эти названия – временны. Не должно обвинять Церковь в гордости, когда она именует себя православной, ибо она же именует себя и Святою. Когда исчезнут ложные учения, излишним станет и имя православия, ибо ложного христианства не будет. Когда распространится Церковь или войдёт в неё полнота народов, тогда исчезнут и все местные наименования, ибо не отождествляется Церковь с какою-нибудь местностью: но она называет себя Единой, Святой, Соборной и Апостольской, зная, что ей принадлежит весь мир и что никакая местность не имеет особого какою-нибудь преимущества, но только временно служит для прославления имени Божьего, по Его неисповедимой воле».

Я закончил чтение и смотрел на сына, притихшего, смирившегося перед блистательными мыслями просвещённого ума.

– И я прибавлю: Церковь, явившаяся в конце истории человечества, есть великая тайна Творца! И тайна эта теперь разгадана вполне, можно с уверенностью сказать: мир создан ради Церкви. Церковь всё – мир ничто! Вера поняла это и пошла в этот возвышенный, но трудно носимый мир аскезы, отречения от привязанностей и страстей для жизни вечной. Чем больше нельзя, тем больше человек – как-то я уже говорил тебе это утверждение.

Иван слушал, опустив голову.

– Моё сокровенное желание состоит в том, чтобы ты вступил на этот же путь, который избрала дорогая тебе девушка.

Иван приподнял голову.

– Не обязательно быть монахом, – я поспешил его успокоить. – Поступи в семинарию, закончи её, пока Вера будет проходить испытание в монастыре, и моли Господа, чтобы Он вернул тебе её.

– Я подумаю, папа, над твоими словами, – не отмахиваясь, как прежде, а с серьёзным видом произнёс сын.

Мы одновременно встали.

– Мне завтра в Москву, – сказал я с грустью, – пойду готовить вещи.

– Да, – воскликнул обо всём забывший Иван, – завтра ты уезжаешь! Может быть, тебе помочь собраться?

– Что мне собирать? Только подпоясаться, – пошутил я, – но есть кое-какие мелочи, связанные с направлением в институт, документами, и так далее.

Иван пошёл в свою комнату.

ПРИЕЗД ВЛАДЫКИ

Операция, по словам профессора Амираана Шотаевича, прошла успешно.

Я три недели лежал в научном институте и ждал сообщений от Ивана, звонившего и писавшего мне каждый день, надеялся получить хоть какую-нибудь весточку от Веры, но она молчала. До меня доходили вести о состоянии строительства и отделочных работ в храме. В день выписки и отправки в санаторий Иван прислал сообщение, что он собирается в духовную семинарию.

Восстановление после операции было долгим, силы возвращались медленно, видимо, Господь сделал остановку для меня, чтобы я обо всём успел подумать.

Я писал мои записки и думал о том, кто их будет набирать на компьютере и систематизировать.

За месяц до престольного праздника Архангела Михаила я вернулся к делам и службам. Мы готовились к приезду Владыки.

Купола были установлены, они сияли золотом; Престол и Жертвенник были привезены из Почаевской Лавры и освящены; велись приготовления, связанные со встречей архиерея.

Наконец этот торжественный день наступил.

Когда Владыка в сопровождении иподиаконов входил в храм, а протоиерей громогласно возглашал: «Да святится Свет Твой пред человеки!» – хор пел «Достойно есть», а я смотрел по сторонам на пёструю массу народа, запрудившего весь храм, то вдруг, увидев знакомые лица, содрогнулся от этого видения. Это была полнота Церкви! Её своим присутствием обеспе-

чивал Владыка – он был камнем, от которого расходились круги во все миры и захватывали их.

Я увидел, как за людьми, которые радостно встречали Владыку и входили вслед за ним, лицо Рубина-Антония, стоявшего и смиренно смотревшего радостными глазами на Владыку, священство и на весь праздник, творившийся в новой церкви. Я увидел входящих Анатолия с младенцем на руках, а рядом с ним улыбающуюся во весь рот Светлану, за ними входил Василий Фёдорович под руку с Тамарой. У Алтаря рядом с клиросом стояли монахиня Тавифа, инокиня Неонила и моя мама, ласково смотрящая на меня. Я в ужасе стал озираться по сторонам, ища глазами человека, которого я не хотел бы видеть, и не хотел, чтобы его увидели Владыка и все участники богослужения, – я искал Пропостина. К моей радости, его не было в храме.

Но я увидел Веру рядом с Иваном. Они, казалось, ничего не замечали вокруг, смотрели только на меня, переживая мою радость первой службы в верхнем храме, к которой мы так долго шли и долго готовились. У входа, вдалеке, стоял Рустик, не переступая порога.

Владыка поднялся на кафедру, народ, как сомкнувшиеся воды, заполнил проход от дверей к кафедре, протодиакон возгласил:

– Благослови, Высокопреосвященнейший Владыка!

Вдруг народ от дверей в храм стал вновь расступаться, как будто приехал ещё один архиерей.

Служба остановилась, и все взоры устремились к дверям храма в ожидании. Собранную красную ковровую дорожку торопливо расстелили снова, и все увидели, как на неё своими маленькими ножками вступил мальчик с тёмными глазами. Он был одет в строгий детский костюмчик с белой рубашкой и бабочкой под шейкой, лакированные туфельки твёрдо ступали по дорожке. Он шёл по людскому коридору уверенной походкой прямо к кафедре. Это был Илюша. За ним, поодаль, шла его мать Наталия.

В храме царил тишина, все в ожидании притихли.

Илюша подошёл к кафедре, сложил ручки для благословения и высоко, почти над головой, протянул их Владыке. Тот в митре и полном облачении величественно, неторопливо повернулся к Илюше и молча перекрестил его, а потом возгласил над головами радостных прихожан:

– Благословен Бог наш!

И служба началась...

Они все, все живы, и храм – это место, где нет смерти, где сходятся все миры, все царства: и небо, и земля, и ад – всё соединяется в теле Христовом становящегося смысла!

Бог есть Любовь! И если я их люблю, то они находятся в Боге вместе со мной, в реальности бессмертия. Ведь Он ни зла, ни смерти не создавал, они возникли в свободном выборе человека. И тот, кто выбирает зло, выбирает смерть, находится вне Бога, вне творения, вне жизни! А кто пребывает в любви, тот пребывает в Боге и принадлежит бессмертию!

Липецк, июль 2014 года



**Анатолий
АВРУТИН**

МОЛИТВА

ЦИКЛ СТИХОВ

Она всего лишь руку убрала,
Когда он невзначай её коснулся.
Он пересел за краешек стола...
Налил фужер... Печально улыбнулся.

Она в ответ не выдала ничуть,
Что прикосанье обожгло ей кожу.
Сказала тихо: «Поздно... Как-нибудь
Увидимся... Я вас не потревожу...»

И поднялась... Напрасных мыслей рой
Пульсировал артериею сонной.
Ушёл он... С обожжённой душой...
Ушла она... С рукою обожжённой...

Подошла, расхристана, по стуже,
Будто не страшась стуж,
Ни молвы, ни Господа, ни мужа,
Руку протянула: «Ты – мне муж...»

-
- Анатолий Юрьевич Аврутин родился и живёт в Минске. Окончил Белорусский государственный университет. Автор более двадцати поэтических сборников, изданных в России, Беларуси, Германии и Канаде, двухтомника избранного «Времена», книги избранных произведений «Просветление». Лауреат многих международных литературных премий, в том числе им. Э. Хемингуэя (Канада), «Литературный европеец» (Германия), им. К. Бальмонта (Австралия), им. С. Есенина, им. Б. Корнилова, им. А. Чехова, им. Н. Лескова, им. С. Полоцкого, им. В. Пикуля (все – Россия) и др. Член-корреспондент Российской академии поэзии, Петровской академии наук и искусств, академик Международной литературно-художественной академии Украины. Главный редактор журнала «Новая Немига литературная». Почётный член Союза русскоязычных писателей Болгарии. Награждён медалью Франциска Скорины и многими общественными наградами, в том числе орденами М. Лермонтова, В. Маяковского, С. Есенина (дважды), «Культурное наследие» (Венгрия), «За благородство помыслов и дел», Золотой Есенинской медалью и др.

Ложь – рука... Ведь знал: презрев истому,
Отшвырнёт, обрубит эту связь.
И уйдёт спокойненько к другому,
Ни меня, ни Бога не боясь...

МОЛИТВА

Любимой

Я такой же, Господи, среди всех...
Помоги мне, Господи, хоть и грех!
Помоги мне, Господи, согрешить,
Помоги по-божески не прожить.
Чтобы стали други ко мне глухи,
Чтобы после прокляли за грехи...
Но пока, о Господи, но пока
Доведи, о Господи, до греха.
Чтобы жгли в аду меня злым огнём,
Но потом, о Господи, но потом...

Ничего не попишешь – такая досталась:
В одиноких зрачках золотится усталость.
Сиротливые губы сжимая двулуко,
Всё глядит... И не вымолвит больше ни звука.
Осторожные руки спокойны до дрожи,
До биения вен под мерцающей кожей...
Кто ты?.. Ева... Офелия... Боль... Эвридика?
Или гулкая тишь после долгого крика?..
Божий дар?.. Или всё-таки божья немилость?
Или просто слеза, что в слезе отразилась?..

Когдаходишь – тихо, осторожно,
Всё остальное – призрачно и ложно.
Есть только эти вздрогнувшие пальцы
И белых плеч шальная белизна.
Непониманье – это что?.. Откуда
Такое неожиданное чудо?..
Что суждено, то сбудется, конечно...
И в этот миг лишь ты мне суждена.

Мгновенен миг... Молю его продлиться.
Пусть это платье медленно струится,
Вдоль тела ослепительно сползая,
И пенится смущённо на ковре...
Пусть остывает позабытый завтрак...
День пролетит... Двенадцатое завтра...
Неужто же двенадцатое – завтра?..
Зачем оно мне в этом январе?

Умчит такси... Тебя... Мою... Такую...
 Я поцелую след от поцелуя
 На много страсти помнящей подушке...
 И снова поцелую этот след...
 Лишь комната останется со мною...
 Здесь боль живёт... Здесь пахнет тишиною.
 И вымытые стёкла так прозрачны,
 Как будто стекол в окнах вовсе нет.

Притушен свет... Час ночи... Пусто в доме.
 Но силуэт твой чудится в проёме.
 Ни голоса... Ни шёпота... Ни звука –
 Один лишь златоглазый силуэт.
 И я к нему протягиваю руку...
 О Господи, продли мне эту муку! –
 Ловить твоё тревожное дыханье
 И знать, что своего дыханья нет...

Я умер в последний день лета...

Вяч. Кузнецов

Стою у шоссе... Голосую...
 Напрасно машу я рукой.
 И образ твой в сердце несу я,
 А сердцу пора на покой.

Но всё же тобою согрето
 Оно в чередё неудач.
 Я умер в последний день лета...
 Сумеешь – тихонько заплачь...

Да так, чтоб не поняли люди,
 Что эта слезинка – по мне...
 Тогда пересудов не будет –
 Зачем тебе лихо вдвойне?

Зачем тебе злые наветы? –
 Мы – врозь... И останемся врозь.
 Я умер в последний день лета...
 Захочешь, косынку набрось.

С тобою мы не были парой,
 И в выборе ты не вольна.
 Запой же... И пусть у гитары
 Внезапно порвётся струна.

Пусть песня, печалью согрета,
 Тихонько парит в вышине.
 Я умер в последний день лета...
 Но песня чуток обо мне.

Научусь любить издалека –
Чтобы он не знал, жена не знала...
Чтобы непослушная рука
Непослушных строчек не писала.

Чтоб друг друга еле узнавать
В пыльной суете библиотеки,
Чтобы осторожности печать
Пятаком придавливала веки.

Чтобы и странички – не подряд,
Не подряд – снежинок ликованье.
Чтоб не выдал жест, не выдал взгляд,
Чтобы вдруг не выдало дыханье...

Научусь... Пусть воют провода,
Воет ночь, безлюбю в угоду.
И летит угрюмая звезда –
Снизу вверх летит по небосводу...

Забываю тебя забыть...
И страшусь, презирая страх,
Что души моей волчья сыть
Станет выть на семи ветрах.
Что не сгорблюсь... Не попрошу,
Чтобы стала тропой – стезя...
Что опять я тебе скажу
То, чего говорить нельзя.
Что безлюбый любовный хруст
Взмает выше щербатых стрех,
Что от милых и грешных уст
Будет в памяти только грех...
Что всё мнимо – ни лиц... ни тел...
Что хулу разнесёт молва...
Я о чём-то сказать хотел...
Совершенно забыл слова...

Пусть будущее зыбко, как свеча,
Где огонёк колеблется молитвой,
Есть только свет от белого плеча,
Есть только память, взрезанная бритвой...

Вновь накатило... Снова отошло...
Греховный взгляд... Божественное тело.
И от плеча так сделалось светло,
Что всё вокруг мгновенно потемнело.

Две женщины... А между ними – мгла,
Но есть в обеих царственная сила.
Две женщины... Одна из них ушла,
Вторая – никогда не приходила...

Темнеют в комнате углы,
Блуждают тени.
Но как, родимая, светлы
Твои колени,

Когда я голову на них
Кладу повинно...
И понимаю в этот миг,
Что ты – лавина...

Лавина неба и тоски,
Мечты и страха.
Твои тревожные виски...
Моя рубаха...

Твои чуть слышные слова
Полны сомнений.
Моя больная голова,
Твои колени...

Опять за окнами мело,
И вьюга стонет.
О, как же больно и светло
Сплетать ладони!

И помнить, что прервётся тишь,
И плакать, зная,
Что ты ладонь освободишь,
Моя родная.

И тихо к вешалке шагнёшь,
Как будто в пропасть.
Неужто и колени – ложь?..
И – пальцев робость?..

Так невозможно... Всё равно
Я не поверю.
Но как же страшно и темно
Стоять за дверью.

И снова ждать любимых глаз
С зимы до лета.
Пока мой полдень не погас,
Пока ты где-то...

Зябко... В углу дивана
Вновь прижилась тоска.
Вьётся немного странно
Музыка у виска.

Я не могу по звуку
Определить... Шопен?..
Мне бы в шальную руку
Гамму твоих колен...

Чтоб на подушке смятой
Нас целовал Христос...
Мне бы сейчас сонату
Дерзких твоих волос.

Чтобы и в миг печали,
Горечь испив до дна,
Губы твои звучали –
Гулкие, как струна.

Нету струны... Твой голос
Душу взрезает мне.
...Тоненький женский волос
Вьётся по простыне...

Спасибо, светлая моя,
За уст свершившееся чудо,
За появленье ниоткуда,
За строчек нервные края.

Спасибо, светлая!.. Прости
За глаз поблѣкших побежалость,
За чувств неловкую усталость,
За пепел в стынущей горсти.

Спасибо, светлая!.. Пусть так –
Всего на робкое мгновенье
Вернётся в душу озаренье,
Хоть для тебя оно пустяк.

Не я – румяный мой двойник
Тебе в тиши прошепчет слово,
И что-то встрепенётся снова –
На миг... На искорку... На вскрик...



**Александр
ТРАМ**

КОЕ-ЧТО ИЗ БРАЧНОГО ПЕРИОДА ГУСЕЙ И ДРУГИХ ВИДОВ

Блаженны кроткие, ибо они наследуют землю.

(Матфея, V, 5)

*...ибо огрубело сердце людей сих и ушами
с трудом слышат,
и глаза свои сожкнули, да не увидят глазами
и не услышат ушами,
и не уразумеют сердцем, и да не обратятся,
чтобы Я исцелил их.*

*Ваши же блаженны очи, что видят,
и уши ваши, что слышат,
ибо истинно говорю вам, что многие пророки
и праведники
желали видеть, что вы видите, и не видели, и слышать,
что вы слышите, и не слышали.*

(Матфея, XIII, 15, 16, 17)

I

Стояла поздняя осень. Совсем поздняя. Не самое лучшее время для поездок и путешествий: сыкотно, сыро, пейзажи унылы, в дополнение ко всему с Волги дул пронзительный ветер.

Меня отправили в очередную командировку. Честно говоря, я держался за эту работу только из-за частых возможностей покататься по стране. Сахалин, Хабаровск, Калининград, Грозный. Иногда Средняя Азия и Закавказье. В среднем я проводил в поездках около двух недель в месяц. Самолёты, гости-

-
- Александр Трам живёт в Москве. Начиная свою деятельность как пишущий журналист, был новостным репортёром. Работал в сфере управления строительством, развития производственных предприятий, участвовал в международных финансовых проектах в странах Средней Азии и Закавказья; в качестве приглашённого специалиста работал в Китае. В настоящее время опубликовал свою первую книгу на ресурсе РИДЕРО.

ницы, новые или уже знакомые коллеги, иногда лёгкий, а иногда тяжёлый флирт. В этот раз поездка была недалеко, в Сызрань. Около 400 километров от Казани. Сначала я хотел поехать на машине, но из-за дурной погоды и собственной лени решил ехать поездом.

Поезда я не любил. Когда привыкаешь к самолётам, поездки уже кажутся какой-то архаикой. Последний раз я путешествовал по железной дороге лет семь назад, после свадьбы – мы ездили с женой навестить её родителей в Новосибирске, и я проклял всё на свете: соседи в купе менялись чуть ли не на каждой станции, и каждый из них добавлял лопату дёгтя в наше «медовое» путешествие. Храпящие, пахнущие, орущие, ржущие (то есть громко смеющиеся), пьющие, разговорчивые, сурово молчаливые, чавкающие, сморкающиеся... Даже сейчас меня от этих воспоминаний передёргивает.

Я направлялся к вокзалу, прикрываясь от моросившего дождя и ветра зонтом, представляя себе всевозможные картины и лица своих возможных попутчиков. Увы, не в радужных тонах.

«Поезд отправляется в час ночи. Прибываем в 10 утра. Сейчас – сразу спать. В восемь – подъём, чай... Не замечу, как время пролетит», – успокаивал я себя, протягивая билет проводнице, кутавшейся от непогоды в бесформенный дождевик. Она совершенно искренне улыбалась. С некоторым кокетством проинструктировала, что в вагонах особые туалеты и всякую «дрянь» (это я уже от себя добавил) туда бросать не следует, и если у меня возникнут какие-то вопросы, она с удовольствием мне поможет в любое время. Это уже было приятно. Её приветливость добавила «мажора» в мою унылую картину железнодорожной поездки.

Следующей неожиданностью был сияющий чистотой вагон. Он просто блестел! Занавески, хромированные ручки, потолок, стены, даже пол. Я с недоверием смотрел на всю эту стерильность и осторожно вступил в коридор вагона.

До отправления оставалось не так много времени, но он был почти пуст: пара человек суежилась в коридоре у дверей своих купе. Видимо, вагону ещё предстоит пережить суету перед отправлением, иначе поезд – не поезд. А может, и нет: Казань–Новороссийск – в конце октября не самый бойкий маршрут.

II

Я открыл дверь своего купе: в матовом свете фонаря угадывалась такая же стерильная чистота, плюс аккуратно заправленные постели с торчащими подушками, выглаженными полотенцами. На столе в ожидании толкалось несколько бутылок с напитками, белоснежные чашки, салфетки и ещё какие-то мелочи.

На левой нижней полке, забравшись на неё с укутанными в одеяло ногами, сидел мой попутчик.

– С нашими железными дорогами что-то происходит... – вместо приветствия сказал я, бросая сумку на нижнюю полку. – Здравствуйте.

– Здравствуйте, – радостно кивнул он и протянул руку.

Я пожал её. Рука была мокрая и холодная. Да и сам пассажир имел вид потрепанный.

– Извините. Вымок. Погода сегодня так неожиданно испортилась... – виновато проговорил он, кутая пожатую руку в одеяло.

– Что ж тут неожиданного – осень, – отметил я, присаживаясь на свою полку.

– Да, действительно, – согласился он. – А я вот до нитки. И обувь... – кивнул он в сторону стоявших у полки ботинок.

Я посмотрел на его летние башмаки: у них был совсем унылый вид, вдобавок под ними успела образоваться небольшая лужица. Слева на вешалке висела его промокшая куртка, с которой продолжали стекать капли.

– Были в гостях? – поинтересовался я. – Или в гости?

– Был в гостях. Теперь в другие гости еду.

– А я вот по делам... – отчитался в свою очередь я, продолжая рассматривать своего попутчика.

Лет 35, не больше. Кроме общей помятости у него был изнурённый вид. Плюс запущенная небритость, вымокшие волосы, явно несвежая рубашка. «Пьёт, наверное, – подумал я, – просто не успел ещё опухнуть от запоев. Хотя глаза такие... ясные».

– Вы уж извините, что я в таком виде, – смущённо произнёс он, заметив, как я на него пялюсь, – последние дни были такими тяжёлыми и несуразными...

– Перестаньте, – ободряюще произнёс я, – к утру всё высохнет, а потом приведёте себя в порядок. Кстати, а вы куда едете?

– В Новороссийск. К дочери.

– У бабушки живёт?

– Нет, – усмехнулся он, – хочу на внучку посмотреть. Два года.

– Внучку? – поразился я. – Сколько же лет вашей дочери?

– 25.

– По вам не скажешь. Я вам дал бы не более 35.

– Почти... Хорошо сохранился... – с некоторой грустью ответил он.

– А здесь были в гостях у родственников?

– Нет. Не совсем. Думал, что у родственников...

– О, это знакомо! – по-своему истолковал я его ответ. – Родственники приглашают в гости чуть ли не с упрёками. А через пару дней уже смотрят, поскрипывая зубами: когда же ты наконец уедешь.

– У меня не так, – усмехнулся он, – даже совсем не так. Решил навестить несостоящуюся невесту...

– А она вышла замуж.

– Типа того, – грустно ответил он.

III

Нашу беседу прервала ввалившаяся в купе дородная девица. В одной руке она держала банку пива, а другой – затаскивала в купе под стать ей несоразмерный чемодан. Подёргав его за ручку, она смогла втиснуть свою ношу в проём купе, после чего с шумным «уф!» уселась рядом со мной, жадно отхлебнула из своей пивной банки.

– Ну что, мужчины, кто хочет с дамой местом поменяться? – игриво поинтересовалась она, водружая на край стола своё недопитое пиво.

В этот момент состав вздрогнул, и поставленная ею на стол ёмкость слетела аккурат на постель моего соседа и с шипением стала заливать простыню. Он испуганно поддёрнул одеяло и поджал ноги. Мадам с чемоданом без тени смущения пробормотала: «Пардон» – и, подхватив уже почти опустошённую банку, опять поставила её на стол.

Несчастный пассажир переводил по-детски обиженный взгляд то на нашу новую соседку, то на лужу на своей постели, то на эту наглую пивную банку, залившую его лежбище.

Я молча взял полотенце со своей полки и промокнул им образовавшееся пивное болото, потом ещё раз и ещё.

– Ну так как? – как ни в чём не бывало повторила свои претензии наша попутчица.

– Никак... – нагло пожал я плечами в ответ, продолжая вытирать лужу.

Понятно, что после произошедшего место нашего соседа она уже не рассматривала, и единственной жертвой этого замкнутого пространства с вожаденной ею нижней полкой оставался я.

– А вот вы женаты? – не унималась толстуха, обращаясь ко мне.

– Я без ума от своей жены и счастлив в браке, – ответил я невозмутимо.

– Значит, мужчин в нашем купе нет! – злобно констатировала она.

Мы молчали. Зачем было её разубеждать?

– Ну, спасибо, джентльмены! Не могли бы вы выйти. Мне нужно переодеться! – потребовала она.

Кое-как обойдя её чемоданище, я вышел из купе. Мой сосед бросил взгляд в сторону своих мокрых башмаков, запертых в пространстве между чемоданом, столом и полками, и тоже вышел в коридор вагона. В носках.

После того, как за нами с шумом захлопнулась дверь купе, я негромко произнёс.

– Тупая жирная гусыня!

– Зря вы так... – немного поморщившись, заметил мой сосед.

– Вы, что, сами не видите, как себя ведёт эта дура?

– Я о «гусыне». Гуси – очень умные, деликатные и воспитанные птицы.

– Ну, извините меня за гусей! – с раздражением ответил я на его пояснения.

– Извинения приняты, – спокойно ответил он, вглядываясь в темноту ночи за окном поезда.

Я с удивлением посмотрел на него.

Из соседнего купе вывалилась пара подвыпивших великовозрастных парней, скабрёзно хихикая.

– Что мужики, тоже выгнали? – поинтересовался один из них.

– Да, – раздражённо ответил я.

– А то давайте махнёмся. У нас тут совсем бабка старая, а вам, я смотрю, повезло: кровь с молоком...

– И с пивом... – пояснил я.

– Так это самое то! – воскликнул второй, хватаясь за дверную ручку нашего купе. – Пошли знакомиться!

– Давайте не сегодня, – остановил я их, – она уже спит, наверное. Да и нам пора.

– Ну как хотите, – посмеиваясь, они направились в конец вагона.

IV

Выждав минут двадцать, я осторожно приоткрыл дверь купе.

Наша попутчица так и оставила брошенным свой объёмный чемодан в проходе. Я перевёл взгляд на верхнюю полку над моим местом. На ней покоилось тело нашей хамоватой соседки, прикрытое простынёй. От движения поезда эта масса подрагивала, как желе на блюде, а полка тихонько поскрипывала. «Килограммов 150, не меньше, – подумал я, – надо было поменьше...»

С тревогой поглядывая на нависшую надо мной угрозу, я осторожно присел на своё место. Мой сосед забрался на свою полку, с опаской посматри-

вая на верхнюю полку с размещившейся на ней девицей и боясь невзначай потревожить её. Он снял висевшее на скобе у изголовья полотенце и протянул мне. Я отмахнулся.

– Не беспокойтесь. У меня есть своё. А это, – я кивнул в сторону полотенца с пивными разводами, – лучше проводнику отдать.

– Спасибо...

– Вы действительно так за гусей переживаете? – насмешливо спросил я, взбивая подушку.

– Действительно... – подтвердил он опять, укутывая свои ноги в одеяло.

– А можно узнать, почему?

– Потому что я сам был гусем...

– Реинкарнация... – насмешливо прокомментировал я, расправляя простыню с одеялом, чтобы наконец забраться в свою постель и заснуть, и с философским видом добавил: – Мы все кем-то были в прошлой жизни.

– Да... Конечно... – согласился мой попутчик. – Только мало кто помнит: кем, где и когда...

– А вы помните?

– Помню и очень хорошо.

– И как давно вы были гусем?

– Один год, шесть месяцев и одиннадцать дней назад.

– ?!

V

– Вы шутите? – с некоторой настороженностью уточнил я.

– Совсем нет, – ответил он, пристраивая подушку за своей спиной.

Складывалось впечатление, что он не собирался укладываться, а так и просидит с подобранными к груди ногами всю ночь.

Я отложил свои приготовления ко сну.

– И как долго вы были гусем?

– Семнадцать лет, два месяца, восемь дней.

Он был совершенно спокоен и эти цифры произносил не задумываясь, как человек, у которого спрашивают: «Который час?»

– Я, конечно, не специалист по перерождениям, – неуверенно произнёс я, – вы хотите сказать, что умерли, стали гусем, потом возродились в своём теле?

– Не совсем умер. Даже совсем не умер, я имею в виду своё человеческое тело. Это была спровоцированная реинкарнация.

– Спровоцированная?

– Да.

– И каким образом можно спровоцировать реинкарнацию, оставаясь в светлой памяти и здравом уме?

– Насчёт светлой памяти вы правы, а вот в здравом ли уме – сомневаюсь, – улыбнулся он.

Последние его слова меня немного отрезвили, и я слегка поёжился: «Сумасшедший...»

– Только не подумайте, что я чокнутый или какой-то беглый шизофреник. Я в своё время согласился участвовать в одном эксперименте.

– Военные? – полушёпотом спросил я, а про себя добавил: «Вроде не буйный...»

– Ну что вы! – опять усмехнулся он. – Просто эксперимент... – Он на мгновение запнулся, подбирая слова. – Не знаю, как назвать... Скорее всего, религиозно-медицинский.

- Религиозно-медицинский? Это что-то новое.
- Собственно, дело не в терминологии, она имеет мало смысла.
- И что же имеет смысл?
- Результат. Хотя нет, причины важнее...
- И каковы были причины такого эксперимента?

Не знаю, почему, но его ответы только подзадоривали меня. Новые вопросы рождались спонтанно, без оглядки на ту часть мозга, которая тихонько советовала вызвать милиционера или хотя бы проводницу.

- Причины... – задумчиво произнёс мой попутчик. – Их слишком много...
- Тем не менее...
- Произошло примерно следующее...

VI

– Меня зовут Марк, – начал он.
– Рафик, – торопливо представился я.
– Очень приятно, – кивнул он. – До 1995 года, Рафик, в моей жизни всё складывалось неплохо: семья, жена, дочка, работа не плохая и не хорошая. Я чувствовал себя совершенно уверенным и в настоящем, и в будущем. Потом как-то в одночасье всё не заладилось: завалил подряд два дела...

- А чем вы занимались?
- Я морочил людям голову.
- ?
- Я был адвокатом.
- М-м...

– Как-то однажды сорвал спину. Остеохондроз, – тут же пояснил он. – Лежал пластом несколько дней: уколы, мази, массаж... Кто-то из приятелей посоветовал походить на йогу: регулярные статичные нагрузки без перенапряжения. Понемногу стал возвращаться в форму. Примерно через месяц занятий в нашем центре йоги после нашей группы стали проводить занятия по индийскому танцу. И вот тогда, наверное, всё и случилось... Вы знаете, в индийском танце существует несколько стилей...

Я обескураженно пожал плечами и помотал головой.

– Один из них называется кучипуди. Это, на мой взгляд, самый яркий, самый завораживающий и динамичный танец. Вела эти занятия Алиса. Молодая женщина. Всегда собранная, улыбчивая. Она несколько лет провела в Индии и вела себя совершенно как индуска: складывала ладони с лёгким поклоном вместо приветствия, изящно жестикулировала во время разговора. А как она двигалась! Я просто сошёл с ума. Сразу. Без оглядки. После первого её танца. Что она вытворяла своими огромными глазами! Не говоря уже об этой пластике, вписанной в индийский ритм: изящество, грация, мгновенные перевоплощения!..

Когда он стал говорить о танце, лицо его оживилось, он стал жестикулировать, видимо, подражая движениям танцовщицы. Даже заёрзал на своей полке.

– ...Её тело взмывало в воздух с головокружительным прыжком, потом она пробегала и застывала как статуя. Только глаза и кончики пальцев продолжали танец. И я поймал несколько этих взглядов и... совсем потерял голову. Дни до каждого нового занятия превращались в месяцы, часы – в недели. Да, собственно, и занятия для меня потеряли всякий смысл. Я ждал только одного: окончания нашего сеанса йоги и появления моей танцовщицы. Сначала я делал вид, что задерживаюсь случайно, потом, заметив

мои неуклюжие попытки застрять на какое-то время в зале, она сама подошла ко мне и сказала: «Если вам интересно – можете оставаться, у нас нет никаких секретов». И так улыбнулась!.. – Он слегка прикусил нижнюю губу и качнул головой, на мгновение прервав свой рассказ. – Вот таким чудесным образом я получил возможность совершенно спокойно находиться рядом с прекрасной женщиной и в течение двух часов беззастенчиво пожирать её глазами. Она это чувствовала, но была очень доброжелательна. Без кокетства. Просто так. Она вообще очень добрая и обаятельная девушка. Правда, после занятий она быстро со всеми раскланивалась и убегала. Конечно, каждый раз я готовил какой-то текст, подбирая слова, с которыми подойду к ней, но... За какие-то мгновения до её ухода меня охватывала паника: как подойти? с чего начать? или догнать? а вдруг это не те слова? Я был растерян, как мальчишка.

– Видимо... – попытался предположить я, но он не слышал меня.

– И я кинулся изучать всё, что имеет отношение к Индии: книги, фильмы, заучивал стихи Рабиндраната Тагора, пытался вникнуть в смысл Махабхараты. Заставил себя полюбить кари, отказаться от мяса и рыбы. Через месяц я узнал об Индии всё, что положено знать дилетанту-индологу.

– Почему дилетанту?

– Потому что всё это было бессистемно. У меня в голове сварилась такая каша из традиций юга и севера, религиозности запада и востока! И тогда, как мне казалось, я был уже морально готов, я предложил Алисе проводить её. Представьте себе: она позволила. Я чувствовал себя как школьник на первом свидании, до озноба и испарины. Пока мы шли, я безостановочно говорил-говорил... Конечно, об Индии: как мне нравится эта страна и как я мечтаю попасть туда. В конце концов я запутался в своих познаниях, чем рассмешил её. Она безо всякого пафоса поправила меня, стала рассказывать о системе жестов, отличии верований и мировосприятия в разных концах этой страны. И много ещё чего. Я слушал только отчасти. Я внимал, впитывал её голос, взгляды, жесты. Я упивался счастьем, оттого что такая женщина рядом со мной. А когда мы прощались, она приобняла меня, и я коснулся щекой её непокрытой головы и чуть не потерял сознание.

В следующий раз я уже был смелее и предложил ей поход в кафе. Она, улыбнувшись, согласилась, но с условием, что мы пойдём в совершенно незнакомое мне место, с настоящей индийской кухней и гарантированным индийским духом. Конечно же, я согласился, и через пару дней она меня, скажем так, ввела в этот закрытый клуб фанатов Индии.

– Извините, а жена? Неужели она ничего не заметила?

– Конечно, заметила. Подозреваю, что почти сразу. Пыталась меня как-то отвлечь: то в гости к друзьям, то в кино или просто вместе как-то провести день. Однажды предложила забросить работу, определить дочь к родителям, а самим сорваться куда-нибудь подальше – на море, в Европу или в Африку. Я отнекивался, говорил что ещё недостаточно восстановил спину. Через какое-то время она пожаловалась на проблемы со спиной и пожелала походить со мной на йогу за компанию. Отчего я пришёл в бешенство, наорал на неё. Потом слёзы, обиды, демонстративный бойкот... В общем, мрак...

– А ваша танцовщица?

– Моя танцовщица! – многозначительно передразнил он. – Моя танцовщица относилась ко мне как к приятелю, влюблённому в Индию. После первого похода на эту индийскую тусовку я перезнакомился с двумя десятками молодых людей, которые были с головой увлечены Индией: кто-то культурой, кто-то йогой, кто-то танцами. Было несколько индусов, из студентов,

которые учились у нас, некоторые женились и остались. Собственно, они там и верховодили. Был там один молодой красавец, по-моему, студент то ли архитектурно-строительного, то ли какого-то инженерного вуза. Вокруг него всегда кучковалось пять-шесть девиц, которым он очень умело морочил голову своими рассказами об Индии. Они безо всякого стеснения пожирали его глазами, в том числе и Алиса. Я готов был придушить его.

Он прервался, чтобы поправить подушку за спиной, потом взял бутылку с водой из стоявших на столе и сделал несколько глотков.

– Честно говоря, чувствовал я себя не совсем комфортно в этой новой компании, мои знания об Индии оказались слишком поверхностными, и я, по большому счёту, старался молчать и больше слушать. Общая атмосфера, хотя и была дружелюбной, но в тоже время достаточно пафосной, собственно, как и в любом закрытом клубе со своим негласным уставом, требованиями. Правда, с одним человеком мне там удалось подружиться – с Рамой.

– С «рамой»? – переспросил я.

– Не от слова «рама», а от «Рамо» – это одно из имён Кришны, – пояснил он, – такой симпатяга, полухиппи, полурастафари. Он там был чайных дел мастером: экспериментировал с этим напитком, разными сортами чая, добавками к нему. Кстати, и психолог неплохой: в зависимости от настроения или впечатления от собеседника предлагал ему разные напитки, чем сразу располагал к себе. Что он туда добавлял, одному Кришне известно, но это впечатляло. К сожалению, недели через три после нашего знакомства его отлучили из этого ашрама.

– Кому-то неудачно чай заварил?

– Хуже. Он чуть не сжёг этот очаг индийской культуры.

– Сжёг?!

– Представьте себе. Он там был кем-то вроде администратора и сторожа одновременно. И как-то совсем поздно решил устроить со своими приятелями фестиваль индийского чая. Какой чай они там на самом деле пили, сказать сложно, но в результате этих возлияний было решено глубже погрузиться в индийскую культуру и добавить себе святости с помощью сожжения священной коровьей какашки.

– Какашки?.. – прыснул я.

– Да, – улыбнулся Марк, – корова у индусов – священное животное, ну и какашка соответственно. Как и в каком количестве они там всё это подожгли, неизвестно, но закончилось всё вызовом пожарных. К счастью, обошлось без жертв, да и не сгорело ничего. Смерд только стоял невероятный в помещении. Хотя, на мой взгляд, больше пахло анашой, чем коровьим навозом.

– И его выгнали...

– Да. На время. Он очень симпатичный парень и неконфликтный совсем. Через пару недель ему разрешили появляться в клубе, но в строго отведённое время.

– Мне кажется, мы отвлеклись...

– Нет. Я просто пытаюсь восстановить всю хронологию событий и возникших причин. Возможно, вам легче будет понять меня. В один из вечеров произошла, скажем так, трагедия в жизни Алисы. Этот индийский хлыщ, который очаровывал молоденьких девиц, объявил о своей женитьбе. Вы даже не представляете, что произошло с Алисой после этого известия! С одной стороны, я должен был бы радоваться, надеясь, что её внимание наконец-то переключится на меня. Но она страдала невероятно: ушла в себя, целую неделю не появлялась на занятиях, а когда появилась – у неё был такой

несчастный вид, что без слёз невозможно было смотреть. Она перестала замечать меня, из неё невозможно было вытянуть слово. Я был в отчаянии. Не зная, что делать, я позвонил Раме и спросил у него совета: как можно спасти человека. Он в своём духе порекомендовал чайку, который сам приготовил. Я примчался на занятие с термосом и каким-то образом уговорил Алису выпить. После этого она смогла хоть несколько слов сказать мне. Я был настолько рад, что тут же признался ей во всех своих чувствах: о том, какая она великолепная, как я боготворю её, и, стоит ей только пожелать, я навсегда останусь с ней, потому что... Ну, короче говоря, обрушил на неё всё то, что копилось во мне на протяжении последних полутора месяцев. Даже не заметил, как опустился перед ней на колени. Не знаю, ждала она этого или нет, но она посмотрела на меня так... А потом прикоснулась своими жаркими губами к моей щеке. Нет! Не прикоснулась, а по-настоящему поцеловала. У вас когда-нибудь кружилась голова от поцелуя в щёку?

Я мотнул головой.

– Вот. А я думал, что не смогу встать с колен. Даже глаза прикрыл. А когда этот поцелуй закончился, на другой щеке появился новый. Мне показалось: ещё немного – и я растворюсь в ней... Это был триумф. Так мне тогда показалось. – Марк прикрыл глаза, а его лицо засияло блаженством.

– А дальше? – осмелился спросить я спустя минуту.

– В клуб, конечно, мы больше не ходили. Но чтобы не потерять своей индийской увлечённости, зачастили в гости к Рама. Он был очень приветливым, и у него дома частенько появлялись другие приятели такого же хипповского вида, как и он. Алиса посматривала на них немного пренебрежительно, а мне они нравились.

В один из таких вечеров зашёл разговор об реинкарнации, так ни о чём, как это обычно бывает за столом, кто-то знает больше, кто-то – кое-что. Я в основном слушал, не очень понимая терминологию и философию всего этого. В какой-то момент Рама в ответ на фразу одного из гостей о божьем замысле реинкарнации, заметил что брахманы давно сумели сделать этот процесс управляемым и при желании могут пройти за свою жизнь эту цепочку перерождений не единожды, всё время возвращаясь в своё тело. Короче говоря, поговорили и забыли. Кроме Алисы. После того как гости разошлись, она надела на Раму, пытаясь узнать подробности. Он ей с удовольствием рассказал, что знал. Алиса с сожалением заметила, что она не сможет пережить нечто подобное, потому что, во-первых, она женщина, а во-вторых, эта тема закрыта для мирян и об этом можно рассуждать только как о слухах. На что Рама ответил, что это не так, среди брахманов есть сторонники Махаяны, которые более лояльны к смертным и допускают, что они тоже могут разорвать круг сансары, и именно такие люди чаще становятся Бодхисаттвами. Когда Алиса спросила у Рама, откуда он всё это знает, тот невинно признался: от одного приятеля-индуса. Приятель отучился у нас в мединституте и сейчас работает в Пензенской области в какой-то районной больнице. И сам он, по словам Рама, из рода брахманов, которые и проповедуют эту философию. И... – тут Марк сделал многозначительную паузу – ...он может помочь простому мирянину пройти в жизнь какой-то птицы или животного. Я насмешливо поинтересовался, какие гарантии даёт его факир. Рама спокойно ответил, что брахманы не дают гарантий, так как не тот уровень. А доказательством может служить он, Рама, который уже однажды испытал на себе это. «И кем ты был?» – осторожно спросила Алиса. «Кенгуру» – непринуждённо ответил он.

Я прыснул от смеха, всё ещё пытаясь сохранять серьёзное выражение лица.

– Вот-вот. Я так же отреагировал. Спросил у него, а почему не слоном или гремучей змеей. На что он ответил, что всегда мечтал пожить в Австралии, а это оказалось самым лёгким способом. Дальше я слушать не стал, ушёл в комнату полистать какие-то книги, которых у нашего чайного мастера было огромное количество. Они с Алисой ещё долго сидели на кухне, и уже глубокой ночью, когда мы возвращались домой, я решил узнать у неё, что ещё интересного рассказал наш друг о своих реинкарнациях. Алиса сдержанно ответила, что много чего интересного. Видимо, рассказ Рамы чересчур увлёк её: она молчала всю дорогу, пока я провожал её, а уже перед своим домом спросила: «А ты бы хотел пройти это перерождение?» На что я искренне ответил, что с ней я готов на что угодно, но зачем ей это нужно? На что она ответила: «Было бы неплохо исчезнуть лет на двадцать, а потом вернуться... Когда эта прыщавая пигалица превратится в сорокалетнюю старуху. Конечно, ему тоже будет около пятидесяти. Но зато мне будет всё те же двадцать пять. Очень хочу увидеть их перекошенные лица». Мне не очень понравились её слова, несмотря на нашу близость, я так пока и не сумел вытеснить из её памяти этого индуса-красавца. Но я сдержал себя.

VII

Он опять взял бутылку с водой и сделал несколько глотков.

– Я не придавал этому разговору никакого значения – слишком много за последнее время я услышал об Индии, и зачастую услышанное не воспринималось мною всерьёз. Даже несмотря на мой романтический порыв, я продолжал оставаться прагматиком – строил планы: где, когда и как мы проживём с Алисой, какие слова найти для жены, чтобы сообщить о нашем разрыве, какие алименты мне придётся платить. Но через два дня Алиса меня огорошила, сообщив, что Рама договорился со своим брахманом-доктором и мы завтра выезжаем к нему. Меня эта новость застала врасплох, но – выезжаем так выезжаем! Машины у меня не было, но я смог договориться с коллегой, и он мне одолжил транспорт. И вот мы приехали к этому индусу. Очень доброжелательный парень. Лет тридцати. Женился на нашей русской красавице, нарожал троих детей и имел совершенно довольный вид.

Встретили нас хорошо. И любопытство Алисы его ничуть не смутило. О себе он мало что рассказывал: говорил, что в брахманы его готовили с детства и в мединститут он поступил по желанию своих наставников, но влюбился в России и решил не возвращаться, потому что брахманы – это монашеская каста, а лишиться себя такого удовольствия, как семья, он не мог. Алиса без предисловий объявила, что хочет пройти реинкарнацию. Сроком на двадцать лет. Вместе со мной. – Марк глубоко вздохнул и приложил пальцы к вискам. – Алим – так звали этого брахмана – сказал, что готов помочь. Но нам требуется время на подготовку: надо очистить организм и напитать душу. Алиса торопливо ответила, что мы готовы. Я внутренне напрягся, но не стал ничего комментировать. Договорились, что через неделю мы вернёмся к нему и начнём подготовку.

Возвращались мы домой молча: за пять часов пути она не произнесла ни слова; была погружена в свои фантазии, видимо, рисуя реинкарнацию в самых радужных красках или представляя своё триумфальное возвращение, не знаю. А я молчал, оттого что мне было не по себе: с одной стороны, я был зол – Алиса всё решила за меня, с другой – я не знал, что мне соврать своим близким, друзьям или знакомым о предстоящем. Но сло-

жилося как-то всё само собой. Жена встретила меня нервным: «Хватит делать из меня дуру!»

– Странно... – произнёс я.

– Что странно?

– Ваша история. Она какая-то... не знаю... обычная, что ли? Такие ситуации возникают у многих: когда хочется сбежать, бросить всё...

– Возможно, – согласился он, – но идут до конца, как правило, единицы.

– Извините, я перебил.

– Короче говоря, я собрал вещи и ушёл из дому. Не потому, что я уже был внутренне готов к реинкарнации, а потому, что настало время сжечь мосты. Я подготовил все необходимые бумаги для развода таким образом, чтобы всё это произошло без проволочек, и оставил их у одного своего коллеги, бракоразводного адвоката, с условием, что он начнёт весь этот процесс через неделю.

И с обречённостью фаталиста сообщил Алисе о том, что я свободен. Представляете, она обрадовалась. Я переехал к ней. Она суетливо готовилась к этой непонятной процедуре перерождения: с кем-то прощалась, кому-то что-то дарила, избавлялась от всего, чем была заполнена её квартира, в конце концов и её продала. Вот тут-то я действительно испугался, поняв, что она пойдёт до конца. Не осмеливаясь отговаривать её или разубеждать, я тоже стал приводить свои дела в порядок. Дня за два до отъезда, когда уже было понятно, что с прошлой жизнью нас мало что связывает, я позвонил Раме и напросился в гости. Меня мучило огромное количество вопросов, скорее, продиктованных страхом перед неизбежным, чем любопытством, и, когда я завалил ими Раму, он философски заметил, что ни мои вопросы, ни его ответы не имеют никакого значения, пока я не переживу этот переход. Это всё равно что объяснять преимущества бензинового двигателя перед дизельным какому-нибудь эскимосу лет сто назад, который даже представления о колесе не имеет. Я начал уточнять: «Как же так! Неужели ты не хочешь поддержать меня? Скажи хоть какие-то слова». На что он глубокомысленно заметил: «Важна только одна вещь: смерти – нет. А твой страх – всего лишь эмоция. Не более». Вот и весь разговор.

VIII

– Конечно, мой страх никуда не делся. И противоречия тоже. Любой человек, поставленный перед фактом, что вот сейчас – не завтра или через месяц, а сейчас – у него появится шанс измениться совсем, разорвать связь со своей прошлой жизнью... И его мгновенно охватывают воспоминания, чувства, появляется совсем позабытая ответственность перед близкими. Он начинает цепляться за настоящее, ценить его. Знаете, чего я больше всего боялся? Не перерождения. Я боялся, что меня не станет совсем. Дело не в смерти. Я просто исчезну.

– Но ваш индус должен был прочитать какой-то курс лекций по реинкарнации...

– Понимаете... я не успел настолько глубоко постичь все премудрости индийской культуры. Честно говоря, они были для меня вторичны. Только Алиса. Она была для меня всем. И только мысли о ней помогли справиться со страхом. В те минуты, когда она была рядом, я с умилением разглядывал её и мечтал. Мечтал о новой жизни рядом с ней. Жизни без ошибок, глупостей и всего того, о чём стыдно вспоминать.

– И у вас начался процесс подготовки... к этому переходу...

– Да. Первое, что нам нужно было определить, когда мы с Алисой появились у нашего индийского брахмана, – это срок нашей будущей жизни. Алиса

пожелала двадцать лет. На немой вопрос индуса, адресованный мне, я только пожал плечами и кивнул. Потом – кем мы хотим стать в будущей жизни...

– Вот так запросто выбрать срок и будущую жизнь? – усомнился я.

– Не так просто. В зависимости от срока и того, кем можно стать в следующей реинкарнации, подбирается тип подготовки. Алиса пожелала стать пандой.

– Пандой? – усмехнулся я

– Да, пандой. Я, разумеется, тоже, но она была категорически против, объяснив это тем, что мы просто надоедим друг другу, если родимся вместе. Я был обескуражен. Индус спас меня, он спросил: что мне не хватало в этой жизни и что я хотел бы получить от будущей. Я ответил. Первое, что пришло в голову: я так и не увидел мир, нигде не был, и... я всегда хотел летать.

Марк на мгновение замолчал, он смотрел перед собой, словно вспоминая что-то. Возможно, что-то приятное. Потом продолжил свой рассказ:

– Тогда, может быть, гусем? – спросил меня наш специалист по перерождениям.

Я ухмыльнулся:

– Почему бы и нет?

– Извините, – уточнил я, – а что, у гусей и панд продолжительность жизни одинакова?

– В дикой природе – примерно да: лет двадцать, плюс-минус несколько лет.

– Могли бы переродиться в другого человека, – предположил я.

– Нет. Реинкарнация – это, прежде всего, искупление грехов, совершённых при жизни, а искупить их можно, только прожив жизнь другого существа: животного, птицы, насекомого. А потом начались собственно приготовления: очень странная диета, весь день мы проводили в чтении мантр, смысл которых ни мне, ни Алисе понятен не был. Алим предупредил, чтобы мы были усердны, потому что если мы не будем искренни в своём выборе, то этот переход, на который мы согласились, может не произойти. Ничего страшного не будет. Просто тот, кто будет максимально готов к реинкарнации, совершит переход, а тот, чьи желания надуманны, так и останется здесь.

Я старался. Через какое-то время я стал замечать, что мантры влияют на меня. Не могу объяснить, каким образом, но мир стал меняться. Постепенно мне стал открываться смысл тех слов, которые я ежедневно повторял. Не перевод, а смысл. Они были наполнены чем-то настолько понятным и труднообъяснимым... Я стал острее воспринимать всё вокруг, но при этом совершенно терял ощущение времени и пространства. Даже не так... – Он нервно провёл пальцами по переносице. – Время и пространство тоже менялись, но у меня было такое чувство, что это я их меняю. И мир уже вращается вокруг меня, но всё медленнее и медленнее. Пока не замер совсем. И сложилось такое впечатление, что только я ощущаю его и воспринимаю, только один я живой... А потом вдруг всё сжалось вокруг меня. Мгновенно. Стиснуло со всех сторон. Но у меня не было страха. Я продолжал жить. И чувствовать всё. И я понял, что это произошло...

IX

– Вы хотите сказать, что вылупились из яйца? – с нескрываемой иронией уточнил я.

– Конечно, – невозмутимо ответил он. – А как, по-вашему, появляются птицы? Родился я на Аляске, в семье красавцев белых гусей. И знаете, как-то сразу почувствовал себя ребёнком: беззащитным, немощным, каким-

то несуразным. Но моё сознание меня не покидало. Конечно, я был напуган вначале. Но потом, через очень короткое время, стал всё понимать...

– Стоп, – перебил я его, – вы переродились в гуся и сразу стали понимать их язык? Все эти «га-га-га»?..

– «Га-га-га», – насмешливо передразнил он, – «га-га-га» – это не язык, да и вообще, птицы и животные издают звуки, которые улавливает человеческий слух, для того, чтобы обратить на себя внимание или придать более сильный акцент своим мыслечувствам.

– Гуси общаются телепатически, – сделал я вывод с нескрываемым сарказмом.

– Конечно. А как же ещё? Вся природа общается с помощью мыслечувств, есть ещё вибрации, которые получает всё живое в этом мире. Даже человек, но он, к сожалению, не всегда их верно истолковывает.

– Хорошо. И о чём же вы говорили с вашими сородичами?

– Ну, начал я общаться не сразу и очень осторожно. Я боялся себя выдать. Но со временем понял, что мои мысли человека они не считывают и я как бы одновременно могу продолжать думать и воспринимать мир как Марк, а с другой стороны, я – птенец, который учится стать полноценным гусем. Я понял, что наше общение в стае – это как радио: имеет свой диапазон, который недоступен другим видам. Только в момент опасности или каких-то других эмоциональных всплесков эти диапазоны могут пересекаться...

– И долго вы учились?

– Несколько месяцев. Но мне казалось, что всё происходит очень быстро: первый шаг, первая самостоятельно схваченная травинка, наконец, первый полёт. Самостоятельность в стае приходит именно с первым полётом. После этого родители только корректируют твоё развитие. Через полгода, когда нужно было лететь в Мексику...

– В Мексику?

– Да, в Мексику на зимовку, я уже был окрепшей молодой птицей. Собственно, ничем не отличавшейся от других. Перелёт был утомительным, но в плане впечатлений забываемым. Честно говоря, в душе я всегда мечтал о путешествиях, а тут!.. Под тобой Аляска, Канада, вся Америка, Мексика... Каждый день этого перелёта, да и потом тоже, был настолько восхитителен, что это невозможно передать.

– Ну, а как проходит день среднестатистического гуся?

– Вы знаете, достаточно насыщенно!

– Неужели? – насмешливо спросил я. – А можно поподробнее?

– День начинается с рассвета...

Он словно не замечал моего сарказма. Такое впечатление, что он его только подбадривал в описании нюансов гусиного быта: гнёзда, которые они вили всем семейством; коллективные походы к прудам; эмоциональные, но без крайностей, стычки с серыми гусями, гнездившимися по соседству. Особого внимания заслуживали смотрины потенциальных невест, одна из которых могла бы стать его женой пару лет спустя. Но самое главное – это определение своего места и роли в стае, своеобразный профотбор на будущее. Просто какой-то бред!

Но слушать его было приятно: лёгкое изложение, рассказ не был перенасыщен деталями и ненужными подробностями. Я даже не столько слушал, сколько наблюдал за ним, пытался с помощью своих скромных навыков в физиогномике «поймать» его. Но это тоже не сработало – никаких суетливых движений, характеризующих очевидное враньё: передёргивание пальцами мочек ушей, подбородка или носа. Его взгляд был спокоен и сосредото-

точен на воспоминаниях. Иногда он посматривал на меня и непременно при этом улыбался, чем добавлял самоиронии своему рассказу. А это подкупало. В конце концов я оставил свои детективно-дедуктивные исследования и стал более внимательным к этому чудаковатому рассказчику.

– ...что касается места в стае – помог случай. Мы меняли гнездовые, около пруда, в зарослях, я заметил охотников, которые разложили на воде резиновых гусей, а сами затаились. Выдал дым – видимо, кто-то решил закурить. Тут я и забеспокоился: стал орать как безумный, указывая в сторону дыма. Вся стая резко изменила маршрут, а я, соответственно, заработал почёт и уважение.

– И кого-то оставили без ужина, – ухмыльнулся я.

Марк с укоризной посмотрел на меня.

– Простите... – осёкся я.

– Вы напрасно думаете, что гуси, да, собственно, и любой другой вид, – тупые, безмозглые создания. Если бы человек воспользовался хотя бы крупицей тех знаний, которые ему постоянно нашёптывает природа, он не совершал бы такое количество бездумных и опасных поступков, уничтожающих его в первую очередь.

– Возможно, – согласился я, – но я не могу согласиться с тем, что человек утратил связь с природой, всё-таки он находится наверху эволюционной пирамиды.

– Серьёзно? – усмехнулся Марк. – И кто же, простите, его водрузил на эту вершину? Да чего уж скромничать, человек не просто сидит верхом на этой пирамиде – он царь, почти Бог. Только гуси ничего об этом не знают. Поверьте мне: и животным, и птицам наплевать, на какой ступени эволюции их поместили, они прекрасно знают своё место, которое им определила природа.

Я не был готов к такому отпору и растерялся. Наверное, было необходимо что-то ответить, но подобрать какой-то аргумент в защиту всего человечества пока не получалось. А он продолжал...

– Вы знаете, мне стыдно перед гусями за человека. Собственно, не только перед гусями. Не думайте, что я идиот, выживший из ума. Я нормален, даже более, чем любой из людей. Всё, что окружает нас, имеет очень глубокий смысл. Всё, кроме человека, который издевается, смеётся, глумится над окружающим его миром!

– В таком случае, – осмелился заметить я, – природе ничего не стоит избавиться от человека. Как говорится, решить проблему раз и навсегда!

– Решить проблему? – удивился мой попутчик. – Вы считаете, убить своего ребёнка – это нормально? Человек – дитя природы, как и всё вокруг. Если вы считаете, что она испытает огромное удовлетворение от убийства своего отпрыска – то вы сильно ошибаетесь.

– В таком случае, как мать, она в состоянии его вразумить. Если уж человек утратил, как вы говорите, способность понимать её язык, природа могла бы подать ему какие-то знаки. Я не имею в виду кошмары в виде землетрясений, тайфунов, наводнений и прочих...

– То, что вы перечислили, никакие не знаки. Эти природные явления имеют совершенно иное происхождение и задачи: они призваны сбалансировать физику самой природы. Между прочим, любая стихия наносит минимальный ущерб для земной жизни: птицы улетают, животные уходят, даже насекомые – все. Все, кроме человека. А что касается знаков... Представьте себе, что вы стоите на краю света. Перед вами раскинулось бескрайнее лазурное море. Из воды поднимается солнце. Оно ещё не слепит своим све-

том, но вы уже чувствуете его тепло. И вы уже раскинули руки навстречу свежему бризу и не в силах сдержать радости от увиденной красоты и охвативших вас чувств, у вас подкашиваются ноги, а глаза заполняются слезами счастья...

– Ну, если рядом ещё какая-нибудь милая нимфа... – сострил я.

– Вы не поняли, – с некоторым огорчением продолжал Марк, – это не текст из книжки, который должен беречь вашу фантазию. Это реальность, мимо которой вы проходите каждый день. Это тот знак, который вам посылает природа. Вы понимаете меня?

– Ну, да, – смущённо подтвердил я.

– И представьте себе, что это состояние счастья не покидает вас долго. Не пейзаж, нет, а ощущение свободы, красоты и покоя.

– И как долго оно меня не покидает?

– Всю жизнь, – ответил Марк, пристально глядя на меня. – Как вы думаете, когда вы были по-настоящему счастливы?

– Не знаю, – растерялся я, – может быть, этот момент ещё не наступил...

Марк с горечью качнул головой, усмехнулся и прикрыл лицо руками.

Меня удивила его реакция. «Какой-то странный, непонятный у нас разговор, – подумал я, – совершенно непонятный. И чувствую я себя как-то... как школьник...»

Х

Я не заметил, сколько времени прошло с начала нашей беседы. Сонливость, которая появилась у меня в её первые минуты, улетучилась. Наоборот, появилось желание продолжать разговор. Не столько для того, чтобы найти истину в этой спонтанно возникшей, совершенно непонятной беседе, а для того, чтобы поставить точку в этих пространственных рассуждениях.

– Понятие счастья – очень относительно, – сказал я с некоторым апломбом.

Марк убрал руки от лица и задумчиво произнёс:

– Вы правы, понятия очень относительны. Многие вещи открываются человеку только в конце жизни, когда он уже слаб, немощен и ничего не может изменить. Всё происходящее в этом мире человек пытается объяснить через физические процессы, происходящие вокруг него. Пренебрегает интуицией, чутьём, эмоциями, заложенными в нём природой. А на то, что лежит вне его «истинного восприятия», пренебрежительно вешает, в лучшем случае, ярлык «метафизика» – и успокаивается. И чем дальше человек идёт в своём познании мира, тем больше он запутывается и тем меньше смысла в этом познании.

– Может быть, всё не так безнадежно. В конце концов, в каждом человеке есть, помимо физического, духовное начало.

– Религия? Религия не спасение, а попытка через архаику утвердить в сознании человека истины, которые существуют в природе изначально.

– Я так понимаю, вы говорите о заповедях Божиих. В таком случае эти же заповеди должны соблюдаться всем живым в этом мире.

– Природе незачем соблюдать эти заповеди, – спокойно произнёс Марк, – она их не нарушает.

– Простите, – растерялся я, – это какой-то парадокс: она их не соблюдает, потому что не нарушает?!

– Так и есть, – усмехнулся Марк, – не убий, не укради, не лжесвидетельствуй и всё остальное, а также многое другое крепко сидит в сознании всего

живого и является непререкаемой истиной. Нарушить их – это всё равно что перестать дышать. А вот человек, превознося эти заповеди, тут же нарушает их. Вот это действительно парадокс!

– Возможно, некоторые навыки утрачены и разрыв между человеком и природой значителен, но одним из самых важных элементов познания является опыт. – Я попытался уйти от малопонятной для меня религиозной темы. – Человек соткан из противоречий, у него есть собственное право на познание этого мира. Пусть он и познаёт его с ошибками, но как без этого? Мы же сами и стремимся их исправить.

– И совершаем новые, – перебил меня Марк. – Дело не в опыте или совершённых ошибках. Вы же не думаете, забивая гвоздь в стену, что, если я сейчас ударю по пальцу, будет больно. Хорошо, вы решили проверить и сами себя, находясь в полном уме и здравом рассудке, со всей силы шандарахнули по пальцу молотком. Потом скривились от боли. Но зачем? Вы всегда знали, что это больно. И при чём здесь ваш жизненный опыт? Человек знает, что нельзя убивать. Потому что больно и мучительно. Но зачем он это делает?!

– Если вы имеете в виду войны, то животные тоже враждуют между собой: завоёвывают территории, вытесняют другие виды.

– Виды! – подхватил он. – Но у них нет противоречий внутри вида! Все эти эволюционные процессы происходят из-за того, что меняются условия существования на планете, и природе необходимо сбалансировать саму себя в новых условиях. Виды не уничтожаются, они совершенствуются. Но даже не это главное: внутри вида сохраняются единство, взаимопомощь, понимание общего происхождения, если хотите. И на самом деле они существуют даже не сотни тысяч, а миллионы лет.

– А естественный отбор?

– Какой, к чертовой матери, естественный отбор?! – вспыхнул Марк. – Нас уже выбрали! Понимаете? Уже! Меня, вас, каждого, ещё несколько миллиардов. Естественный отбор – это исключительное изобретение человека: бедные-богатые, умные-глупые, чёрные-белые, мусульмане-христиане... Прикрываться естественным отбором неэтично. Человек делает массу глупостей, а за всё должна отвечать природа? Ну, если ты уж венец эволюции – научись сам отвечать за свои поступки! Хотя бы перед собой.

– Даже не знаю, что вам ответить... – пробормотал я.

– Простите меня, я слишком эмоционален, – извинился Марк, – очень сложно примирить себя с этим старым-новым миром после возвращения.

– Гусем было лучше? – насмешливо, но с доброй иронией спросил я.

– Лучше, – усмехнулся он, опять прикладываясь к бутылке с водой.

– Хотите чаю?

– Да. Можно.

– Может, перекусить что-нибудь?

– Было бы неплохо...

XI

Я вышел из купе. Проводница не спала, сидя в своей каморке, она лениво заполняла кроссворд.

– Чаю можно? Два.

– Конечно. – Она бодро встала и открыла шкафчик с вагонной посудой. – Может быть, ещё что-нибудь?

– Бутерброды какие-нибудь есть?

– Бутербродов нет. Есть крекеры, чипсы, печенье. Вот ещё сыр и паштет. – Она продемонстрировала металлическую банку с изображённым на ней горделиво стоявшим гусем.

– Вот это точно ни к чему, – усмехнулся я.

Захватив пару пачек с печеньем, сыр, чипсы, банку джема, я вернулся в купе. Следом за мной вошла наша вагонная нимфа с двумя чашками горячего чая. Поставила их на стол, прошептала: «Приятного аппетита» – и удалилась.

– Прощу, – пригласил я Марка к столу.

Он открыл пачку с чипсами и стал жадно их поглощать. Ел он их достаточно странно, поднося пакет прямо ко рту, вылавливая из него пальцами пластинки сушёного картофеля, стараясь не потерять ни крошки. Я неторопливо открыл пачку с печеньем, взял одно и откусил небольшой кусок. Он смущённо посмотрел на меня.

– Извините. Не успел перекусить перед поездом...

– Ничего, ничего, – отмахнулся я, открывая вакуумную упаковку с сыром.

– Вообще-то я стал есть намного меньше, – оправдывался он, подхватив кусок сыра, – и только растительную пищу, конечно, молочные продукты тоже...

– Не удивительно...

– Да, – согласился он, – обычно это батон хлеба, несколько яблок или другие фрукты.

– Проблемы с деньгами? – нескромно поинтересовался я.

– Нет, что вы, с деньгами проблем нет. Просто глупо выбрасывать их на еду.

– Вы остановились на своём пребывании в Мексике. И как дальше складывалась ваша гусиная жизнь?

– Гусиная жизнь... После Мексики опять была Аляска, потом опять Мексика. Даже не знаю, о каких подробностях вам рассказывать. Первые два года я учился. А потом... Потом надо было создавать семью. У меня уже было своё место в стае, весьма почётное. Я уже даже свыкся со своим положением. Но семья... Мне посватали одну симпатичную гусынку. И вот тут-то мне стало не по себе, – усмехнулся Марк, – это же на всю жизнь!

– На всю жизнь? – удивился я.

– Да, представьте себе! Браки у гусей заключаются навсегда. И именно это меня повергло в ужас. И однажды ночью я сбежал...

– То есть как?!

– Вот так, – продолжал он, не переставая жевать, – из-под венца. Летел непонятно куда без оглядки, лишь бы подальше. Наутро заметил стаю серых гусей и приземлился рядом. С ними и провёл всё лето.

– И вас не прогнали?

– Нет. Зачем? Из-за того, что у меня другой окрас? Я не был внутри стаи, а жил рядом, никому не мешал. Иногда оказывал услуги своим соседям.

– Какие?

– По специальности, – рассмеялся он, – в своей материнской стае я был типа разведчика, который летит впереди, ищет место для ночлега или выпаса.

– Понятно.

– С ними изменил географию: на зимовку летели через Гавайи и Японию в Китай. Так прошло ещё два года. Потом, во время зимовки, я примкнул к другой стае. С ними лето провёл на Чукотке.

– Потрясающе! – восхитился я. – А как же вы объяснили свой уход из одной стаи в другую? И вас везде принимали как своего?

– Не всегда. Иногда было некоторое недопонимание. А тот образ гуся-отшельника, который я на себя примерил, не является чем-то сверхнеобычным. Часто бывает, что, потеряв свою половину, гуси ведут одинокий и обособленный образ жизни.

– Вам, наверное, приходилось объясняться... – предположил я.

– Нет, – усмехнулся он, – в душу ко мне никто не лез. Правда, орнитологи, наверное, с ума сходили.

– Орнитологи?

– Да. К концу жизни у меня собралось с десятков совершенно разных колец на обеих лапах. Первый раз это произошло на Чукотке. Я сам подошёл к ним, безо всяких сетей, и спокойно протянул лапу. Получил кольцо и ушёл, даже не улетел, а просто ушёл. Для них это было шоком. Я слушал их разговоры между собой и только посмеивался.

– Вы понимали человеческий язык?

– Конечно. Человеческая речь воспринимается всем животным миром: это же не мыслечувства, а звуковые вибрации. Помимо человеческой речи природа наполнена массой других звуков. Конечно, птицы не понимают саму речь, но каждая звуковая вибрация, издаваемая человеком, полна эмоций. И именно по ним животные могут определить, насколько опасен или дружелюбен человек, находящийся рядом, и, собственно, чего он хочет. Кстати, уже потом я открыл в себе новую способность: воспринимал любой язык, на котором говорил человек, понимал его. Правда, связь была односторонняя.

– А дальше?

– Дальше. Дальше я продолжал наслаждаться жизнью отшельника. Не требуйте от меня подробностей и разъяснений: это не внесёт ясности в моё повествование, а скорее запутает вас и мало что объяснит. Я рассказываю лишь то, что понятно человеку, что хоть как-то вяжется с его мировосприятием. Многие вещи человек трактует не совсем верно.

– Напрасно вы так, – с некоторой обидой произнёс я, – у меня всё-таки высшее образование. Да и в школе я...

– Высшее? – усмехнулся Марк. – И это образование приблизило вас к пониманию окружающего мира? Или вооружило для его уничтожения?

– Вы явно передёргиваете, – хмуро ответил я.

– Простите, – опять извинился Марк, – всё, что я говорю, – это не пижонство. То восприятие мира, которое существует у человека, ошибочно. Связь с природой нарушена, и многие ценности или забыты, или низвергнуты как слабость. Опять же слова... Иногда их просто не хватает, а иногда их слишком много. Пытаясь объяснить очевидное, мы скорее запутаемся в изложении простой мысли. Намного красноречивей могут быть прикосновения или объятия. Разве не так?

– Возможно... – согласился я.

– Я сам столкнулся с этими противоречиями, и мне, притом что этот новый мир был понятен для меня, было очень сложно объяснить самому себе, что со мной происходит. Наверное, только в конце жизни, гусиной жизни, я со всей полнотой ощутил тот язык, на котором со мной говорил окружающий мир.

– Вы отвлеклись...

– Да, опять, – согласился он, подхватив ещё одну пластину сыра. – За свою жизнь я сменил семь стай, семь разных семейств. Облетел всю Европу, Азию, Северную Африку. В Америку возвращаться не стал, чтобы случайно не столкнуться со своими родственниками. Всё-таки моё бегство было каким-то... глупым, что ли, несуразным. Я просто тогда себя вёл как человек

не очень умный, не очень организованный и не очень ответственный – одним словом, эгоист.

– Но вам же ничто не мешало вернуться и зажечь как все гуси: создать семью, завести потомство. Может быть даже, совершить какой-то эволюционный прорыв в вашем гусином мире.

– Пересадить всех на велосипеды или запустить в космос? – улыбнулся Марк.

– Нет, – смутился я, – в социальном плане. Отношения...

– В социальном плане? – рассмеялся он. – Гуси – очень организованный вид. Я думаю, что мы не доросли до их уровня со своими двумя килограммами мозга. Существующая у них иерархия не оскорбляет никого: чётко распределены обязанности и порядок внутри стаи, и каждый приносит пользу. И это всё эффективно работает не одно тысячелетие – сотни тысяч лет!

– Прямо так сотни тысяч? – усомнился я.

– Представьте себе, – несколько раз кивнул Марк в подтверждение своих слов. – Человеку ещё расти и расти, чтобы создать хоть что-то близкое к той форме социального совершенства, которая заложена в природе.

– То есть животному миру удалось построить коммунизм? – насмешливо предположил я.

– Господи, ну какой коммунизм? Там не работают наши человеческие штампы! Все эти демократии, капитализмы, социализмы – абсурд. Они не примиряют людей внутри общества – они разделяют их.

– В этом я с вами согласен. Не спорю, но потребности человека в этом мире, в отличие от животных, определяются, в первую очередь, его сознанием. Сознание гуся и человека отличны друг от друга?

– Да, – согласился Марк.

– Вот, – наконец торжествуя верховенство в нашем диспуте, продолжал я, – наш на первый взгляд общий мир разделён природой, которая сама определила путь каждого вида и его роль и место в природе. Она же не может быть настолько безумна, чтобы не предположить результат жизнедеятельности человека.

– Нет, не безумна, – опять согласился Марк, – но тот отрыв, в который пустился человек, не приносит пользы ни ему, ни природе. Я не собираюсь агитировать вас вернуть всё человечество к каменным топорам и пещерам. Человек быстрее добьётся желаемого успеха, всего лишь прислушавшись к тому, что происходит вокруг него. Вот, по-вашему, сознание определяет бытие или, наоборот, бытие определяет сознание?

– Это зависит от философской доктрины, которой придерживается человек.

– Верно. Но вам не кажется, что, выбирая ту или иную сторону, вы ставите крест на том опыте, который, по вашему мнению, и движет человека по эволюционной спирали?

Я неуверенно пожал плечами.

– Бытие не может определять сознание, так же и наоборот. Это всё равно что спросить у ребенка: «Кого ты больше любишь – папу или маму?» Бытие даёт тему для сознания, а сознание расширяет рамки бытия.

– Но вы же сами дали эту провокационную формулу, – упрекнул его я.

– Да. Я привёл её только для того, чтобы раздвинуть рамки вашего мировосприятия. Вы должны шире смотреть на этот мир. Тем более что природа никогда не ставила человека перед этим выбором. Понимаете?

– Проще разобраться, что было в начале – курица или яйцо, – усмехнулся я.

– В начале было Слово... – пристально глядя на меня, произнёс Марк.

XII

Мы оба замолчали. Марк неторопливо прихлёбывал чай с печеньем, а я задумчиво ломал на мелкие кусочки лежавшую передо мной пластину сыра. Ломал и смотрел на эти крошки, складывая их рядышком. О чём я думал? Не знаю. Бытие, сознание, гуси, люди... Не знаю...

В конце концов я прервал наше молчание.

– Признаюсь: я не силен так, как вы, в вопросах философии. Честно говоря, я никогда всерьёз не задумывался об этом...

– Не отчаивайтесь, – примирительно произнёс мой собеседник, – до перерождения, в отличие от вас, я не сумел бы поддержать и десятой доли нашей беседы. Двадцать лет – серьёзный срок, чтобы разобраться и понять все процессы, которые окружают тебя.

– В себе – тоже? Я имею в виду: разобраться в себе – тоже?

– Не уверен, – задумчиво ответил он, – скорее нет, чем да, – и с улыбкой добавил: – Но я на правильном пути.

– Рад за вас. До нашего знакомства я был уверен, что тоже нахожусь на правильном пути... – горько усмехнулся я. – Смысл был какой-то во всём.

– Открою вам одну истину, – заговорщицки произнёс он, – вы не там ищите смысл!

– И где же он? – неуклюже оживился я.

– Вся история мира, весь смысл заключён в данном моменте. И то, что происходит сейчас, – самое важное в истории Вселенной.

– Простите... – смутился я. – В нашей с вами беседе?

– Да! Представьте себе! – полушёпотом воскликнул он.

– Ну нет... – замотал я головой.

– Да! – несколько раз кивнул в подтверждение Марк.

Я задумался: «Весь смысл бытия? Ирунда какая-то...»

– Марк, с вами – непросто...

– Я знаю, – признался он, – и сам переживаю из-за этого. Прожив такую неожиданную и перенасыщенную откровениями жизнь, очень тяжело остаться прежним. Вы знаете, вернувшись к человеческой жизни, я себя чувствую комфортно только в одиночестве: где-нибудь в поле, или на берегу реки, или на каком-нибудь холме, а если ещё ветер в лицо...

– А Алиса? – напомнил я.

– Алиса... Всё оказалось намного сложнее... На чём я остановился? – растерянно спросил он.

– Вы знаете, я уже потерял нить. По-моему, вы что-то говорили об иерархии в гусиной стае.

– Иерархия? Возможно. Скорее всего, я имел в виду социальное устройство природы в целом. Конечно, иерархия есть, но она предназначена не для управления массами, как это понимает человек, а для организации жизни в целом. Иерархия предполагает распределение обязанностей внутри стаи, гармонизирует её.

– И заняв однажды своё место в этом обществе, любой представитель вида до гроба будет выполнять свои обязанности безо всяких альтернатив?

– Нет, это совершенно не так. Конечно, в гусиной стае альтернатив собственного совершенства намного меньше, чем у человека, но и жизнь совершенно другая: в ней нет ничего лишнего и нет никого лишнего, роль каждого гармонично вписана в общую структуру общества.

– Мне кажется, что это объяснение примитивно.

– Это действительно вам кажется, – парировал Марк с усмешкой, – законы природы существовали всегда. И будут существовать всегда.

– Но вы же, будучи гусем, нарушили один из законов природы: ушли из стаи, оставили наш бранный мир без своего потомства. Может быть, как раз это нужно было природе.

– Мы уже говорили об этом, – напомнил Марк.

– Тем не менее, – не унимался я, но не опускался до конфронтации, – представьте себе, что вы лишили свою стаю не только наследников, но и разбили сердца несчастным гусыням, что тоже наверняка является непростительным поступком.

– Возможно, – усмехнулся он, – но, в первую очередь, вступать в какие-то брачные союзы мне не позволили мои чувства к Алисе (я считал, что это предательство), во-вторых, ответственность: я обрёл себя на одиночество потому, что эта жизнь была предоставлена мне во искупление грехов, и, наконец... – Он перестал улыбаться и на мгновение задумался. – ... Наконец мне было подарено перерождение, которое личность должна пережить в одиночестве, в стороне от всех. Чтобы осознать, кто же я на самом деле. Кроме того, нарушая сложившийся порядок вещей, своим поступком я не разрушил систему.

В нашем купе опять повисла молчаливая пауза. Она была какой-то пронзительной. Я смотрел на Марка. В нём не было ничего необычного, кроме взгляда: сосредоточенного, немного восторженного, насмешливого. Он был примерно таким же, как в тот момент, когда заговорщицки произнёс: «...это мгновение является самым важным в истории Вселенной». Может быть, это действительно та истина, которая является очень важным секретом для человека. Хотя какой тут секрет? Истина... В этом-то есть горькая правда: когда человек познаёт истину, если он не подготовлен к этому, он оценивает её именно так, как она того не заслуживает. Даже не так: он её просто игнорирует, потому что она оказывается слишком простой и банальной, даже слишком банальной для перенасыщенного ожиданием разума.

Я перевёл взгляд на еду и чай, разложенные на столе, потом на свою постель. Потом зачем-то стал рассматривать свои ладони, хотя свет от ночников был слабым, я прищурился и зачем-то потёр пальцем морщинистые складки левой руки. Сжал ладонь в кулак и опять расправил её. Я знаю: вот это – линия жизни, и здесь, когда подносишь мизинец к ладони, количество маленьких складок говорит о количестве детей. А вот это – линия ума. Или нет?

– Вы знаете, какое открытие я совершил, ещё будучи птенцом? – прервал мои хиромантические изыскания Марк, и тут же ответил: – Гуси, да и не только они, совершенно лишены высокомерия. Хотя вполне могли бы себе это позволить.

– Например, по отношению к кому? – спросил я.

– Хотя бы по отношению к человеку. Вы Библию читали?

– Вообще-то я мусульманин.

– Я не знаком с Кораном, к сожалению. В Библии – первая книга Бытия – Бог создал всё за шесть дней: в первый день он отделил Свет от Тьмы, а закончилось всё созданием человека, на шестой день.

– И?... – Я пока не улавливал связи.

– А вы знаете, что птиц он создал на пятый день?

– Возможно. Даже не думал об этом.

– На пятый день Бог создал птиц, рыб и земноводных. А шестой день начал с животных и закончил человеком.

– И что? Может быть, он сначала тренировался, – ухмыльнулся я.

– Не думаю. Из чего он создал птиц и по чьему образу и подобию – неизвестно. Но человека почему-то слепил из грязи.

– Это уж слишком! – с упреком заметил я. – Бог не мог создать человека из грязи. Он создавал нас по своему образу и подобию.

– Вот именно, что по образу и подобию. Не точную копию, а всего лишь по образу и подобию. Вот если бы человек помнил об этом...

– Извините, Марк, – перебил я его, – вы всё время говорите об одном и том же: о несоответствии человека главному первородному замыслу. Вы же сам человек и могли бы наконец полюбить своих соплеменников.

– Любовь здесь ни при чём. Не в ней дело. Я никак не могу успокоиться из-за того, что природа продолжает тянуть к нам свою руку, чтобы вытащить нас из этой безумной круговерти, а мы эту руку не то что отталкиваем – мы истово колотим по ней. Человек спасает человека из огня или бушующего потока не из-за любви. Нами движет милосердие.

– Ваши рассуждения о милосердном спасении слишком обтекаемы и не конкретны. Я могу согласиться со многими вашими взглядами. Более того, я согласен с тем, что нашу жизнь надо менять. Но тогда ответьте мне: в чём главная ошибка человека перед природой. Вы знаете?

– Мне кажется, что знаю, – задумчиво ответил он. – Ошибка человека в том, что он создаёт свой параллельный мир. Отличный от того, в котором он был создан.

– Хорошо. Вина человека в том, что он создал для себя другой мир, который идёт вразрез с «великим замыслом». Человечество признаёт это в своём лице. Тогда скажите мне, как исправить эту ошибку?

– Прежде всего, надо избавиться от высокомерия.

XIII

Я был обескуражен его ответом. Конечно, я сам провоцировал его своими дурацкими вопросами. Сам виноват. Я вёл себя так, как это часто бывает в заранее проигранном диспуте: уже поверженный оппонент продолжает сыпать вопросами, в надежде, что его собеседник где-то споткнётся или скажет что-то совсем несуразное. Но он не давал мне шанса на перелом в этом пусть даже лишённом смысла споре. Он не замечал сарказма, ухмылок, скептических шуточек. А может, всему виной моё высокомерие?

Чтобы уйти в сторону от этой череды откровений, я задал вопрос, произнеся который, укоризненно чертыхнулся, но было поздно:

– А каково это – погибнуть гусем?

– Больно, – с некоторым безразличием ответил Марк, – выстрел, стремительное падение и страх, что ты уже не управляешь своим телом. Тёмная бездна, надвигающаяся со всех сторон. Дыхание перехватывает, а лёгкие разрываются от желания сделать последний вдох. Потом – раз – тусклый свет в углу комнаты, я в каком-то коконе, который не даёт мне шевельнуться. Глаза безумно открыты, и из лёгких наконец вырывается мой полукрик-полустон.

– Вы очнулись в клинике у своего индуса...

– Да. Но назвать это клиникой можно было с большой натяжкой – даже через неделю я был уверен, что прогресс обошёл стороной его лечебницу. Правда, он стал главным врачом.

– И каково это... проснуться? Это ваше возвращение...

– Алим встретил меня с улыбкой. Сразу рекомендовал, чтобы я не пытался двигаться. Да я и не мог. Такое впечатление, что я был стянут какими-то

ремнями. Оказалось – нет. Просто для мышц и суставов требовалась реабилитация. Но он поднял меня за неделю.

– За неделю? – удивился я.

– Да. Какие-то мази, массаж. Иногда он читал какие-то молитвы. Честно говоря, я мало что помню. Я слишком был переполнен чувствами, ощущениями и не отпускаящим меня страхом пережитого. Понимаете, только что прожитая в течение более чем семнадцать лет жизнь превратилась в воспоминание... – Он прикрыл глаза и помассировал веки своими длинными пальцами. – Самым сложным в этот период реабилитации была борьба сознания с вернувшейся действительностью. Мне продолжали сниться гусиные сны, а когда я просыпался – не хотел открывать глаза и заставлял себя заснуть. Но со временем, как это говорится, всё встало на свои места: сны постепенно уходили, после пробуждения глаза приходилось открывать и вставать с постели.

– Тем не менее, вот этот переход от смерти к жизни – каким он был? Я понимаю, что всё уложилось в какие-то мгновения, но вы так сухо об этом рассказали: выстрел–падение–чёрная бездна–свет в углу комнаты...

– Хотите знать, постиг ли я тайну смерти? – усмехнулся Марк. – Нет. Не постиг. Не потому, что всё было мгновенно или я был невнимателен к этому событию. Просто я не умер. Я вам говорил уже, что мой приятель Рама, когда я пытался забросать его вопросами об реинкарнации, открыл мне истину: «Смерти нет» – чем сильно обескуражил меня. Теперь и я знаю, что смерти нет.

– Смерти нет, – повторил я задумчиво, – тогда что есть?

– Жизнь! – восторженно прошептал Марк, раскинув руки. – Бесконечная! Перерождаясь, сознание просто адаптируется к новым условиям. Больше ничего.

– Но почему же тогда никто ничего не помнит о своих прошлых перерождениях? – возмущился я.

– Вы хотите прожить свою жизнь с эмоциональным грузом всех своих перерождений? Постоянно исправляя свои ошибки? Вы это серьёзно? Прожив десятки, сотни жизней, вы накопили опыт, который ваше сознание переработало и оставило вам в виде рефлексов, навыков, чувств. Природа проявила в очередной раз своё милосердие, избавив вас от памяти, наполненной переживаниями, ошибками, сожалениями. Она не уничтожила вас, понимаете? Она дала вам ещё один шанс. И поверьте, даст ещё.

«Он прав, – неохотно согласился я, потирая пальцами лоб, – он прав. Опять. Как у него всё просто. И природа права. Ну зачем мне, в моей будущей жизни (если, конечно, она будет) нужны воспоминания о том, как мы мальчишками запинали кошку в подъезде и как Вера Семёновна со второго этажа подобрала её и выходила. И как я, чтобы задобрить несчастное животное, уже спустя несколько месяцев, протягивал ей еду, а она брезгливо убежала от меня. Или как мы в классе насмеялись над одним парнем, который до сих пор не подаёт мне руки. Или как, будучи студентами, в стройотряде украли несколько мешков картошки, а деньги за эту выходку вычли из зарплаты бригадира. Да мало ли таких шалостей, о которых вспомнить и стыдно, и тошно? Воспоминания о них, кстати, всплывают в памяти чаще, чем те события, о которых хотелось бы помнить всегда, которые особенно меня радовали. А если, допустим, что в прошлых жизнях я опускался до таких же глупостей? Да что там стесняться – подлостей! И я должен был бы все их помнить, раскаиваться в них каждую свою жизнь? От всего этого на себя только руки остаётся наложить, не успев прожить толком новой жизни.

Милосердие природы...

XIV

- Я озадачил вас? – спросил Марк.
- Вы озадачиваете меня всё время, – отшутился я и положил в рот один из кусочков сыра, наломанных мною и сложенных горкой на краю салфетки.
- Да, уж, – улыбнулся он, – вы знаете, сохранить опыт своей предыдущей жизни и продолжать жить – совсем не просто...
- Понимаю... Но вам же как-то удалось вернуться к нормальной – вы уж извините за определение – к нормальной жизни.
- Непросто. Я провёл в клинике у Алима два месяца, прежде чем вернулся в реальный мир. Наш с вами параллельный мир, – саркастически добавил он. – Самым непростым оказалось воспринимать то, что говорят.
- Вы говорили, что, будучи гусем, вы стали чуть ли не полиглотом...
- Да. Я продолжаю понимать многие языки, а на освоение любого из них у меня уйдёт не более двух недель. Но я имел в виду другое: к тебе, человеку, обращаются, задают вопросы, и ты должен соответственно реагировать – и вот с этим как раз возникли проблемы. Честно говоря, я не особенно рвался покинуть клинику, я просил Алима оставить меня до пробуждения Алисы, но он был категоричен: нужно, чтобы хоть кто-нибудь из нас вернулся в реальную жизнь, потому что вдвоём это будет сделать крайне тяжело.
- И какова была программа вашей адаптации?
- В основном ходил по городу, ездил на транспорте. Много. Просто сидел в кафе или в сквере и прислушивался к речи. Наблюдал. Возвращение оказалось сродни рождению: ребёнку нужно два-три года с момента рождения, чтобы понять, как устроен и чего ждёт от него окружающий мир. У гусиных птенцов это займёт три-четыре месяца. Я потратил месяц на то, чтобы примирить себя с новой реальностью.
- Извините за глупый вопрос: а документы, деньги? Без этого никуда...
- С документами всё было несложно: Алим, видимо, прекрасно осознавал это, поэтому были подготовлены медицинские справки о том, что я, такой-то-такой-то, находился в коме, а теперь жив-здоров. Так что с документами проблем не было. А деньги... – тут он ухмыльнулся, – я позаботился об этом заранее, всё-таки я уходил в своё путешествие по незнакомой мне жизни адвокатом, а они известные пройдохи.
- А поточнее...
- Золото. Я купил украшения, оставил на хранение, а после возвращения продал.
- Понятно. А где вы жили?
- Сначала в гостинице пару недель, потом снял комнату. Именно комнату, потому что мне важно было, чтобы кто-то был рядом.
- Много нового для себя открыли?
- Много. С одной стороны, мне казалось, что мир изменился незначительно. Но с другой стороны, каждый день преподносил какие-то сюрпризы.
- Например?
- Пару раз я попадал в милицию. Одним не понравился мой внешний вид – слишком неряшливый, – признался он. – Я действительно как-то не очень был внимателен к себе: с этим бритвём, стрижкой, одеждой... А второй раз – по собственной глупости: подрался.
- Вы?! Подрались?!
- Правильнее будет сказать – меня побили, но я сам виноват: сделал молодым людям замечание, когда они очень громко матерились, за это схлопотал. Прохожие вызвали милицию, молодёжь разбежалась, а меня как жертву – зачинщика – отвезли в отделение. Часа через три отпустили.

– Ну, с милицией ладно, а всё остальное? Технологии, рывок прогресса...
– На меня это мало произвело впечатление. Я не злоупотребляю и сейчас всеми этими технологическими штуковинами. Первое, что бросилось в глаза после возвращения, – это то, что люди стали намного меньше общаться, толпы уткнувшихся в телефоны, компьютеры, гаджеты. Я часто замечал, как молодые, взявшись за руки или приобняв друг друга, погружены в совершенно другую реальность, каждый в свою собственную: каждый держит в руке свой телефон или планшет. Зачем они вообще держат друг друга за руки? Чтобы не потеряться? Какой смысл в этом? Вот вы мне можете ответить?

– Таков этот параллельный мир, о котором вы говорили... – вывернулся я.

– Да какой это мир! – возмутился Марк. – Это уже какой-то абсурд. Бессмыслица.

– Вы ворчите совсем по-стариковски.

– Да, видимо, – горько усмехнулся он.

– А со своими близкими или друзьями из прошлой жизни вы виделись?

Марк глубоко вздохнул.

– Почти...

XV

– Искушение встретиться с кем-то из прошлой жизни появилось не сразу. Где-то полгода назад. И я понимал, что моё появление потребует объяснений: где? почему? зачем? Хуже всего, – усмехнулся он, – если они, руководствуясь собственным милосердием, упекут меня в какой-нибудь сумасшедший дом, приговаривая: «Марк, там очень хорошие доктора...» или «Это лучшая клиника в городе, и они тебе обязательно помогут». Но увидеть хотя бы издали этих людей я мог себе позволить. Начал с жены. К счастью, она вышла замуж и избежала одиночества. Я позвонил ей, сказал, что был в коме, а сейчас вот выздоровел. Она достаточно прохладно отнеслась к моему звонку. Я не стал ей предлагать встречаться. Спасибо, что дала телефон дочери.

– А дочь?

– Дочка обрадовалась. Сразу пригласила в гости. На всякий случай, спросила: «Папа, ты сидел?» Как будто я преступник какой-то. Понаблюдать издали за бывшими коллегами. И всё. Решил больше никогда не возвращаться в свой город.

– А Рама?

– Рама уехал на Восток. Говорили, что он одно время путешествовал по Индии, а потом осел то ли в Китае, то ли во Вьетнаме. Да, – вспомнил он, – тот индус, который разбил сердце Алисе, сначала вернулся в Индию, а потом опять в Россию. У него большая семья – я видел их издали. Та молоденькая девица, которая стала его женой, немножко располнела, но выглядело всё семейство вполне счастливым. Не уверен, что план мести Алисы возымел бы какой-то эффект.

– А Алиса? Что с ней?

– Она ещё не закончила свой путь. Алим в клинике лишь однажды позволил взглянуть на неё издали. Алиса была так же прекрасна и молодая, как и раньше. А это мимолётное свидание лишь разбредило мои старые чувства.

– Так, значит, ничто человеческое вам не чуждо? – ухмыльнулся я.

– Нет, не чуждо, – ничуть не обидевшись, ответил он.

XVI

– Чего я точно не растратил за свою семнадцатилетнюю предыдущую жизнь – так это чувства к Алисе. Именно они, если хотите, питали меня всё это время. А когда увидел её после возвращения, всё во мне просто запылало: ещё чуть-чуть, ещё немного – и мы наконец-то будем вместе, навсегда. Мы пережили вместе то, что мало кому удалось пережить из живущих людей, и это сплотит нас и откроет новые смыслы жизни. Спустя пару месяцев после возвращения я задался целью найти её.

– Найти панду?

– Да. Найти Алису. Мне захотелось быть рядом с ней в те минуты, когда она закончит свой путь забавного енота.

– Енота? Не медведя?

– Нет. Панды скорее еноты, чем медведи. Я бы рассказал ей, как провёл эти последние семнадцать с небольшим лет и как жду её. Да мало ли о чём я мог рассказать. Главное было – её найти.

– И как – нашли?

– Да, – кивнул он, – на это, правда, ушло немало времени, но нашёл. Вы знаете, сколько панд родилось в мире в 1995 году? – И тут же ответил: – 236.

– Так мало?

– Да. Особенностью панд является то, что период, когда самка может забеременеть, очень короткий, не более двух недель, и появляются они на свет практически в одно время совсем крохотными и беспомощными. Они требуют к себе постоянного внимания почти до трёх лет. И растить панд не так просто из-за ограниченности их меню: они питаются не любимым бамбуком, а только тремя видами, который растёт на очень ограниченных территориях...

– Откуда такая осведомлённость?

– Я напросился волонтером в Сычуаньский центр по изучению панд и провёл там в общей сложности восемь месяцев. Искал её всеми доступными способами. Вариант, что она в дикой природе, отмёл сразу.

– Это почему?

– Не знаю. Я чувствовал, что она где-то среди людей: зоопарк, заповедник, но никак не леса Сычуаня. Мне сложно объяснить, почему, внутренний голос подсказывал, а может быть, это было какое-то чутьё, полученное за период жизни в дикой природе. Я провёл кропотливый анализ, и у меня осталось 28 вариантов.

– И вам пришлось познакомиться со всеми?

– К счастью, нет, – усмехнулся Марк, – конечно, география была обширная: от Сиднея до Чикаго. Но опять помог случай – небольшой абзац в отчёте наблюдений: «Панда, самка, рождённая в 1995 году... При звуках индийской музыки начинает ритмично двигаться». Конечно же, я бросился сразу к ней.

– И это была она?

– Представьте себе, да.

– И где?

– Вы будете смеяться: здесь, в Казанском зоопарке.

– У нас в Казани есть панды?!

– Да. И не одна.

XVII

– Она заметила меня на восьмой день моих хождений вокруг вольера. Иногда я выкрикивал: «Алиса!» – оборачивался кто угодно, только не она. Несколько раз подходили заботливые родители с вопросом: «У вас, что,

ребёнок потерялся?» Приходилось смущённо улыбаться, извиняться... Вы знаете, что панды близоруки?

Я пожал плечами и мотнул головой.

– ...Разглядеть меня в толпе ей было просто сложно. Хотя я заметил, что она что-то почувствовала: она всматривалась в зрителей, но не видела меня. А в тот день я пришёл с самого утра с небольшим плакатом, на котором написал: «Алиса!» и держал его на вытянутых руках. Когда её и ещё одного молодого самца запустили в вольер, они стали обходить его по периметру, вот тут-то она меня и увидела, она просто села от неожиданности. А я машу ей рукой и шепчу: «Алиса... Алиса...» Там, в зоопарке, между решёткой и их площадкой – ров глубиной метра два. Она сначала пошла ко мне, но свалилась в эту яму. Очень забавно свалилась, посетители от души потешались. Только я, как безумный, проорал: «Осторожно: яма!» Она долго выбиралась из рва, но всё закончилось благополучно. Потом опять села напротив меня и улыбнулась. Не верите?

– Вполне возможно, – предположил я.

– Улыбнулась. Мы смотрели друг на друга глаза в глаза, а я всё говорил, говорил про себя, пытался нащупать эту волну её мыслечувств. Но не получалось. Став человеком, я утратил эту возможность общения с живым миром без слов. Лишь когда пролетает гусиная стая, я могу разобрать кое-что в их гоготе, и то не всё. А тут надо было нащупать именно то колебание эфира, которое хоть на мгновение соединит нас, при этом разумом прекрасно понимал, что всё это бессмысленно... Так, глядя друг на друга, мы просидели полдня, а потом их снова загнали в закрытое помещение. Следующий день их вообще не выпускали, потом было воскресенье. Представляете моё состояние после этого свидания? Я себе места не находил. Потом отважился пойти в дирекцию и предложить свои услуги как специалист по пандам. Обложил документами, сертификатами, благо я их приготовил заранее. Они отправили запросы в Сычуань и в Берлин – я и в тамошнем зоопарке успел поработать немного. Потом какое-то время ушло на перевод этих бумаг, штатные биологи устроили мне допросы с пристрастием, затем медкомиссия, ещё какие-то глупости, в конце концов я попал в святая святых. Со служителями в их вольере я нашёл общий язык быстро. Это несложно, если соблюдаешь весь ритуал и достаточно профессионально владеешь темой. Но для того, чтобы пообщаться с Алисой, мне требовалось остаться с ней наедине, в противном случае меня посчитали бы сумасшедшим. Вы же понимаете?

Я одобрительно закивал.

– Изучая её биографию, я узнал, что это второй её зоопарк. За свою жизнь она родила троих маленьких панд...

– Троих?!

– Да. Троих. И, что самое невероятное, она была беременна.

– Беременна?!

– У меня была примерно та же реакция, что и у вас, – горько усмехнулся он, – последняя беременность была от того молодого десятилетнего прощелыги, который был с ней вместе в вольере. Во мне сразу все мои добродетели, выпестованные за мою долгую гусиную жизнь, были выжжены человеческой обидой и злобой. Можете себе представить, как я мог к нему относиться! Я просто его возненавидел: да как он смел посягнуть на мою Алису! Я готов был прибить его. На этой почве у меня подскочила температура, и я слёг на несколько дней. Да это было и к лучшему: за время болезни я привёл в порядок не только тело, но и голову: собственно, при чём здесь

панда, главное – Алиса осталась прежней. А это я прочитал в её глазах ещё во время нашего первого свидания.

Марк опять замолчал, уставившись в какую-то одному ему ведомую точку на противоположной стене. Он смотрел не мигая и не двигаясь, только пальцы левой руки, лежавшей на столе, немного подрагивали сами собой. Долго смотрел, пока я осторожно не спросил его.

– А дальше?

– Дальше? – Марк перевёл взгляд на стол, взял в руки чашку с остывшим чаем и немного отхлебнул из неё. – Дальше я ухаживал и за ней, и за её напарником, отцом их будущего младенца. Когда появлялась возможность, рассказывал о том, как я прожил эти годы без неё: и о своём рождении, и об уходе из стаи, о своих путешествиях и скитаниях, о мыслях, чувствах. О том, как я изменился и как теперь воспринимаю окружающий мир. О том, что смерти нет. О том, что жду её с нетерпением... И люблю её...

– И она всё это понимала?

– Уверен, что да. Когда мы знали наверняка, что нас никто не видит, она прислонялась ко мне, или клала голову на моё плечо, или поглаживала по спине или ноге, – он усмехнулся, – временами тыкалась носом в моё лицо и смешно щекотала своим шершавым языком.

– И сейчас... – продолжил я за него, чтобы не дать Марку в очередной раз забыться в своих воспоминаниях.

Глубоко вздохнув, Марк торопливо продолжил рассказ:

– Сейчас она молодая мама. Неделю назад она родила. Девочку. За два месяца до этого её перевели на карантин и доступ к ней значительно ограничили. А мне предложили вернуться на работу через три месяца.

– Но вы же специалист. Как они могли с вами так поступить?

– Там специалистов предостаточно.

– А может быть, она там захандрит? Или не дай Бог произойдёт что-то совсем... Ну, вы понимаете: вдруг она умрёт, а вас не будет рядом.

– Нет, она не умрёт, – Марк оперся локтем о стол и повернулся ко мне. – Знаете, сколько живут панды в неволе? Тридцать лет. А одна самка в Китае дожила вообще до пятидесяти. Это в диких лесах, где нет ухода, сбалансированного питания, ежедневной заботы, они едва доживают до двадцати. С Алисой всё в порядке, и она в прекрасной форме.

– Тогда, получается, вам придётся ждать ещё...

– Да. Сейчас мне тридцать пять. Через десять лет будет сорок пять, и так далее... Шансы, что Алиса останется со мной, будут таять с каждым годом. Я не знаю, во что я превращусь в этой человеческой оболочке через десять-пятнадцать-двадцать лет. Если вы думаете, что я сожалею о том, что мне пришлось пройти реинкарнацию, – то это не так. Просто я понял, что потерял Алису, как и многое другое в своих прошлых жизнях.

Эта фраза серьёзно озадачила меня. Не могу сказать, что харизма, которую создал вокруг своей персоны мой собеседник на протяжении последних часов, была разрушена, но в ней появилась серьёзная трещина. Совершенно неожиданная для меня. Уверен, что и моё лицо выражало недоумение, но Марк не замечал этого – он продолжал что-то рассматривать перед собой, покусывая верхнюю губу.

– Вы знаете, – продолжал она задумчиво, – после того, как я перестал служить в зоопарке, у меня было предостаточно времени для размышлений, в результате которых я пришёл к совершенно неожиданному для себя выводу: слушая историю моей гусиной жизни, она всеми этими похлопываниями, объятиями и прикосновениями жалела меня.

– Вот как?

– Да. Я думаю – да. Она, в отличие от меня, гораздо правильнее использовала свою реинкарнацию: не сопротивлялась природе, а слилась с ней. Стала матерью, посвятила свою жизнь сближению человека и живой природы. Конечно, зоопарк – это гадостное изобретение человека, но это один из немногих способов, когда люди способны окружить себя настоящим живым миром. Кто ещё способен так позабавить и взрослого, и ребёнка, как панда?! Хотя дело не в том, чью жизнь она выбрала. Уверен, что любая другая прожитая ею жизнь не превратилась бы в бессмысленное бегство, как моя.

XVIII

Я был совершенно обескуражен тем, как изменилось настроение моего собеседника. Открыв передо мной совсем непростые истины, он вдруг оказался совершенно приземлённым. Хотя я чувствовал, что он разрывается в поисках компромисса между своим растревоженным сознанием прошлой жизни и непростым настоящим. И не может его найти. Он как-то бросил в начале нашей беседы, что «находится на правильном пути». Возможно, что и так. Только хватит ли ему этой нынешней жизни для примирения с действительностью? Или он смиренно ждёт окончания нынешней реинкарнации, чтобы высшая сила наконец дала ему избавление от тоски и уныния, одарив в будущем очищенным сознанием?

– Может быть, вам книгу написать? – предположил я.

– Книгу написать не так просто, – ответил он, улыбнувшись, – если вы имеете в виду мою историю, то очень сложно избежать банальностей и нравоучений. Кроме того, я не уверен, что смогу удовлетворить любопытство читателя, который, закрыв её на последней странице, решит, что вполне мог бы обойтись и без неё. Это в лучшем случае. Хуже всего будет, если он пожалеет, что вообще взял её в руки.

– Зря вы так думаете. Конечно, я не могу оценить вашу историю как издатель, но то, что у неё будет свой читатель, – наверняка.

– Возможно. Подбирать нужные слова, а потом создавать из них что-то заслуживающее внимание не так легко... – Потом, улыбнувшись, добавил: – Кроме того, существует риск, что книга попадёт в руки к профессиональному психиатру, который моментально поставит диагноз и откроет охоту на меня.

– Не исключено, – усмехнулся я.

– Так что отложим мемуары до другой жизни...

– Другая жизнь может лишить вас этих воспоминаний, – в тон ему заметил я.

– Значит, это будет другая книга.

– Извините, – я осмелился на вопрос, который напрашивался и буквально свербил меня последние пару часов, – а почему вы решили рассказать мне эту свою историю? Не думаю, что у вас было слишком много слушателей...

– Вы правы. Я достаточно избирателен, как вы сказал, в слушателях. Обычно внутренний голос подсказывает, а иногда он даже требует, чтобы сидящий передо мной собеседник услышал меня.

– После того, как я зашёл в купе, вам внутренний голос подсказал, что я именно тот человек, который должен услышать историю вашей жизни?

– Нет. Не подсказал. Он потребовал.

– Вот как?! – Я нервно сглотнул от неожиданности и слегка осипшим голосом произнёс: – Интересно, почему?

– Я рассказал её вам потому, что это – вам очень нужно. И не просто нужно, а необходимо.

Каждое произнесённое им слово отзывалось во мне всё нарастающей тревогой, а после точки в последней фразе по спине пробежал противный холодок.

Марк смотрел мне прямо в глаза. Не мигая. Даже благодушная улыбка, которая продолжала оставаться на его лице, совершенно не убавила нарастающего у меня дискомфорта.

– Ну вы даёте!.. – наконец выдохнул я из себя ничего не значащие слова, после чего торопливо добавил первое, что пришло в голову: – Я в туалет.

Схватив висевшее на крючке полотенце, я суетливо нащупал ногами стоявшие у полки ботинки и, так и не надев их толком, выскочил из купе, запнувшись о стоявший в проходе чемодан.

XIX

Вагон спал. В пустом освещённом коридоре только занавески подрагивали в такт движению состава. За окном стояла непроглядная темень осенней ночи.

– Который час? – спросил я сам у себя вполголоса.

Телефон, на котором были часы, я оставил в купе. Конечно, я вернусь туда, но сейчас открыть дверь купе, чтобы посмотреть время, будет глупо. Будет совсем по-дурацки. Лучше умыться. Я постоял ещё несколько мгновений, потом глубоко вздохнул и направился в туалет.

Первое, что я сделал, – это посмотрел на себя в зеркало. Вид у меня был утомлённый – что не удивительно из-за сегодняшнего ночного бдения. Прикоснулся ко лбу – на пальцах осталась липкая испарина.

– Ну, и как это всё понимать? – спросил я у своего отражения.

– Чёрт знает что! Просто бред какой-то! – ответило оно мне. – А чего ты, собственно, так занервничал? «Вам это просто необходимо!» Да кто он такой?

Я несколько раз умыл лицо, с силой массируя лоб, щёки, глаза, нос. Потом отвернулся от зеркала и уставился в стену тесной кабинки.

В туалетной комнате было слишком шумно от перестука колёс, да и маловероятно, что кто-то мог подслушивать меня за дверью среди ночи, поэтому я позволил себе порассуждать вслух. Я рассуждал и прислушивался к своему голосу: не прозвучат ли предательски нотки волнения, испуга или нервного дребезжания, прежде чем я вернусь в купе.

– Начнём по порядку: он – сумасшедший? Скорее всего, нет: слишком убедителен его рассказ. Он произвёл на меня впечатление? Да, безусловно. Теперь, а зачем он мне это сказал: нужно и необходимо? Потому что, идиот, ты у него спросил: «Почему именно мне вы всё это рассказали?» Хорошо, а почему меня всего колбасит от его ответа? Потому что... потому что...

Я старался найти ответ, на меня опять накатил тот же прилив волнения, испытанный всего несколько минут назад в купе.

– ...Потому что для тебя это важно, – сознался я и опять повернулся к зеркалу.

Лицо было тем – и не тем, как обычно. Или я смотрел на себя совершенно другими глазами?

– Я стал другим? Ерунда! Конечно, я впечатлился, и почему история чужой жизни, пусть даже такой неправдоподобной, должна изменить меня? Необходимо... Пусть так. Лучше сейчас вернуться в купе и попытаться как-

то нейтрально завершить нашу беседу. Без шуточек и острот. Просто мягко поставить точку. А важно это для меня или нет, я уж решу как-нибудь потом. Один. А сейчас вернуться, пожелать «спокойной ночи» и спать.

XX

Я вышел из туалета, продолжал бормотать себе под нос что-то ободряющее. Коридор вагона уже не был пуст: навстречу мне двигалась наша милая проводница, на ходу поправляя складки на своей форменной одежде. Сошлись мы аккуратно у двери нашего купе.

– Не спится? – поинтересовалась она.

– Так же, как и вам.

– У меня работа такая. Надо будить вашу соседку. Через пять минут Ульяновск, – пояснила она.

Я распахнул перед ней дверь нашего купе, а сам остался в коридоре.

– Гражданочка... Просыпайтесь... Ульяновск. – Наша вагонная нимфа осторожно прикоснулась к подрагивающей под простыней горе.

Недовольно ворча, «гора» выглянула из-под простыни.

– М-м?

– Ульяновск. Просыпайтесь.

– Сейчас. Встаю, – пробурчала та в ответ.

Проводница развернулась и ушла, а я остался стоять в коридоре в ожидании выхода нашей хамоватой соседки.

Пару минут ничего не происходило, и я уже забеспокоился, что она заснула и придётся идти за проводницей, чтобы она опять разбудила её. Но идти не пришлось – ворох тела зашевелился, и наконец наша попутчица села. Недовольно глянув на меня, она стала приглаживать растрёпанные волосы.

– Всю ночь «бу-бу-бу, бу-бу-бу». То гуси, то зоопарк, то ещё какая-то хрень...

«Вот как! – усмехнулся я про себя. – Значит, вы, мадам, подслушивали. Нехорошо».

– Только засну: то чашками гремят, то пакетами шуршат. Нормальному человеку выспаться невозможно. А мне, между прочим, с утра на работу. Вам не стыдно?

Я нагло мотнул головой. А прятавшийся в тени полки Марк произнёс: «Извините».

– Извините... – попутчица кряхтя развернулась в узком пространстве и начала сползать с полки, опустив ноги сначала на стол, а потом на мою полку и, как специально, прямо на подушку. Проходя этот маршрут, она одной ногой наступила на наломанные мной кусочки сыра, раздавив их всмятку.

– Твою мать! – возмутилась наша Голиаф, соскребая со ступни сыр. – Со стола, мужчина, надо убирать! А если бы я в колготках была? А? Пришлось бы выбросить из-за вашего пластилина.

– Это был сыр, – пояснил я.

– Дерьмовый ваш сыр. То болтаете всю ночь, то едите какую-то дрянь. Вон кучу пакетов на столе навалили.

Я подумал, что лучше помолчать: быстрее выговорится и уйдёт. Марк осторожно взял несколько полупустых пакетов с чипсами и печеньем и положил на свою полку.

Наша мадам, сидя на моей полке, примяла-пригладила волосы, взяла со стола бутылку с водой и отхлебнула из неё добрую половину. Потом под наши с Марком изумлённые взгляды она плеснула воды себе на руку и с хлопанием умыла лицо. А потом!.. Стянула со своей полки простыню и кряхтя вытерлась. После чего встала, обула свои бесшнурковые полуботы и тоном, не принимающим возражений, обратилась ко мне:

– Помоги чемодан вынести!

Я резво выволок её чемоданище в коридор и встал рядом с ним.

Она вышла в коридор. Огляделась. И зашагала к выходу из вагона. Мне оставалось только хмыкнуть и покатить чемодан за ней. С её ношей было непросто управиться – разболтанные колёса норовили всё время свернуть вправо, из-за чего я через шаг утыкался в стенку вагона, выправлял свою ношу и продолжал катить её дальше. С горем пополам я докатил его до тамбура, где ждавшая меня уже бывшая попутчица подхватила свой багаж одной рукой и спустилась на перрон. Не попрощавшись ни с кем, не глянув в мою сторону, не говоря уже о простом «спасибо», она покатила в сторону вокзала. Странно, но чемодан послушно скользил рядом безо всяких попыток свернуть или как-то отвлечь свою хозяйку.

Я вернулся в купе. Марк успел навести порядок на столе в ставшем таким просторным купе.

– Вот вам, Марк, урок, – насмешливо объявил я, – мы сколь угодно долго можем рассуждать о природе бытия и смысле жизни, но наступает утро, вам вручают в руки чужой чемодан, заставляют выкатиться на улицу, и ни ваши желания, ни образование, ни тем более ваши возможности никого не интересуют. Добро пожаловать в реальный мир!

– Это как раз не реальный, а параллельный мир, – усмехнулся мне в ответ Марк.

XXI

Я подошёл к своей постели и стал расправлять её с явным намерением наконец-то лечь и заснуть. Пока я был этим занят, Марк забрал чашки с остатками чая и собранным мусором и вышел из купе. Вернулся он спустя несколько минут с новой порцией ароматного чая.

К этому моменту я уже разоблачился и улёгся.

– Чай не будете?

– Наверное, уже нет. Хотя...

Я присел на своей полке, не опуская ног, и подложил под спину подушку.

– Утомил я вас своими разговорами, – произнёс он, расположившись на своей полке.

– Не столько утомили, сколько озадачили, – признался я.

– Вы, главное, себя по частям не разбирайте...

– Что вы имеете в виду? – спросил я.

– Обычно после таких бесед человек начинает заниматься самокопанием. Это я по себе знаю. Что происходит вокруг? Как я должен себя изменить? Где я совершил ошибку? Всё это пустое. Надо просто довериться чувствам. Они не обманут. И мир сразу станет другим.

– Чувствам? Чувствам... А добро и зло – как быть с ними? Где граница?

– Вы напрасно на себя наговариваете. Вы же не безнадёжны. Уж эту границу вы сможете определить.

– Эту – могу, – пристыженно признался я, – а какие части вы имели в виду, на которые себя разбирать не стоит?

– Все, – спокойно ответил он, – человек – он ведь какой? Он цельный: и сознание, и тело, и душа, и мир вокруг него. Всё взаимосвязано, и всё целое. Это не механическая игрушка, разобрав которую, ребёнок не будет утруждать себя её сборкой. Для него важно заглянуть вовнутрь и попытаться понять, как она работает. Редко кому это удаётся. Почти никому. Знаете, почему?

– Почему?

– Потому что с годами и опытом приходят понимание и знания. А если без знаний и понимания попытаться разобрать себя на части, пусть даже в зрелом возрасте, – это смерть, обратно собирать будет некому. Так что примите всё это как данное, которое скорее облегчит вашу жизнь, чем усложнит её... Попытка разобраться отдельно со своей душой, отдельно с телом и отдельно с окружающим миром – бессмысленна. Но изменить себя и свою жизнь можно одним прикосновением.

– Легко сказать... – задумчиво произнёс я. – Изменить свою жизнь в одночасье мало кому удавалось. А уж обмануть свою карму, как вам... Даже не знаю...

– Наверное, обманул, – ответил он, – а может быть, в этом и есть моя карма.

Марк отставил чашку с недопитым чаем и совершенно неожиданно для меня предложил:

– Может быть, будем укладываться? А то вы совсем не выспитесь.

XXII

«Вот какой, к чёртовой матери, сон может быть? А?» – это первое, что пришло в мою голову после того, как мы погасили свет в купе.

Я лежал на спине с открытыми глазами. Смотрел в эту тёмную бездну. Заснуть? Смешно! Я перевернулся на левый бок и, уткнувшись лбом в стенку, закрыл глаза.

«Какое отношение ко мне имеет эта история, которая для меня так необходима? Может быть, со мной что-то должно произойти? Тогда что? Я должен пережить то же, что и Марк? Нет, навряд ли. Хотя... Можно, конечно, взять у него адресок этого гуру. А для чего? Чтобы прожить чужую жизнь, чтобы потом разбираться в своей? Ну, допустим. Конечно, я не готов к спячке в двадцать лет. Можно прожить жизнь кого-нибудь поскромнее, скажем, муравья. Кстати, сколько они живут – год, два, три? В какой-нибудь лесной колонии. На природе. Суета вокруг, как в городе: народу тьма, все куда-то бегут, на лицах (тут я улыбнулся) какая-то знакомая озабоченность. Что-то тащат в свой муравейник. Что-то очень важное и необходимое».

Я перевернулся на другой бок.

«И тут в этом сияющем царстве гармонии и благоденствия появляется Он. Второй после Бога. Ну, тот, который по образу и подобию. Нетрезвый. С горящей головнёй в руках. И мы всем скопом обступаем его, начинаем суесться, умолять его, взывать: «Зачем?!» А он не слышит. Ему хорошо, потому что он принял на грудь с друзьями. А головня в руке, потому что ему интересно посмотреть, как пылает муравейник с живыми тварями Божьими. А они просят его, кричат, что у них дети, целая культура, цивилизация. Здесь, у него под носом, молят о милосердии. И только я понимаю, что это конец, и бросаюсь в бой, пытаюсь прокусить эту толстую кожу, добраться до лица, чтобы проникнуть в его глаза, уши, рот. И за мной бросаются в бой

тысячи моих братьев. А он отмахивается своей горячей палкой, нещадно лупит ручищей себя по лицу, ногам, телу, уничтожая нас. Но мы не сдаёмся, нам нечего терять. И эта головня летит прямо в наш дом. Всё полыхает. И... И вот этот царь природы уничтожает целый мир...»

Я поёжился от своих фантазий, перевернулся и уткнулся носом в подушку. «Муравьи! Господи, о какой ерунде я думаю! Да что это было, чёрт возьми?! Какая-то фигня! Фигня самая настоящая. Что, я не знаю своего места в жизни? Знаю! Всё! Хватит! Хватит, а то это превратится в паранойю. Я сказал: хватит! Знать ничего не хочу!» Я неистово гнал свои фантазии, которые были настолько реальны, что мне на секунду показалось, что я почувствовал жар полыхающего леса, услышал душераздирающие крики муравьёв, всеобщий хаос и ужас от происходящего. И чем сильнее я пытался выгнать эти ужасные картины из своей головы, тем ярче и пронзительней они становились. «Ну вот, хватит! Ну, пожалуйста... Дай мне прийти в себя! – просил я непонятно кого. – У меня сейчас мозг разорвётся на части. Дай мне время, чтобы осмыслить всё и понять...»

После этих немых криков и мольбы немного отпустило: мысли перестали хаотично двигаться в голове. Я встал на четвереньки на своей полке и осторожно посмотрел в сторону постели, на которой, возможно, уже заснул Марк. Глаза уже привыкли к потёмкам, но разобрать что-то в купе было невозможно, только блёклый свет проступал из коридора вагона через узкие щели двери.

XXIII

Я опять вышел из купе. За окном уже начало светать: небо на востоке почти совсем побелело, вытеснив остатки ночи. Я прислонил лицо к окну и прикрыл лицо с боков ладонями, чтобы освещение вагона не мешало всматриваться в эту картину рассвета.

Я долго простоял, пока краешек солнца не выглянул из-за горизонта. Оно вставало медленно, а я неотрывно смотрел за его восхождением. Потихоньку оно целиком выплыло над горизонтом. Ещё не сияло нестерпимым светом, но я почему-то уже почувствовал его тепло. Никогда ещё рассвет не казался мне таким завораживающим. Никогда...

Мимо пронеслись деревья, какие-то дома, поля. Но всё это было мельком. Солнце бежало вместе с поездом. И мы смотрели друг на друга. Я – усталый и измотанный ночным бдением, а оно – свежее и бодрое, готовое разбудить всё вокруг, постепенно прибавляя свои мегаватты. Когда оно начало менять свой оранжевый окрас на пронзительную желтизну, я наконец «отлип» от окна. Постоял ещё минуту и вернулся в купе.

XXIV

Странно, но во мне появилась совершенно ненужная бодрость. Я немного приподнял плотную пластиковую штору, закрывавшую проём окна нашего купе. Сумеречный свет западной стороны мягко вошёл в наше купе.

Марк спал, свернувшись калачиком: голова на подушке, ладонь прикрывала правое ухо, а локоть – лицо. Ноги были едва прикрыты одеялом. Изогнутое тело занимало не более трети полки.

«Как он умудрился так сложиться?!»

Он спал в одежде. Брюки и толстовка уже заметно просохли, но были целиком покрыты неряшливыми складками.

Я взял свою сумку, достал из неё пару носков, рубашку, брюки и положил на его полку. «Брюки, пожалуй, будут коротковаты, – подумал я, – а может быть, и в пору. Человек всё-таки к дочери едет, а его одежда через

сутки точно не будет выглядеть прилично. А мне-то что? Какие-то несколько дней в Сызрани – ерунда. Ну, если совсем будет катастрофа – куплю что-нибудь. А что я ещё могу для него сделать?» Я достал кошелек, посмотрел содержимое и, вытащив из него пять тысяч, засунул купюру в задний карман приготовленных для него штанов. «Надеюсь, не потеряет».

После чего, не раздеваясь, я завалился на свою полку, закинув руки за голову. Прикрыл глаза и тут же заснул. Моментально.

XXV

Сон был. Я не запомнил его. Но он весь был наполнен светом и покоем. И всё было интересно вокруг. Может быть, если бы я проспал больше, я запомнил бы хоть какие-то детали. А может быть, и нет. Но было в нём что-то приятное. Что-то тёплое. А может, что-то необычное. Но спокойное. Я не устал от своего сна. Какое-то ощущение, как будто совсем хорошо. Хорошо просто так. Даже когда картинка начала встряхиваться, я прекрасно понял, что меня просто что-то будит. И спокойно открыл глаза. Безо всякого раздражения или возмущения. Просто в голове совершенно ясно прозвучала мысль: «Пора вставать».

XXVI

– Пора вставать. Ну что же вы? Уже пять минут стоим, – с укором теребила меня за локоть наша проводница.

– Да-да, я сейчас!

Я уселся на полке и небрежно потёр лицо, чтобы окончательно проснуться – через пару минут выйду.

Мой сосед тоже открыл глаза и выглянул из-за другой стороны разделявшего нас стола.

– Что, уже приехали? – спросил он.

– Да. Я – да.

Я сел на своей полке и стал обуваться. Моя одежда не была особо измята: джинсы – на то они и джинсы, а рубашка – ерунда, надена сверху куртку и, если что, переоденусь в гостинице – у меня ещё есть пара рубах и свитер в запасе.

– Вы не подумайте чего-нибудь, – неуклюже стал пояснять я, надевая куртку, – я вам кое-что оставил из одежды. Вещи не из магазина, но они свежие. Вы всё-таки к дочери едете. Купить будет некогда и негде, да и лишние расходы ни к чему. Не отказывайтесь, прошу вас!

– Хорошо, не буду, – улыбнулся он, – спасибо большое. Можно я вас провожу?

– Конечно.

Я вышел из купе и подождал, пока он натягивал свои полумокрые ботинки.

«Ничего, до Новороссийска высохнут, – подумал я. – А брюки, пожалуй, будут впору».

XXVII

Мы вместе вышли на перрон, щурясь от слепящего глаза солнца. Было тепло. По-осеннему тепло. И совсем безветренно.

– Хорошо сегодня, – произнёс я, оглядывая здание вокзала, спящих вокруг пассажиров, провожающих, начавшие желтеть деревья и гордящиеся своей зеленью небольшие кусты, растущие у платформы.

– Да, замечательно! – согласился Марк.

– После визита к дочери вернётесь в зоопарк?

- Не знаю, – ответил он, поёживаясь, – может быть... Хотя навряд ли...
– А чем займётесь?
– Не пропаду. Наверное... – Он пожал плечами и неловко улыбнулся.
– Может быть, податься орнитологом в какое-нибудь охотничье хозяйство? – предположил я.
– А вам не кажется, что это будет выглядеть как предательство?
– Да, возможно. – Я изобразил дурацкую улыбку, в душе чертыхаясь от неловкости за произнесённую глупость.
– Не переживайте. Со мной всё будет хорошо, – по-приятельски он слегка пожал мой локоть.
– Ну что ж... – начал я прощаться. – Не знаю... Спасибо... Не думал, что у меня будет такая поездка.
– Спасибо и вам! – Марк протянул мне руку.
Я не торопился пожать её. Хотелось добавить ещё какие-то слова, но я не мог найти нужных. Потом всё-таки встряхнул его руку.
– Знаете, я так и не смог толком заснуть. Вырубился уже после рассвета. После того, как встретил солнце. Ну, как вы говорили, – торопливо отчитался я.
– И как? – улыбнулся он.
– Вы знаете, хорошо! – И через паузу добавил: – Совсем хорошо.
Откуда-то сверху донёсся едва слышный птичий крик. Мы одновременно развернулись на этот звук, но, ослеплённые солнечным светом, торопливо прикрыли глаза руками. По совершенно ясному, безоблачному небу двигался ломаный клин птичьей стаи.
– Гуси? – спросил я.
– У-гу, – подтвердил Марк, пристально глядя в небо.
– Ваши знакомые? – произнёс я очередную глупость, о которой в очередной раз пожалел.
– Знакомые? Нет. Не думаю... – Он провожал взглядом пролетающую стаю, потом опять повторил: – Не думаю...
Глаза его слегка покраснели и стали наполняться влагой. Не зная, как исправить ту неловкость, в которой мы оба оказались, я торопливо опять протянул ему руку.
– Желаю вам счастливой встречи с внучкой...
Он мельком глянул на меня, неловко улыбнулся, но предательская слезинка уже начала свой бег по его щеке. Марк, совершенно смущённый накатившей на него слабостью, поднял ворот куртки обеими руками и, пряча лицо, неловко произнёс:
– Простите меня...
И, развернувшись, вбежал в тамбур вагона.
А я остался стоять на перроне с протянутой для прощания рукой.



**Валентина
СУМИНА**



Валентина Сумина в мастерской

ЗВЕЗДА ПО ИМЕНИ САРАТОВ

С тех пор прошло полвека. В 1965 году я, дипломированный скульптор, уехала из Саратова в новую жизнь. Но, вне всякого сомнения, моя память и память многих моих соучеников возвращалась к невзрачному зданию по адресу: Советская, 65.

Воскресали этюды – картины внутри-училищной жизни. Шли неоднозначные шестидесятые. Это и Гагарин на орбите, на удивление и зависть всему миру (Саратов есть в его биографии), и талоны на сахар, и унизительно-показательные заседания, где громили шагающих не в ногу творцов всех мастей, и ещё много чего...

Хочется пройти дорогами юности, дорогами обретения и становления, побывать в музеях, консерватории, отдохнуть взглядом на трепещущих водах Волги. Соломон, получивший от Бога «сердце мудрое и разумное», сказал: «Всему своё время». Значит, оно пришло.

-
- Валентина Иосифовна Сумина родилась в 1940 году. Окончила Воронежский архитектурно-строительный техникум, Саратовское художественное училище, отделение скульптуры, в 1965 году. Художник-график, керамист и живописец. Работает в станковой и книжной графике. Поэтесса. Автор статей о творчестве воронежских художников. Член Союза художников СССР с 1975 года. Участник зональных, региональных, республиканских, всесоюзных, всероссийских, международных персональных и групповых выставок. Работала в Мурманском театре кукол, в художественно-производственных мастерских Художественного фонда РСФСР. Руководила детской изостудией. Преподавала в Воронежской детской художественной школе Центрального района г. Воронежа, одна из её основателей. Иллюстратор книг для Центрально-Чернозёмного издательства (1967–1971 гг.). В настоящее время преподаватель отделения изобразительного искусства ДШИ № 11.



Билет в искусство № 57



Хорошо было бродить по городским окраинам и, где-то становившись, запечатлеть уходящее – то, что исчезнет завтра.
Бумага, карандаш. 1963 г.



Один из «портретов» советской деревни.
Летняя практика. Бумага, карандаш. 1963 г.

КОЛХОЗНИКИ

Стоит тёплая осенняя ночь. Вверху звёзды, внизу река Волга, а в трюме парохода – гвалт, смех и, конечно, песни. Молодые глотки выверчивают: «Папа рыжий, мама рыжий, рыжий я и сам...» Могучая сила земли, напитавшая молодые организмы, настойчиво и упорно искала выход в ёрничестве, шутовстве голоса и тела.

Трудно не усомниться в высокодуховности этого речитатива, да и музыкальность так себе. Хотя это поёт, может быть, университет или консерватория. Тесно от ярких индивидуальностей (ну просто сесть негде!), и мы, учащиеся СХУ, забились (или нас забили) в угол. А что же это такое?

Это студенты возвращаются из колхоза!

Но так всегда: впереди учёные, музыканты, и только потом – художники. Да и здание наше, как солдатское одеяло, без всяких украшений. Звали как-то в гости музыкантов – они ничем не заинтересовались. И я была очевидцем, как один из них, в развевающемся дорогом пальто, испуганно искал выход. Бежал. Театралы тоже побывали у нас. Однажды.

НЕ ПОНЯЛА

Музей имени Радищева окружён старыми высокими деревьями. Но грачам нет дела до шедевров искусства, у них свои шедевры – гнёзда, птенцы. В кронах деревьев идёт вдохновенная суета. Готовятся, сооружаются птичьи «люльки», выстреливаются целые грачины фразы и междометия. Все



Одно из старинных зданий.
Вспоминается: «...лица не общим
выраженьем». Бумага, карандаш.
1964 г.



Тет-а-тет. Тушь, перо. 1962 г.

пьяны: птицы, деревья, город и люди... Люди... Они улыбки, радостны, многословны, ходят дорогами сердца. Почему? В город вошла Весна. И всё дышащее подчинилось ей.

Мы сидим с Кирой Еремеевой на лавочке. В Саратове – весна, и годы наши – весна. Кира – моя единственная училищная подруга. К нам подсаживаются Алексей Иванович Бородин с собеседником (они вышли из музея). Бородин – заслуженный художник, друг заслуженного Михаила Ивановича Лихачёва, и я передаю приветы от одного другому – из Саратова в Воронеж, и наоборот. Они поинтересовались нашими радостями и печальми – весенняя лирика бродила в воздухе – и посетовали: есть бутылка хорошего вина – не с кем выпить... Мы ничего не ответили. После Еремеева мне разъяснила: мы упустили шанс продлить беседу за вином. «Ты что, не поняла?» – удивилась Кира Тимофеевна. Ну, не поняла...

ДЛЯ НАС ПОЁТ РОБЕРТИНО ЛОРЕТТИ

Девятый вал успеха итальянского чудо-мальчика докатился до Саратова. Заботливый директор Михаил Иванович Просянкин повелел – всем! всем! всем! – собраться в Большом зале для прослушивания записи. Конечно, и учащиеся, и преподаватели наслаждались безупречной лёгкостью, эмоциональностью, культурой певческого таланта ребёнка! И понимали всю сложность и недостижимость такого совершенства в своей профессии. Потом у Еремеевой появился магнитофон (сестра помогла – выезжала за границу по профессиональной необходимости) – и виртуозно запели сёстры Берри. Долго пели. И, вроде, в училище не было негодяев, но любители прекрасного были, да и гости заглядывали. Магнитофон вместе с сёстрами украли. Милиция серьёзно пыталась выяснить – кто? Не удалось.

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО

Наша жизнь была насыщенной, интересной, творческой, но малообеспеченной. Стипендия – 8, 10, 12 рублей. Не выручала и повышенная (я её получала). Хоть в магазине еда стоила копейки, но и этих денег было мало. Плати – за квартиру, проезд, опять же краски... а кино!..

Почувствовав себя ущемлёнными, мы сбились в инициативную группу и решили: пишем письмо в министерство с жалобой. Обсуждение текста проходило в мини-вестибюле – тут тебе и стол с письмами, и горячая вода для мытья кистей, и вахтёр Нина Сергеевна. Проходя мимо, Роман Михайлович Симонов (преподаватель) уловил протестный градус, поинте-

ресовался, что и как... Изложили. И он в корне отверг нашу мысль, сказав: «Не надо – училище разгонят». Письмо не отправили, и потому стипендию не прибавили.

СОВЕТЫ БРАТЬЕВ ТКАЧЁВЫХ

Музей имени Радищева был для нас притягательным местом. Спасибо Боголюбову, что в память о своём замечательном дедушке Александре Радищеве он построил это здание. Крамской был дружен с Боголюбовым, но выстроить музей в Воронеже не имел возможности. Жаль.

И вот в музей приезжают братья Ткачёвы, очевидно, соученики Просянкина. Молодые, быстрые, энергичные, они обходят музейные экспонаты, что-то комментируют, за ними тянется длинный хвост слушающих и внимающих. Толпа. Конечно, пришло всё училище. Запомнился их творческий постулат: в работе художника важнее всего мысль, идея, личная находка (работа и сердца, и ума). Этим-то художник и интересен. Но чтобы это выразить как можно точнее, вот для этого-то и надо учиться рисовать, писать, думать, знать колорит, мазок и штрих. Сначала – что, а потом – как.

Помню, как мы вглядывались в рисунки Колчина (был такой учащийся). Его гипсы – виртуозное владение тональными возможностями карандаша – завораживали. А он, окончив училище, приходил после работы и... рисовал, рисовал гипсы. И – больше ничего.

ОНА... ПРЫГНУЛА

Талант всегда многогранен. Композитор Александр Бородин (его «Половецкие пляски» сейчас наигрывают, напевают все кому не лень) был прежде всего химиком, причём мирового уровня. И в училище, отложив кисти, кто-то музицировал (мой сокурсник Саша Потанин), кто-то читал стихи, кто-то танцевал. На одном училищном празднике моя Кира Еремеева и Ваня Голубенко, сплетя руки, выходят на сцену в русских костюмах. Полилась музыка,



*У памятника Борцам революции.
Автор – Борис Королёв. Гранит. 1925 г.
Так получилось, что он, рабочий
с молотом, был моим собеседником,
свидетелем, утешителем, другом.
Тушь, перо. 1963 г.*



Большой снег. Тушь, перо. 1963 г.

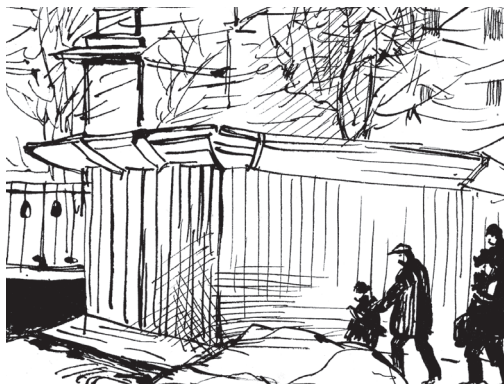
они двинулись, что-то не заладилось – сбились. Пошли на повтор – и снова осечка. Третьей попытки не было: Кира выпрыгнула из окна... В национальном костюме. С первого этажа.

КАК ВСЕ...

Герман Николаевич Кашин любил нашу группу. Любили его и мы (не догадываясь). Но часто дети бывают жестоки к своим родителям. (Оправдание, конечно, если изловчиться, можно найти всегда.) И если бы не это обстоятельство, то Герман Николаевич не был бы в конце жизни одиноким. А тогда ему – тридцать с небольшим, семьи не было, потому он тратил и себя, и свои деньги – дарил книги – на нас (неблагодарных). В работе был строг, в общении деликатен, фамильярности не допускал. Мог при случае посмеяться и над собой, и над другими. Зная эту черту, задумали поохотиться. Решили встретить его приход, лёжа на полу и за бутылкой вина. Ну, как пирующие римляне... Инициатива шла, по-моему, от Баграмяна. И вот входит преподаватель – ученики на полу... Минута замешательства – и Герман Николаевич укладывается на пол, за компанию. Как все. Дружный смех!

ХИТРОУМНАЯ ВЛЮБЛЁННАЯ

Относительно любви не могу утверждать, но она, Пергамент, была хитроумная. Худенькая, соразмерная (эпитет из «Тысячи и одной ночи»), она выделялась чувством собственного достоинства, неброской женственностью. Она читала стихи со сцены о трудной любви «как у всех». Воспитывалась в театральной семье (неродной). Когда я была уже на 5-м курсе, в училище появился новый преподаватель. Звали его Вадим. (Отчество и фамилия забылись.) Он с интересом, раскрепощённо рассматривал весь женский контингент (училищный). Пергамент «подвернула» ногу прямо у него под носом, конечно, идти она не могла... И Вадим, представитель рубленой мужской красоты, поднял её и понёс на руках! О, это короткое женское счастье!..



*Ага, тут что-то сооружают...
Пешеходы, будьте осторожны!
Тушь, перо. 1963 г.*

РУКОПАШНАЯ

Училище кормилось в очень приветливой, хорошей столовой. Напротив нашего здания стояло крупное учебное заведение, связанное с сельским хозяйством.

Горчица, хлеб, соль предоставлялись нам бесплатно и сколько хочешь. И даже гарниры по просьбе могли удвоить. Но неблагодарные художники (некоторые) могли ещё зарывать котлеты в гарнир. И кассир пробивал только видимое – гарнир.

И вот Кира, отобедав, спускается по ступенькам под руку с Виктором Гавриловым (будущим мужем). Зима. Кто-то из студентов института (случайно? намеренно?) попадает снежком в Киру. Она возвращается и влепляет пощёчину близстоящему сельхозстуденту.

- Ты уверена, что это он был? – спросила я.
- Это неважно! – ответила гордо Кира Тимофеевна.

ГРОЗНОЕ ПОСЛАНИЕ

Наступил 1965 год. Завершилось пятилетнее обучение. И так совпало, что мои жизненные ориентиры и ценности были поколеблены до самого основания.

Не каждой женщине выпадает «счастье» ощутить на себе, что такое мужская трусость. Мне выпало. Мои сокурсники едут и поступают в институт – я отправляюсь в Мурманск, в театр кукол, по распределению скульптором-бутафором. Еду в полярную ночь и почти в другой мир. Нет привычных друзей, Саратова. Томясь новизной и странностями заполярного города, пишу письма младшей соученице Гале Лисичкиной. Она жила с мамой и как-то неожиданно из подростка «вылепилась» в красотку – гибкую, подвижную, тревожно-ждушую.

Помню, идём с ней по улице Рахова, и она опечаленно говорит, что несколько дней её мучает один и тот же сон. Ей снится, как у неё на глазах умирает любимый мужчина. Какой мужчина? Мужчин у Лисичкиной тогда не было. Зачем и откуда пришло это грозное послание?

Прошло время, и я узнала, что Саратов был потрясён тройным убийством. Бывший муж, кстати, учащийся СХУ, застрелил любимого Гали, её и потом себя. И она успела пережить наяву, как умирает любимый мужчина...

Было время, когда мы с Галей пошли записываться в кружок художественного чтения. Его вёл профессиональный актёр. У Гали получилось лучше, чем у меня, и она блистала в училищном спектакле (играла партизанку-смертницу). Я пыталась петь. С нами занималась Роза Владимировна, преподаватель литературы. Мы группой разучивали «Горные вершины» Гёте.

ПРОСТИТЕ, ВАЛЕНТИНА ГРИГОРЬЕВНА

Стою на остановке. Проработав год в Театре кукол Мурманска, вернулась в Худфонд родного города. Нет, меня тут не ждали, снова трудоёмкая прописка, поиск жилья. И вдруг – родное саратовское лицо!

Я всегда любила книги, с деревенского детства – а оно в сугробах дальней дороги в школу села Квашино (три километра туда и три обратно). С миром культуры тогда связывали радио и книги. В училище я много времени проводила в библиотеке. Там были журналы «Мир искусства» со словами «Жизнь коротка – обширно искусство». Vita brevis, ars longa. Заведовала этим книжным богатством Валентина Григорьевна Ажбалова.

Милая, негромкая, доброжелательная и, что самое главное, любящая своё дело. И она вдруг стоит на моей остановке «Магазин «Морава». Оказалось, её муж сменил работу – перевели в другой город. Всю оставшуюся жизнь в Воронеже, мучаясь, она проработала в разных библиотеках не по своей специальности. В Воронежском художественном училище уже сидел свой человек.

Жили мы с ней рядом, дружили и общались.

Но что-то погасло в её жизни, подкралась диабет, семейные проблемы... Похоронив мужа, ушла из жизни и она. Как добрая память остались книги, подаренные ею. А может, Валентину Григорьевну никто не любил так, как было ей необходимо?



Чернышевский на семи ветрах. Может, наконец, он, понаблюдав за жизнью города (страны!), подскажет, «что делать» теперь, в 2018 году? Бумага, карандаш. 1964 г.

СТИХИ ЧЕРНЫШЕВСКОМУ

А что это за развесёлая толпа у памятника? Ах, они читают стихи свои и чужие по кругу! Весенняя ночь встряхивает полог, усеянный звёздами, над головой стихотворцев, а слова как драгоценные камни падают то на асфальт, то как отравленные стрелы вонзаются в сердце. Стихи слушают и старый парк (он рядом), и причудливый силуэт консерватории, и картины художников (мастерские тоже недалеко). И Чернышевский, внимая, стряхнул свою задумчивость. А внизу (если спуститься к набережной) во тьме течёт, бесшумно движется Волга. Я была слушательница, читали стихи поэты, но ощущение творчества, сотворчества перепадало и мне. Я тогда была во власти поэзии Басё. Сочиняла: «По Чапаева течёт вода, / от Советской до площади Фрунзе: / радоваться или печалиться / тёплым дождям в декабре...»

РОДНОЙ ДОМ

Альма-матер (буквально: кормящая мать) – Советская, 65.

И мы действительно – кормились. Ах, так ведь человек красит место! И такие люди были!

Конечно, тётя Маша. Числилась уборщицей, но сколько должностей (и необходимых, и неучтённых) соединяла она! Жила в закутке между учебными классами. Суровая и любящая, терпеливая. К ней многие бежали при проблемах с ЖКТ – сода и марганцовка были наготове, можно было и переждать неприятные моменты. А встречала всех, всю училищную ораву (с редкими вкраплениями гениев), вахтёр и свой человек – Нина. Всегда при форме, всегда с покрашенными губами (но в меру), словоохотливая, живущая нашими заботами. Дальше выстраивается череда преподавателей: Миловидов, Гуров, Данилов, Беланович, Конягин, Успенский, Лавриненко, Бадак-ва; и наши скульпторы Кашин, Комаров. Были и преподаватели общеобразовательных дисциплин. Похожий на Бетховена математик любил Шопена, особо – «Революционный этюд». Его праздничные звуки бодрили и возвышали и нас, и простецкие интерьеры училища.

Валентина Фёдоровна Симонова вела историю искусств. Михаил Иванович Просянкин – директор, поддерживал спокойную, доброжелательную атмосферу. Ну, уж если кого показательно и отчисляли, то это шло в русле генеральной линии – послушаться он не мог (а то могли и его «отчислить» вышестоящие товарищи). Наше знамя – реализм, и никаких заигрываний

с абстракциями и формализмом. Чешские художники пытались задружиться с нами, но нам даже не показали работы наших сверстников.

Приезжал Станислав Выходил. Он что-то пытался рассказать нам без переводчика, мы понимали далеко не всё, но бодро кивали с Кирой головой – держали марку (сидели в первых рядах).

ЦАПЛИН

Есть же у студентов завидное качество: просачиваться всюду и везде. Так и было. Цирк (мы там всей группой слушали ВИА «Орэра»), консерватория (были на концерте Наталии Гутман), театр (присутствовали на премьере «Даиси»), библиотеки, музейные выставки – всё было наше. Какими-то сложными путями мы задружились с Валерией Ражевой – лектором консерватории, и при её участии могли попасть на любой концерт. В кинотеатрах перед началом сеансов пели консерваторцы на расстоянии шага. Пели хорошо, прививая культуру слушания, знакомя с классикой, с многовековым и величественным миром сцены и театра. Приезжал Вольф Мессинг, на экранах шёл знаковый фильм «Голый остров».

Портрет С. В. Рахманинова в дереве изваял Дмитрий Цаплин – выпускник училища. Пришло время реставрации. Скульптор Цаплин это сделал, мы были в курсе события.

Его мастерская была рядом с Красной площадью. Естественно, в подвале. По совету моих сокурсников Роберта Харитонов и Виктора Ощепкова (они учились в «Строгановке») я побывала у Цаплина. Первым моим словом-приветствием-паролем было «Саратов». Он охотно поддержал беседу, затем я погрузилась в осмотр мастерской. В ней было тесно от скульптурных портретов, фигур, композиций. Через год Дмитрий Цаплин (1967) ушёл из жизни, по-моему, она не была сытой и лёгкой. Так всегда (чаще всего) в нашем небрежливом отечестве. Что беречь таланты – их много! Вот принцип чиновников от искусства. Как поменять это? Как сказал саратовец Чернышевский: «Что делать?»

НАГРАДЫ

Саратов не только «кусал», но и одаривал. У меня было пристрастие делать уличные зарисовки. Благодаря им я стала лауреатом Выставки самодеятельных художников, которая проходила в 1960–1961 гг. в Москве. Одна из московских газет прислала мне приглашение для сотрудничества. Мне его не отдали. Об этом я узнала случайно через 10 лет.

Так вот, мои зарисовки печатались в областной (главной газете) Саратова, а мой очерк о девушке рабочей профессии был напечатан в «Заре молодёжи» и награждён Первой премией (денежной). В «Заре молодёжи» работали Вася Шабанов, Иван Корнилов, Юрий Песиков. В училище получила повышенную стипендию, конечно, не всё время. Училище закончили Андрей Богачёв (он был дружен с Кашиным), Александр Саввин, Женя Кисленко (мой сокурсник и футболист); и старшие – Пётр Майоров и Анатолий Абрамов (впоследствии – видный литератор). Все они связаны с Воронежем, а в Липецке процветал Виктор Лузанов. В январе 2018 года в выставочном зале Воронежского союза художников открылась его выставка (посмертная), посвящённая Пушкину. Бабушка Александра Сергеевича – Мария Алексеев-

на – связана с Липецким краем. И Виктор Мефодьевич Лузанов создал прекрасный живописный цикл, посвящённый ей, Ганнибалам и Пушкиным. Мне, как его соученице, выпала честь предварить выставку рассказом о нём.

ДЕВУШКЕ – СТАКАН ВОДКИ

Среди моих четверых сокурсников-скульпторов мне было комфортно. Я – сестра. Летняя практика, четвёртый курс, кажется, Вязовка. Вокруг нас шумят рощи, колосятся поля, сельчане, как водится, гнут спины на своих огородах. Мы, устав от хождений, закрыли свои альбомы, сели в кружок. Нас курирует Герман Николаевич. На скатерти-само-



*Кто-то запечатлел непринуждённую сценку:
мне весело, Ощепков сосредоточен,
Толкачёв всматривается в своё московское будущее*

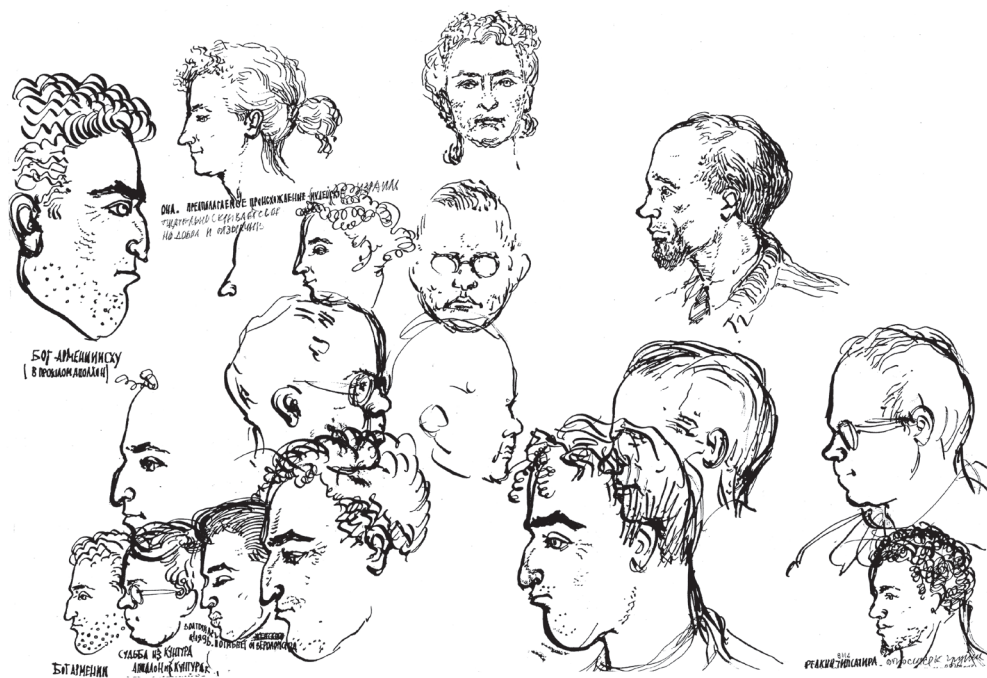
бранке таинственно появились водка и «приправа» к ней. Все пьют по стакану. Дошла очередь и до меня – доза та же. Поступок – далёкий от здравого смысла, а голова, вроде, была на месте. Мимо прошли Саша Толкачёв и Кира Еремеева, позавидовав нашему единению с природой. Пережив последствия, больше не экспериментировала. Это был разовый случай, результат печального опыта.

ШКОЛА № 93

На предпоследнем курсе мы с Кирой устроились в общеобразовательную школу № 93. Я преподавала рисование, вела изостудию, она – историю искусств (факультатив). Школа была рядом с аэродромом. Приютил нас Исаак Пейсахович Коринман. Это была и практика, и финансовое подспорье. Спустя много лет я мучаюсь тем, что не могу сказать ему запоздалое спасибо. Но Бог всё видит, знает и... передаст... А надо было быть в школе в 8 утра. Будильник – утренний гимн по радио. Слышу его звуки, ошалело натягиваю одежду и – бегом на остановку. Улица непривычно пуста... Тихо... Навстречу идёт высокий добрый молодец, интересуется, куда это я? Отвечаю: «На работу». А он: «Так сейчас только 12...» И я, перепуганная, пошла досыпать... А молодец, действительно был добрый!

КТО ЕСТЬ КТО

В нашей группе все были яркими индивидуальностями. Старший – и по документам, и по житейскому опыту – Геннадий Карпович Баграмян. Всю жизнь ему приходилось отрицать родство с маршалом Баграмяном. К слову сказать, маршал – человек трудной и яркой судьбы и, по словам Сталина, единственный, кто оказался чист – не привёз барахла из Германии.



Все вместе. В нижнем левом углу с орлиным профилем – Баграмян, в очках – Ощепков, с пухлыми губами – Роберт Харитонов. В правом верхнем углу – А.Ф. Комаров. В нижнем – Потанин. Женское лицо – это я. Тушь, перо. 1965 г.

О Генкиной влюбчивости жена Лида знала и не придавала этому значения. Умница! К его чести, он никогда не переходил грань дозволенного.

Но скульптора Баграмяна могло и не быть. Во время войны его, большеглазого, кудрявого, немцы приняли за еврейского мальчика, что было равносильно смерти. И мать (каково было ей?) вырывала сына из рук немцев и твердила, что он армянин.

С горячим, вспылчивым Баграмяном у меня были творческие конфликты до бросания эскизов на пол, были визиты в общественные организации, на телевидение. Мы оказались с ним лауреатами самодеятельной выставки, телевидение сделало передачу. Мы почти знаменитости!

Карпович закончил «Мухинку» и остался в Питере. Ощепков, как и подобает пермяку, жителю Кунгура, был хитроvanом. Умел дирижировать вспылчивым Баграмяном и уступчивым Робертом Харитоновым. Лидером в творчестве никогда не был, брал своей пролетарской основательностью и сутью, весом. Такие бывают старостами (а он и был), бригадирами, комсортами и т. д. И заслуженными (он им и стал).

Роберт – единственный сын у мамы, спортсмен, любимец девушек (может, виной тому его длинные ресницы?). Александр Фёдорович Комаров не мог понять, в чём секрет его мужского успеха, недоумевал. Учился Роберт легко, успешно. Ради скульптуры оставил живопись. Нет Роберта... а в ушах его весёлая казачья присказка: «пощём лущёк – пущёк пятащёк».

Александр Потанин не расставался со скрипкой и, по его выражению, «оглашал окрестности печальной музыкой». В Энгельсе. Он оттуда. Кудря-

вый, добрый, поэтичный, в поэтичной жилетке. Этим и завоёвывал сердца слабого пола. Его карандашные наброски интерьеров восхищали своей живописностью, нравились. Нравился и он сам. От него исходили обаяние молодости и её радостные возможности.

Володя Скоробогатов был самым юным среди нас, по сути – вчерашний школьник. Рисовал хорошо. Любил насвистывать менюэт Боккерини. Ушёл со второго курса.

Я была прямодушной, за что и получала (до сих пор!). Несдержанна – и за это получала. Теперь учусь быть скрытной, может, так проще жить?

ЧТО ДЕЛАТЬ? КТО ВИНОВАТ?

Находясь в соответствующем настроении, поехали с Еремеевой на городское (старое) кладбище. Долго бродили среди гранита, мрамора и просто крестов. Впечатлило надгробие Чернышевского. Спустя много лет, прочитав о Николае Вавилове, я представила: где-то недалеко безымянно покоятся останки униженного гения. Их из тюрьмы просто вывезли и сбросили в яму.

Всё так привычно и ненаказуемо... по-нашему.

ЗВЁЗДЫ УЧИЛИЩА

Когда надо было отстоять марку училища, посылали его – единственного, признанного, несомненного короля оформительских шедевров. Никто с ним не мог тягаться. Выполнял заказы и в высоких городских кабинетах, и в колхозах. Но, надо сказать, никогда не был заносчивым, высокомерным. После всяких официальных торжеств, участником которых он был, садился за «пиршественный стол», по его словам, «с краешку», чтобы никому не мозолить глаза. Анатолий Учаев! Это о нём!

Юрий Львов ваял голубя для какого-то магазина (спецзаказ!) и смеясь рассказывал, что его возлюбленная (медсестра) пригрозила его отравить, если он не женится. Обошлось. Поженились, уехали в Рыбинск. Оттуда началось его восхождение. Работая на заводе, связанном с керамикой, он расцвёл как мастер скульптуры малых форм. В течение долгого времени не пропускал ни одной большой выставки. Были успешными и Баграмян (в Питере), и Роберт Харитонов – создал памятник матросу-пехотинцу Михаилу Паникахе в Волгограде, оставил добрую память в Подмосковье, где и закончил земной путь.

А Толкачёв Александр Никитович? С ним любил работать Вадим Абдрашитов. Этот творческий тандем подарил нам фильмы: «Парад планет», «Остановился поезд», «Плюмбум, или Опасная игра». Спасибо, ребята!

Людмила Чугайнова-Ефанова (выпуск 1961 года) создала для воронежской Рамони буст всемирно известного оружейника Мосина, патриота и благородного человека (уроженца Рамони).

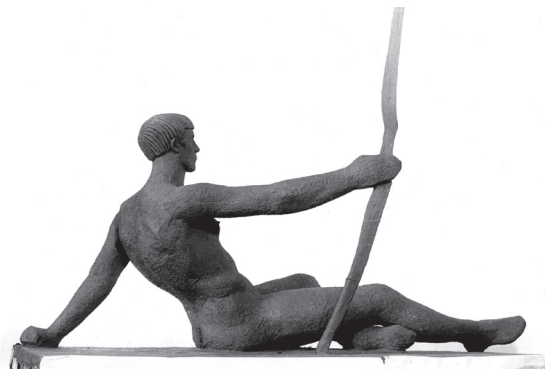
Но мы ещё в училищных стенах, где Анатолий Горохов тренирует любителей бокса, где Кикин осваивает линогравюру (что было внове), где «общество меломанов» (Манжос, Гойдин, Серёгин, Потанин и др.), приняв горизонтальное положение (на стульях), уплывало в заоблачные сферы под классическую музыку. А шумный, дискутирующий Виктор Лузанов, меняя аудитории, задавал всем вопросы, на которые никто не мог ответить.

В перерывах между занятиями аристократичная интеллектуалка Алла Мукебенова отдыхала на колене Гены Шалбурова (из одной деревни!). Наташа Данилина (экзотический цветок!) повергла всех в смущение (и преподавателей) зелёными чулками, напевая дурашливую песенку-липучку: «А почеси мне, Мэри, позвоночник...» А Чащинский, полемизируя со своим теоретическим противником, за своё «воинствующее ничтожество» получает «воинствующий ноль». Боролись, однако. А кто-то на моих глазах, может, на спор, прыгал в снег со второго этажа. Кошеленко оставил много остроумных посвящений к дружеским шаржам. Нам их показывали. Может, и сохранили. Запомнилось: «...Его приятный скромный вид лишь о фамилье говорит» – Миловидову.

Взявшись за руки, идут Цебеков, Церенов, Баймукашев... Возвращается для доучивания после вынужденного академотпуска весёлый, предприимчивый Валерка Ненаживин. Живёт своей интеллектуальной жизнью кружок (околоучилищный) Сани Санникова, Славы Лопатина, Людмилы Перерезовой; учатся брат и сестра Ефимовы из Волгограда; женятся Гойдин и Кудрявцева, Таня Лысенко и Алексушин, Гаврилов Виктор и Кира Еремеева (он был надёжной защитой, и с ним она не боялась ни дневных, ни ночных бандитов). Степанова выходит замуж за Меглинского. Родив ребёнка, завершает учёбу Зиночка Тютюнникова (Тю-Тю). Манжос, благодушествуя, мурлыкает горделивые серенады Дон Кихота, а директор Просянкин во дворе училища хлопочет над лодкой (уговаривает стать плавучей). «И это всё любви счастливые моменты...» – Окуджава прав.



Сколько бы ни было снега, а весной он тает, и это всегда радостно! Солнце приглашает всех на улицу! Тушь, перо. 1962 г.



Лучник. Эскиз моего диплома. Глина. 1965 г.

ДА ЗДРАВСТВУЕТ ХУДОЖНИКИ!

Если у человека нет здоровья – он несчастен. Если у него нет денег – он несчастен, но трижды несчастен, если нет творчества! И мы, художники, счастливые люди: творчество – наша профессия. А самый большой Творец и Художник – Тот, Имя которого нельзя поминать

всую. Он подарил нам талант, а его носитель – Пушкин – подарил Гоголю тему «Мёртвых душ», Бунин раздал свою «нобелевку» нуждающимся соотечественникам. Художник – всегда даритель (в большей или меньшей степени).

ГДЕ ВЫ, УЧЕНИКИ ЭККЕРТА, КАШИНА, КОМАРОВА?

Нас скульптуре учили Кашин и Комаров. Они учились у Э. Ф. Эккерта. Шанин, Головницкий учились тоже у Эмиля Фридриховича. Может быть, можно говорить, сформулировать постулаты саратовской школы скульптуры? Комаров высоко ценил уроки педагога Эккерта. В Воронеже существовала школа плаката (не востребована сегодня). Но скульптура – везде и всегда!

Многое поменялось в Саратове. Художественное училище (техникум) теперь в новом здании. Новые ученики, преподаватели, новые шедевры. Но... мир тебе, Советская, 65! Мир вам, привычные аудитории, классы, залы,



Набережная. Ледоход на Волге. Тушь, перо. 1962 г.

мастерские с праздниками и буднями. Там и сейчас идут занятия – мистические... Все живы и радостны. Мы лепим, пишем, рисуем. Влюбляемся и ссоримся. И с нами, и для нас – добрые и требовательные преподаватели. Поверьте: так будет до тех пор, пока будет кому помнить это. А как не помнить...

Издавека долго течёт река Волга, течёт река... течёт, течёт...



**Виктор
БРЮХОВЕЦКИЙ**

Я, НАВЕРНО, НЕ УМРУ...

В кармане нету ни рубля,
Ни двушки нет – для телефона.
В глуби трамвайного вагона
Живу.
– Ну, как ты там, Земля?
О чём печаль твоя, забота,
Легко ль болтаться на оси?
В окно смотрю: такси... такси...
И даже думать неохота.
Из города уеду в лес,
К реке уеду и бруснике,
Там каждый муравей – великий,
Как будто чудо из чудес!
В брусничник навзничь упаду,
В кармане – ни рубля, ни крошки!
Подставлю солнышку ладошки
И словно миллион найду.
И присмирею как-то сразу,
Замру, беззвучие храня,
И муравей огромным глазом
В упор посмотрит на меня.

НОЧЬЮ

Борису Друяну

Ударил разряд и застыл на весу,
И хлынуло небо, смывая дорогу.
Ликует природа! В такую грозу
Пророки идут на свидание к Богу.

-
- Виктор Васильевич Брюховецкий родился в 1945 году в г. Алейске Алтайского края. Окончил Ленинградский институт авиаприборостроения в 1974 году. Работал инженером в Институте прикладной химии. Автор многих поэтических книг. Лауреат Международной Пушкинской премии. Член Союза писателей. Живёт в пос. Кузьмолово Ленинградской области.

Я чувствую дрожь от коленей к рукам,
И стыдно, и больно трусливому глазу.
Но слышу их посохи, сквозь ураган
Негромко стучащие по диабазу.

Стучат, и стучат, и уходят во мглу,
В промокших одеждах, с седыми власами.
Нездешними ветер поёт голосами,
Толкает их в спину и рвёт за полу.

Стучат, и стучат, и стихают вдали...
Пора петушина – ночь на исходе.
И гром затихает. Наверно, подходят.
И дождь прекратился. Наверно, пришли.

ИЗ ЮНОСТИ

Меж канав с густой крапивой,
Выбирая сушь и твердь,
Я иду такой красивый –
Можно просто умереть.

А на мне – сандалии с кантом,
На подбитом каблуке,
Чуб волной, и с бриллиантом
Перстень медный на руке.

Распашонка – бумазея!
Подпоясочка – змея!
Девки местные глазуют:
Кто такой?
А это я!

Пусть глазуют, мне не жалко.
Не испортят.
Всё – враньё!..
Мне нужна подружка Галка,
Плечи круглые её.

Мне её движенья любы.
От неё жара в стогу.
У неё такие губы –
Я повеситься могу!

Мне Господь подобных Галок
В жизни больше не пошлёт...
Как откинет полушалок
Да глазами поведёт!

От калиточки – к сараю,
В травы пенные, в стога...
Галка! Галка... умираю...
Галка... жизнь не дорога!

О ЗАРЕ

До того я её люблю –
Не хватает дыханья!
Вот идёт – я смотрю-ловлю
Все её колыханья.

Не затем ли светлым-тепло
В нашей горнице, в доме...
Переходит плечо в крыло!
Ноет сердце в истоме.

– Ой, ты, родина! – говорю, –
Не сменяюсь я и в недоле
На немецкую ли зарю,
На французскую, что ли.

Пусть они у них и светлы,
И красны, только наша
Как начнёт страну вынимать из мглы –
От Курил до Балхаша!

А потом – Урал! За Уралом – нас –
До Балтийского моря!..
А у них заря – полчаса... ну, час...
Вот ведь горе.

А.

Шавкнет селезень: пора...
Дужка звякнет у ведра –
Далеко раздастся в поле.
Просьпайся и смотри,
Как сверкают у зари
Перстни крупные в подоле.

Набрала! Ох, набрала!
Набрала, как наврала, –
Складно так и так духмяно.
По росе, гремя росой,
Выйди, сладкая, босой,
Набери в ладонь румяна!

День высокий, даль светла.
Знать, земля и впрямь кругла,
Катится из ночи в утро
Всё сильнее, всё быстреей.
Скрип калиток, шум дверей.
Окна в брызгах перламутра,

В позолоте, в серебре –
Блеск иконный во дворе! –
Развернулись к небу, к свету.
Лето! Лето... Дым прямой!
Хорошо-то, Боже мой!
Где ещё найду планету

Вот такую: дом, река,
Женщина – в росе рука!
Глаз её вода глубока.
Чёрный омут! Темь и гул.
Сколько раз я в нём тонул,
Как звезда в заре востока.

Это – жизнь! И всё тут – «за»,
Даже если вдруг гроза
Налетит в косом разгоне,
Как подушки, мять стога,
И быкам сшибать рога,
И линей пугать в затоне.

Дождь недолог на ветру.
Я, наверно, не умру!
И тебе, моя опора,
Тоже быть, и тыщи лет
По росе ходить в рассвет
И пьянеть от хлебозора.

Ну, с кем поделиться весёлой печалью –
С дроздами, летящими строго на юг?
С луной голубой, голубою эмалью
Обрызгавшей выбитый косами луг?

Ну, с кем поделиться весёлою грустью –
С подковой, лежащей на стыке дорог?
С тропой, что ведёт к камышовому устью,
С курьерским, идущим в ночи на восток?

Ну, с кем поделиться печальной удачей –
С зарёю, что гаснет? С зарёй, что встаёт?

– С душой, что свернулась в комочек и плачет,
Да с сердцем, что плакать душе не даёт...

ТУЧА

Вскипая по краям, издалека,
Полнеба скрыв и застелив дорогу,
Она ползла, вдыхая облака,
И выдыхала сумрак и тревогу.
Поникли травы, замерли поля,
В густых ветвях ничто не щebetало.
Корсак, ныряя в складках ковыля,
Был золотым. Потом его не стало.
Всё смазалось!
И вот, когда уже
Тьма загустила свет и потянуло
Кизячными дымами из аула,
Меж тьмой и светом, словно по меже,
Восстала радуга, как будто кто поставил
И тёмное от света отделил,
Но тьма не принимала этих правил,
И туча шла, и кто-то в шкуры бил.
А между тьмою той и светом этим
Плескалось так, что в яблоках глазных
Алмазы огранялись и заметен
Был страха отблеск, полыхавший в них.
И в каждом плеске было всё огромно,
И всё неслоь по плоскости кривой,
И только тополя стояли ровно,
Безумных стрел касаясь головой.

С тяжких веток яблоки падают и падают,
Пахнет спелой осенью в поле и в саду.
Падают и падают, падают и радуют,
Водят счастье за руку – не беду.

Утки над озёрами взад-вперёд мотаются,
Ночью волки серые рыщут по логам,
Ходят гуси по двору – перья осыпаются,
Серые – к распутице, белые – к снегам.

Я перо гусиное лезвием отточенным
Очиню по правилам, как учил поэт,
И строку грядущую я начну отточием
Ровным, как по первому снегу лисий след.

И слова закружатся, и мотив завертится...
Выпадает всё-таки в жизни благодать:
Со стихом намаяться, в нём с тобою встретиться
И успеть все яблоки до утра собрать.



**Натэлла
ЛЕВИЦКА**

ДВА РАССКАЗА

ПАУЗА И ТРИ ПРОСВЕТА

Хороший музыкант слышит фальшь инструмента.

Автовладелец слышит степень износа, предшествующую поломке.

Влюблённый – фальшь в отношениях, предшествующую разлуке...

Смотритель маяка слышит вращение шестерён и толщину смазки, перед тем, как трение пойдёт вхолостую.

Вчера ветер дул с моря. Сегодня чаек сдувает с берега. Они качаются на волнах, подобно поплавкам на рыбацких сетях.

Ночью маяки перемигиваются вдоль побережья. Днём же подобны противотуманным фарам.

Говорят, за долгие годы шум моря и крик чаек надоедают страшно. Не знаю, не пробовал... Но подобное уединение наиболее подходит моей мизантропии...

Маяк – словно перст Божий, я бы сказал: средний палец Бога среди пустынной линии побережья.

Таких маяков – раз два и обчёлся: он весь белый, словно соляной столп. Смотритель так и называет его – женою Лота.

Не знаю, между каким содомом и какою гоморрой он стоит, но величественное безлюдье навевает меланхолию.

В очередной раз заехав туда, я сказал: «Старик, когда же ты погрёшь? Я хочу занять твоё место».

А он ответил: «А ты вообще-то видел вблизи хоть одно кладбище? Это потому, что здесь никто ещё не помирал».

У него над входом – корабельная рында, ветер бренчит ею, когда заблагорассудится.

● Натэлла Левицка живёт в Саратове. Публиковалась в поэтическом сборнике «Глагол» (Москва, 1992 г.), в литературно-художественном альманахе «Чудеса и приключения» (Москва, 2007, 2008, 2009 гг.), в журналах «Волга–XXI век» и «Пражский Парнас» (Прага, 2016 г.).

Днём старик спит, а ночью бодрствует.

Он похож на зрителя музея при экспонате, потерявшем значимость, но сохранённом ради красоты.

Говорят, маяки сейчас не для кораблей, а больше для самолётов...

Зритель принял маяк в 19 лет и с тех пор ни разу не оставлял его. Здесь выросли его дети и внуки, потом и те, и другие разлетелись, словно чайки...

По-моему, я один, если не единственный, кто его навещает и время от времени присматривает и за ним, и за маяком.

Иногда летом к маяку забредают группки туристов, и тогда старик берёт на себя обязанности гида, показывая им панораму с «высоты птичьего полёта». Туристы, впрочем, сродни волхвам, дары приносящим, и если бы посетили маяк чаще, то испортили бы старика.

Бойся волхвов, дары приносящих...

Старик, довольно крепкий и шустрый для своих лет, взбирается по винтовой лестнице, как известное животное на козью башню.

Надо заметить, он содержит маяк в образцовом порядке, как капитан корабля свою посудину. Всё у него отдраено до блеска, отражатели лучезарны*, каким-то непостижимым образом натёрты до хруста. Линзы потусторонне-зелёного цвета, как кошачьи глаза во мраке.**

Часто я заставал его за любимым занятием – он скатывал из хлебного мякиша шарики и бросал птицам. Птицы его знали и кланчили корм.

Ещё чаще он стоит на смотровой площадке, облокотясь о поручни, и смотрит на проплывающие вдалеке лайнеры. Больше всего он любит громадные, солидные корабли, иные, проплывая мимо маяка, гудят приветствия.

Мелкие суда он называет мелочью и не испытывает к ним ни малейшего трепета, не удивлюсь узнать, что и сам он ходил когда-нибудь в пару-тройку рейсов. Хотя, если только в составе Великой Армады – настолько не определён его возраст.

Порою, когда штормит, мы сидим с ним за партейкой, перебрасываясь картами «на интерес». Он молчаливый собеседник, но терпеливый слушатель.

Я сажаю вертушку чуть поодаль маяка на единственно ровную площадку, с неё маяк виден в необычном ракурсе – не удерживаюсь и всякий раз, прежде чем подняться к старику, щёлкаю фотографии. Их у меня накопилось великое множество, когда-нибудь сделаю выставку «Хранитель маяка».

Старик, кстати, выдающаяся модель – колоритная и своеобразная, на его внешность накладывается абсолютно любая история и легенда, он как библейский вечный жид, словно проветренный и иссушенный солнцем, только ещё и просолённый, словно деликатес в банке. Я не знаю, чем он больше пахнет – ветром или морем, но у него внешность великого путешественника, хотя и просидел всю жизнь на месте. Его лицо... Это тот сорт морщин, что ложатся белыми стрелками по тёмному загару. Особое количество таких белых указателей вокруг невероятно синих глаз, меняющихся цветом от погоды и настроения. От этих чёрточек взор его кажется лучезарным.

В общем, он из тех старцев, что ходят по воде и сорят рыбой из рукава.

Как-то я сказал ему, мол, наверное, очень одиноко, особенно по вечерам, может, привезти ему котёнка или щенка...

Он ответил, что пёс будет лаять и распугивать птиц. А кот, чего доброго, разорять гнёзда и охотиться на птенцов.

Животных он недолюбливал, причём всех, кого относил к хищникам. А к хищникам он относил всех. Включая меня.

Пару раз я предпринимал попытки показать ему остров с высоты птичьего полёта, но он категорично отказывался лезть в «этот стеклянный пузырь».

– Неужели ты не хочешь посмотреть на маяк сверху, чудак-человек? – удивлялся я.

Он отвечал: хочу, но не в этот раз...

Каждый раз я боялся, что он не дотянет до следующего моего визита...

И вот действительно, однажды он меня не встретил. Что само по себе удивительно.

И тут я заметил своего старика: он задумчиво стоял на смотровой площадке, как всегда, окружённый снующими и орущими чайками. Видимо, опять кормил... Я вообще удивляюсь, как они не загадили ему весь маяк.

...Я достал по привычке камеру и начал щёлкать кадры.

И тут он наклонился вперёд, перегнулся через поручни и полетел вниз...

Но то, что произошло потом, не поддаётся объяснению: не долетев до воды и торчащих у подножья скал, он вдруг судорожно всхлопнул руками и исчез... И почти одновременно с хлопками в небо взмыла большая птица, по всей видимости, альбатрос...^{***}

* Линзы Френеля (прим. Автора).

** Зелёный – обозначает правую (англ. starboard) от безопасного сектора область для приближающихся судов.

*** Самым известным происшествием, связанным с маяками, было таинственное исчезновение одновременно трёх смотрителей маяка на Островах Фланнана в декабре 1900 года.

REDHILL *

Каких только историй не услышишь в здешних местах, иные и вовсе похожи на байки.

Но местные утверждают и божатся, что ни слова не прибавили и не приврали...

Если посмотреть на предгорье, выветренное и больше напоминающее холмистую окрестность, со скудным пастбищем, блёклой растительностью и озерком, можно увидеть крепкий и довольно зажиточный особняк из тёсаного камня, больше смахивающий на крепость в старинном стиле.

Сразу видно, хозяин дома добропорядочный, домовитый и богатый человек, непонятно, зачем только построивший усадьбу в столь пустынном месте, где зимой к тому же всё продувалось насквозь, а скот приходилось гонять за перевал.

Но у каждого свои резоны.

Говорят, раньше на этом месте стояло довольно ветхое строение и из поколения в поколение жило семейство, ничем особым не примечательное, еле сводившее концы с концами.

Дед теперешнего владельца гонял скот изо дня в день всю свою жизнь, пока однажды не подстрелил на камнях (а было до них приличное расстояние) дичь на ужин.

Собака принесла птицу, а жена фермера, готовя ужин, воспотрошила тушку.

Знаете ведь, птицы клюют всякую дрянь, и фазан не исключение. И обычно, вспарывая потроха, находишь добрую унцию** обкатанных камешков разного размера, обточенных, словно дробь.

Но не в этот раз.

В этот вечер на столе у хозяйки оказались прозрачные, алого цвета голыши, по цвету напоминавшие капли крови, обточенные до кабошенов. Было ясно, что птица, попавшая в дом, принесла на ужин счастье.

Камни оказались рубинами, и, если только птицы не наклевались их в другом месте, искать стоило среди камней.

Наутро он снарядил целую экспедицию из сыновей и отправился на поиски жилы, в надежде, что та близко подходит к земле.

Поиски продолжались два дня, и, наконец, присев на закате на один из валунов, он заметил огоньки, рассыпанные среди мха, похожие на редкие болотные ягодки, сверкавшие при ближнем рассмотрении.

Таким образом, он наковырял и отколол целую горсть.

Кажется, всё семейство на ближайшую неделю забыло о выпасе овец и сколотило голыми руками целое состояние.

Правда, теперь приходилось держать ухо востро и охранять свою территорию.

Так или иначе, но хозяин заметно поднялся, отстроил дом, смастерил маслобойню и наладил производство, поголовье скота сильно увеличилось, и он, не бедствуя, скопил приличный доход.

Когда он выдавал замуж двух своих дочерей, а потом и внучек, у каждой на шее сверкало алое ожерелье.

Но речь, собственно, не об этом, а о том, что со временем камни ушли вглубь и редкий раз выходили на поверхность, так что искать их приходилось по особым приметам и при известной доле терпения.

Но к тому времени семейство хорошо развернулось, и, хотя прилично зарабатывало на шерсти и сыре, старательство всё же было самой скорой частью дохода.

Однажды сын хозяина, уже тридцатилетний рослый детина более двух ярдов ростом, обходя владения с ружьём и парой тушек дичи на поясе, заметил у одного из валунов копошение. Нетрудно было догадаться о цели возни и визита ворюги.

Он вскинул ружьё, выстрелил в воздух и предупредил, чтоб тот немедленно убирался, пока цел.

Тот приподнял голову, сложил против света ладонь козырьком и, помешкав с минуту, продолжил деятельность.

Тогда парень перемахнул расстояние в два счёта, схватил грабителя за грудки и, приложив пару раз спиной к камням, повторил, чтоб тот убирался и не смел появляться, а если ещё раз застанет в своих владениях, то прильёт, к чёртовой матери.

В довершение серьёзности намерений, он обыскал у визитёра все карманы, дал ещё пару затрещин для пущей наглядности и пинком отправил по склону.

Другой бы понял. Но не этот.

Посторожив пару-тройку деньков в укромном месте, хозяин всё же вновь дождался визитёра и, как и положено, крикнул:

– Я предупреждал тебя или нет?!

Тот довольно дерзко вступил в перебранку и даже, отойдя на несколько шагов, не проявлял готовности оставить затею.

И тогда, выстрелив чуть выше головы наглеца, он повторил уже внушительнее, что не шутит и лучше бы тому убраться.

«Неужели ты всегда теперь будешь торчать тут и поджидать меня? – довольно резво отозвался ворюга. – И ночами? А кто же будет сторожить твою жёнушку?»

Не трата более слова, владелец земли прицелился и ещё раз выстрелил выше головы. Пуля, отрикошетив от камня, попала задире в спину и вышла в области сердца...

От неожиданности оба посмотрели друг на друга, и раненый рухнул на камни.

Похититель упал навзничь, и под ним стало растекаться вязкое пятно.

Можно сказать, если семейный алтарь бизнеса требовал жертвы, эта жертва была принесена.

По счастью, у случившегося были свидетели, и семья землевладельца отделалась лёгким штрафом в пользу вдовы и сирот.

Но случай возымел свои последствия, и теперь владения обходили стороной... Да и самому семейству место трагедии лишний раз напоминало о происшествии.

Так или иначе, но наследник угоды избегал и того места, да и жителей деревни, поскольку при виде его кто-то расступался молча, а кто-то перебежал на другую сторону улицы.

И вот поздно осенью, когда уже подмораживало, одна из хозяйских лошадей, испугавшись чего-то, помчалась куда глаза глядят, и, пока он седлал и выезжал, только её и видели.

Прихватив подозрную трубу, он отправился на поиски, но та – как провалилась.

Решив взобраться повыше, чтоб осмотреть окрестность и не рисковать, он спешил, взобрался на горный массив и на равнине, в низинке, увидел пропажу.

Дело клонилось к закату, на камнях лежал лёгкий морозец. И подошва при спуске чуть оскользнулась. И надо такому случиться, что приземлился он прямо на злосчастное место, где прошлым летом убил нарушителя.

Приземлившись на обе руки и выронив трубу, он смёл рукавом изморозь с камней – и остолбенел.

Весь склон, где когда-то лежало тело бедолаги, сверкал алыми кристаллами. В косых лучах солнца зрелище было невероятное.

Он и раньше знал, что на этом перевале в древности пролилось много крови, но чтоб та выводила камни из грунта – увидел впервые...

Несколько минут он сидел, обмахивая снег рукавом... А потом задумчиво устоялся на заходящее солнце.

В сущности, теперь он точно знал, что жила не иссякнет...

И, в случае чего, их семейный бизнес не пропадёт...

* Алая горка (прим. Автора).

** Английская унция (oz) = 28.3 гр (прим. Автора).



**Татьяна
КУЗНЕЦОВА**

У ВОРОТ СИРЕНЕВОГО РАЯ

ФОТОГРАФИЯ

Туда, туда – где пятна солнца,
Где изумрудная трава,
Где средь верхушек, как оконце,
Просвечивает синева,
Где, отпуск получив как будто,
Ты сможешь на землю ничком
Лечь – и, души оставив смуту,
Не думать больше ни о чём.
Туда, где тихие рассветы,
Где полные покоя дни!..
По-твоему, такого нету?
А вот же фото, вот – взгляни!
Там солнца пятна. И косые
Лучи, пробившие листву,
Рисуют тени кружевные
Сквозь изумрудную траву.
Смотри, он есть, тот мир, который
Нам приготовлен был давно:
Вот лес, поляна, дом просторный,
И занавеска, и окно...
Не закрываются там двери,
Там до утра так сладко спишь...
Смотри: он есть!
Но ты не веришь.
«Удачный ракурс», – говоришь.

МОСТ

Где есть река, там у реки два берега –
И разные те берега всегда...
«Ну, – скажут мне, – открыла ты Америку!»
А я вздохну: «Америку? Ну да...»

-
- Татьяна Анатольевна Кузнецова родилась в Перми. С 1956 года живёт в г. Энгельсе Саратовской области. Окончила СГУ им. Н.Г. Чернышевского. В настоящее время работает журналистом. Член Союза журналистов России. Автор 29 поэтических книг. Публиковалась в журналах «Волга–XXI век», «Корни», в альманахе «Другой берег» (г. Энгельс).

Вот только что открыла, получается,
Прожив сто лет на левом берегу...
И что теперь мне делать?
Только каяться?
Неужто ничего я не могу?
Пусть правый берег – он не мой по-прежнему,
Но левый – мой.
Расчёт мой прям и прост:
Я к зною и дождю правобережному
Построю в ночь простой хрустальный мост.
Надёжность гарантировать не буду.
Увы! – не вечен прочности запас...
Но всем, кто не надеялся на чудо,
Мост даст для чуда место хоть на час.
Тогда взорвутся годы бесполезные,
Тогда потерянный найдётся след,
Тогда законы чёткие, железные
Дадут осечку раз в сто тысяч лет.
И кто любовь, кто друга не покинет,
Простившиеся встретятся опять...
И на перилах где-то в середине
Букетик незабудок тёмно-синий
В шесть вечера меня там будет ждать.

АНГЕЛЫ

Не побеспокоить нас стараясь,
Исчезая облаком вдали,
Ангелы, устало улыбаясь,
Тяжело уходят от земли.

Все дела свои земные сделав,
Ничего с собою в путь не взяв,
Ангелы уходят от пределов,
Где враги остались и друзья.

А друзья растерянно и горько
Смотрят вслед, не сдерживая слёз...
Часто уходили вы надолго –
Неужели в этот раз всерьёз?

Шумные, весёлые, лихие,
Как же этот мир без вас принять?
Ангелы-хранители, родные,
Кто ж теперь нас будет охранять?

Не меняли золото на полушки –
Вам замены не было и нет...
Остывает чай в заветной кружке.
Тает в синем небе белый след.

ФЕВРАЛЬСКАЯ ЭЛЕГИЯ*Февраль. Достать чернил и плакать!***Б. Пастернак**

Февраль. На солнце льют сосульки слёзы –
 Известен им финал любого бытия.
 Кому нужны стихи мои и проза?
 И вся лоскутная, смешная жизнь моя?
 В ней лоскутки все пригнаны некстати:
 То ситец, то шифон, то бархат – как тут быть?
 И я живу не в теме, не в формате.
 И каждый умник норовит меня учить.
 То много тут слогов, то не хватает,
 Глагольных рифм, конечно, перебор..
 Ну что же, жизнь моя почти что прожитая,
 Пойдёшь ненужным хламом в общий ты костёр
 И там соришь.
 Конец закономерен
 Твоих бессмысленных и невесомых дней.
 Нет простоты – и след её потеряя,
 И радость отошла, и нет замены ей.
 Куда спешила я? Зачем влеклась доньше
 Душою и умом в небесные луга?..
 Февральский день повис на середине –
 И равно далеки отсюда берега.
 И сердца метроном напрасно отбивает
 Тот ритм, что мне всегда подняться помогал,
 И я сама себя – уввы! – не понимаю..
 Но слышу вдалеке как будто бы обвал.
 То рушатся снега? Иль под лучами солнца
 То трескается лёд, почувствовав тепло?
 ...Уже февральский день не плачет, а смеётся,
 И капелькой стучит в оконное стекло.

Не зовите меня по имени –
 Я не знаю его сама.
 Если в белом земля, если в инее –
 Значит, этому имя «зима».
 Ну, а если мороз и оттепель,
 То дождей пелена, то зной?..
 Тут природа сама морочится
 И не знает – что делать со мной.
 Ни что делать, ни как назвать меня,
 Ни к чему меня отнести.
 От какой родилась я матери
 И что может меня спасти?
 У меня нет имени-отчества –
 Мне никак их не подобрать..
 Только сердцу тепла так хочется
 И не хочется умирать.

Горит на ночном небосклоне
Свет звёздный, прекрасен, далёк...
Горит перед старой иконой
Лампады простой огонёк.

Так мал он и так беззащитен –
Ужели сильнее его нет?
Ужели неколеблемый щит он
От сонма несчастий и бед?

Кто неба глубины измерит?
Горит огонёк вновь и вновь...
Она милосердствует, верит
И всё побеждает – любовь.

Таинственной мглою укрыты
Все наши дела и пути –
Но тихая льётся молитва:
«Ослаби, остави, прости...»

Я слишком долго отражалась в зеркалах –
Но он наступит, рано или поздно,
Тот день, в который для меня закатится луна
И опадут серебряные звёзды.
И солнца луч напрасно золотить
Скамью ту станет,
Где мы с ним о жизни говорили, –
И прочь уйдёт.
А после, может быть,
Начнётся дождь, чтоб капли память смыли.
Примчится ветер, ветки шевеля
И тучи разгоняя.
Выйдет солнце.
Весь этот мир, что так любила я,
Пойдёт своим путём.
Природа не прервётся,
Чтоб проводить меня.
И кто же ей судья?
Сейчас или тогда –
Не я, не я, не я.

Камешки цветные собирая,
Не боясь куда-то не успеть,
У ворот сиреневого рая
Буду я когда-нибудь сидеть.

Не в раю, конечно, это ясно,
Но, заметьте, вовсе не в аду.
Я устроюсь прочно и прекрасно
При дороге и почти в саду.

Отдохнут натруженные ноги
От земных безумных виражей...
Мой валун, что справа у дороги,
Ждёт меня давным-давно уже.

И дождётся. Радостней невесты,
По траве пройдя, как по ковру,
На никем не занятое место
Сяду я – и улыбнусь Петру.

Нет, меня апостол не прогонит –
Рёк Христос когда-то: «Дщерь, дерзай!»
Потому-то мне на этом склоне
Разрешат сидеть и видеть рай.

Видеть рай – и всем идущим мимо
Улыбаться тихо и светло.
Радость и любовь неразделимы –
Нам, поэтам, с этим повезло.

...Камешки цветные собирая,
Буду в пыль их звёздную ронять
И молиться при воротах рая
Обо всех, кто позабыл меня.

**Ольга
ДАРАНОВА**

КАРТИНЫ ДНЕЙ

И вот уже пришла пора,
Когда дни малы, ночи длинны,
Когда ознобом воробьиным
Забился день в подклеть двора.

Тяжёлой грудью небо дышит,
И ропот дробный и глухой
Воды, стекающей по крыше,
И в мокрых ставнях – день немой.

Пора, когда о лете – вздохи...
Но столько в дне его примет!
Как воробьям – ржаные крохи,
Бросаю прошлому привет.

В этой осени нас – нет.
В этой осени стёрт след
Расставаний, обид злых.
В этой осени сон – тих.

Вот и ладно, что мы – врозь.
Астры красные в дождь – брось!
Есть у осени свой канон –
Далью памяти будь прощён.

-
- Ольга Николаевна Даранова родилась и живёт в Ульяновске. Окончила Ульяновский государственный педагогический институт имени И.Н. Ульянова, историко-филологический факультет. С 1980 года работает в Ульяновской областной научной библиотеке. Автор и ведущая многих презентаций, встреч с творческой интеллигенцией города, литературных передач на «Радио России – Ульяновск». Куратор регионального проекта «Литературная филармония». В журнале «Симбирскъ» публиковались её рассказы «По главной улице с оркестром...», «Малина на пепелище», «Платье её мечты». Подборки стихов печатались в региональных журналах «Симбирскъ» (Ульяновск), «Сура» (Пенза), в газете «Литературный маяк» (Вологда). Учёный секретарь Дворца книги Ульяновской областной научной библиотеки имени В.И. Ленина, заслуженный работник культуры Ульяновской области.

Мелких дел нас спасёт суть,
Самый верный – к себе путь.
Астры царствуют – им срок!
А расставшимся – сон глубок.

Сколько дождь будет лить – век?
Спрячем грусть под чертой век.
И не станем судьбу клясть,
Что пришлось не взлететь – пасть.

День осенний, как Рим, – стар.
Слитком вечности – нам в дар.
В дне грядущем – без дат, мет –
Дождь иссякнет и будет Свет.

УХОДИТ ОСЕНЬ

В плетёном кресле тает твоё тело.
С деревьев тихо падает листва.
Уходит осень. Ей-то что за дело
До твоего больного естества?

Уходит осень. Стрелка циферблата
Покажет полночь. А за ней – зима...
И деревья студёным сном объята,
И не дома вокруг, а терема...

Уходит осень. В старом переулке
Продрогший клён склонился над окном.
Синица крохи чёрствой белой булки
Клюёт на подоконнике твоём.

Октябрь поздний плодом переспелым
Падёт на край садового крыльца.
...Ещё сегодня утром солнце грело,
А вечером морозная пыльца

Покроет яблонь стан и ветки вишни,
Тобою в кресле брошенный дневник...
И ты сама, ступая еле слышно,
Стараться будешь помнить этот миг

Высокой праздности и медленного тленья
Осенних дней, остуженных зимой,
И сладкой муки неповиновенья
Ноябрьской неизбежности глухой.

Такие были холода,
Что ель дрожала на морозе,
Предчувствуя зимы угрозы,
Молчала подо льдом вода...

В день памяти отца
Снег падал необычно,
Он в суете привычной
Был милостью Творца.

Был солью на кусок
Темнеющего хлеба,
Был каплей на висок,
Слезой светлой – с неба.

Вновь Рождество. И снег сухой скрипит,
Финифтью светится дорога к храму.
Благая весть в подлунный мир летит,
И ёлка блещет за оконной рамой.

Врага – простить! И снежной горстью лоб
С молитвой остудить, и утром рано
Снеговика слепить, и во дворе в сугроб
Поставить символом охранным...

И вновь, как встарь, пекутся пирожки,
И кудри мишуры на ёлке вьются,
И шоколадки прячут в сапожки,
И гимны чудные поются.

И душу радость тайная томит,
И воск свечи в ладонь стекает.
Откройте окна! Колокол звонит...
И в небесах звезда сияет.

Все – в ожиданье. Все – в заботах.
Все – в хлопотах. Такие дни.
В нарядах праздничных и ботах
Съезжается толпа родни.

С утра корицей и ванилью
Пахнуло с кухни. Дремлет дом...
Клубится серебристой пылью
Морозный воздух за окном.

Румянец щёк, кипенье чая,
Огни бенгальские как вскрик!
...И после год весь вспоминаем,
Как сладостен был каждый миг...

Подарки спрячутся под ёлку,
Хрусталь фамильный на столе,
И карлик гипсовый на полке
На бабушкином ришелье.

И в сумерках меняем платье,
И жаждой тайною полны
От суеты упасть в объятия
Великосветской тишины.

И тут она – царица ночи –
Заблещет и ошеломит!..
Огнями, запахом и прочим,
Что так волнует и томит...

О ёлке речь. С благоговеньем
Мы создавали ей наряд!
В сомнамбулическом круженье
Гирлянды грузные горят.

До полночи ещё мгновенье,
И прошлое – одним штрихом!
Все прошлогодние сомненья
Закрыты вечности ключом.

И год уйдёт, и кто-то скажет,
Что прожит он совсем не зря.
И тихо снег волшебный ляжет
На день последний декабря.

К 150-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ А. М. ГОРЬКОГО



**Александр
ДЕМЧЕНКО**

ПЯТЬ ДЕСЯТИЛЕТИЙ БОЛЬШОГО ПУТИ

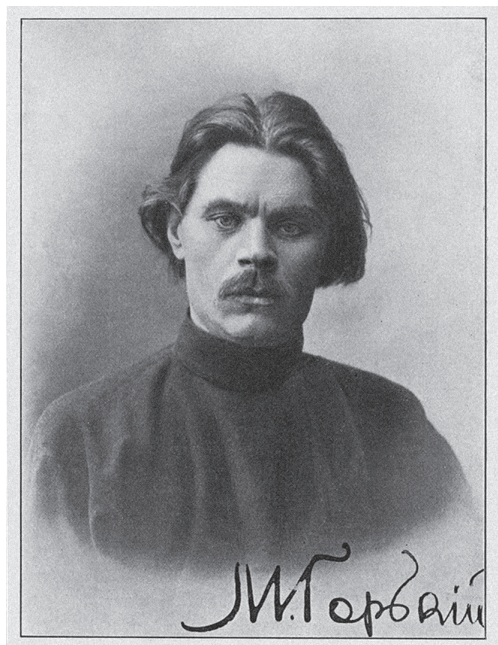


Фото 1902 года

Эволюция творчества Алексея Максимовича Горького (1868–1936) с достаточной планомерностью следовала смене пройденных им десятилетий писательского труда: 1890, 1900, 1910, 1920 и 1930-е годы.

Этот почти полувековой творческий путь выдающегося представителя отечественной культуры начался в *1890-е годы*, и его «старт» вошёл в историю русской литературы как явление необычайное.

Необычайным был уже тот факт, что с первых шагов в писательском мире так громко сумел заявить о себе юноша, пришедший из социальных низов, не получивший, в сущности, никакого образования и поднявшийся к большой культуре собственными усилиями.

Но сразу же приходится признать, что подобное происхождение пришлось очень ко времени – на волне всколыхнувшегося

тогда жгучего интереса к положению тех самых низов общества и на волне активных поисков путей их раскрепощения. Чеховское *«так жить нельзя»* (или – в другом варианте – *«больше*

-
- Александр Иванович Демченко – профессор Саратовской государственной консерватории имени Л. В. Собинова, профессор Саратовского государственного университета, Саратовского государственного социально-экономического университета, Оренбургского государственного университета искусств имени Леопольда и Мстислава Ростроповичей. Член Союза композиторов РФ, Союза журналистов РФ. Заслуженный деятель искусств РФ. Заслуженный деятель науки и образования. Лауреат Всероссийского конкурса на лучшее учебно-методическое пособие. Обладатель Золотой медали В. И. Вернадского за успехи в развитии отечественной науки и Почётного звания «Основатель научной школы». Почётный гражданин города Саратова.

так жить невозможно») получило с появлением молодого литератора совершенно своеобразное наполнение, да и сам, несомненно, огромный Божий дар, данный Алексею Пешкову, был знаменем времени.

Он вошёл в литературу со своей темой, которую поистине выстрадал, с отроческих лет изведавший тяжёлую жизнь «в людях» и многое повидавший в странствованиях по Руси. Это давало ему право в рассказах, очерках и фельетонах 1890-х годов бичевать «хозяев жизни», не щадя и интеллигенцию. Так, в новелле «Кирилка» (1899) её представителям адресована подспудная мысль: ругаете мужика, обсуждаете и поучаете его и едете на нём, объедая его самым безбожным образом.

Не жалует молодой писатель и саму закабалённую массу. Так, в рассказе «Двадцать шесть и одна» (тот же 1899-й), с болью и беспощадной правдивостью повествуя о тёмной, забитой жизни простонародья, о тяжёлом, пригибающем и принижающем труде, делающем из человека животное, тупой механизм, он с не меньшей беспощадностью показывает, как эти люди из дурных побуждений могут погубить самое светлое в их проклятой жизни.

Главными героями своего раннего творчества Горький избирает не просто бедноту, а голь перекадную: это бродячий люд, уличные женщины, беспризорные дети, всякого рода «бывшие люди» – как гласит название одного из его произведений той поры.

Показывая подобные «дебри» народной России, писатель не только сострадает тем, кто вынужден обретаться в них, но и страстно порицает пассивность, духовное рабство обездоленных. И он настойчиво выискивает в них крупицы того, что способно изменить порядок вещей: внушающие оптимистическую ноту ростки осмысленности, вызревающее неприятие укоренившегося уклада, просыпающаяся мечта об иной жизни, построенной по законам справедливости.

И тогда высветливается мысль о том, что в бедственном положении повинен не только окружающий мир с его ущербностью, но и сам человек, безвольно склоняющийся перед лишениями. Увидеть причину своей подневольности в самом себе, подняться на бунт против неё и вырваться на просторы нового жизнечувствия – такой прочерчивается траектория раскрепощающейся личности в рассказе «Супруги Орловы» (1897). И тот путь, на который вступает в конце повествования Григорий Орлов, виделся Горькому до поры до времени едва ли не единственно возможным.

Имеется в виду путь босячества, что в известном смысле стало культовым знаком раннего творчества писателя. Не случайно его самого поначалу воспринимали прежде всего как «певца босяков и анархиста». Обрисованные им босяки представляли носителями новой морали, порывающими с условностями привычного существования, стремившимися к полной независимости, понимаемой как свобода от общества.

Целая галерея таких натур в их всевозможных гранях предстаёт в таких рассказах 1893 года, как «Дед Архип и Лёнька» и «Емельян Пиляй», «Челкаш» (1894), «Коновалов» (1896) и «Мальва» (1897). Остаётся добавить, что всё сказанное выше отмечает несомненно романтическую подоплёку образов подобного рода.

Совершенно в ином ключе романтические устремления молодого Горького нашли своё выражение в группе произведений фольклорно-легендарного и аллегорического плана с примыкающими к ним композициями поэмно-го типа. И сразу же заметим, что эта линия частично протянулась до 1900-х годов («Песня о Буревестнике» (1901), «Человек» (1903).

Возвышенный строй жизнечувствия побуждал писателя обращаться на данном этапе к поэтическим формам выражения. Наиболее естественным способом такого выражения стала для него ритмическая проза (к слову, и во всей литературе этого времени получил распространение жанр стихотворения в прозе).

Основополагающие истоки этого выдвинутого Горьким типа романтики приходится на один и тот же 1892 год – это был год его первых публикаций: «Сказка о Чиже», «Макар Чудра», «Девушка и Смерть».

Чиж утверждал право человека на мечту об иной, лучшей жизни. В «птичьем» иносказании Чиж-идеалист зовёт сородичей в *«новый мир неиспытанных наслаждений, в страну счастья, где нас ждёт великая победа, где мы будем владыками всего»*. И в ответ на скепсис Дятла-прагматика с его прозаической трезвостью Чиж оправдывает свою жизненную позицию следующим образом: *«Я хотел пробудить веру и надежду. Дятел, может быть, и прав, но на что нужна его правда, когда она камнем ложится на крылья»*.

Завершающим «аккордом» в романтических произведениях раннего Горького стала философско-лирическая поэма «Человек» (1903), выдержанная совсем в другом тоне. Без всякой иносказательности и без малейших сомнений она прокламирует то, что впоследствии прозвучит в одной из песен советского времени: *«Мечтать! Надо мечтать...»* Преодолевая скуку, пошлость, ложь и злобу, здесь на максимуме утвердительности провозглашается вера в творческие силы человека, вера во всемогущество его разума и высокий смысл жизни в её неостановимом движении.

Один из истоков романтики Горького был ярко обозначен в самой первой его публикации – рассказе «Макар Чудра», центром и сутью которого становится легенда о Радде и Лойко. Она вырастает в подлинный гимн жизни, свободной от оков. Обыденному, заурядному, рабскому существованию противопоставляется жизнь гордых, исключительных натур, утверждающих своё право на свободу и красоту.

Гиперболизм этого повествования получил прямое продолжение в рассказе «Старуха Изергиль» (1895) с введёнными в него легендами о Ларре и Данко. С их вымыслами сопоставлены реалии вольной, гордой, *«жадной»* судьбы самой Изергиль, и в её уста вложена фраза, ставшая крылатой: *«В жизни всегда есть место подвигу»*.

Глубинный смысл легенд состоит в антитезе трактовок жизненного подвига: Ларра, с его самоцельной игрой сил по законам вседозволенности, и Данко, отдающий своё сердце во благо людей, чтобы вывести их из смрада к солнцу.

Другой исток, изливающийся из 1892 года, – сказка в стихах «Девушка и Смерть». Среди всего прочего здесь есть тонкие наблюдения, высказываемые от лица Смерти. Она, которая *«занята неблагодарным делом / На земле и грязной, и недужной»*, наивно удивляется тому благодущию и благочинию, с каким люди отправляют на тот свет как правого, так и неправого.

Свежий и даже дерзкий строй стиха в конечном счёте нацелен на то, чтобы пропеть гимн Девушке, побеждающей силой своей юности и воинствующим утверждением жизни во что бы то ни стало. Её поведение – это своего рода *«безумство храбрых»*, одерживающее верх над всем и вся.

Романтика подвига достигла кульминации в двух поэтических шедеврах: «Песня о Соколе» (1895) и «Песня о Буревестнике» (1901). Обе «песни» символизировали категорически выраженное размежевание жизненных позиций. Изъяснение метрической прозой и приподнятость речений служат великолепным средством возвышения, подчёркивая исключительность описыва-

емого. К этому в обеих поэмах-аллегориях добавляется зримо-осязаемая картинно-изобразительная палитра, что ставит их в ряд самых уникальных живописных полотен. Сказанное вместе с певучестью слога и звучной мажорной нотой делает эти вдохновенные строки куда более сильными, чем многое в наследии «присяжных поэтов».

В произведениях «раннего» Горького получили яркое выражение особенности общественного подъёма 1890-х годов. Постепенно складывалась картина «потревоженной» России, в глубинах которой начинались большие сдвиги.

Субъективно-романтическое восприятие назревающих перемен порождало в литературном почерке раннего Горького повышенную эмоциональную напряжённость и порой исключительно горячий запал высказывания. Многие построены на острых, подчас кричащих противопоставлениях света и тьмы, когда мир либо ослепительно прекрасен, либо уродливо безобразен. То же и на уровне столкновения резко контрастных персонажей: дед Архип и Лёнька, Мальва и Яков, Челкаш и Гаврила, Сокол и Уж.

Антитетичность обнаруживает себя даже в самой жанровой структуре творчества тех лет. При абсолютном господстве малых форм находим, с одной стороны, тяготение к очерковости, что усиливало ощущение достоверности воспроизводимых ситуаций и характеров, а с другой – самобытные «стиховые» опыты. В качестве несомненной черты романтического мышления можно отметить и факт включения в текст, идущий от «я», авторской речи и авторских отступлений.

1890-е были для молодого писателя этапом очень ярких дебютов, даже в определённом смысле триумфального вхождения в большую литературу. Его трёхтомное собрание «Очерков и рассказов» (1898–1899) вызвало в России и за рубежом небывалый отклик. Героико-романтические поэмы приобретали порой значение революционной прокламации.

Особенно это коснулось «Песни о Буревестнике», которую перепечатывали во всех городах страны, распространяли в распечатках на пишущей машинке и на листах, переписанных от руки, так что её «тираж» к середине 1900-х годов превосходил несколько миллионов экземпляров.

К концу 1890-х годов ярко выраженные романтические тенденции снижают свою значимость, усиливается реалистическая составляющая, что до поры до времени проявлялось не столько в тематике, сколько в манере высказывания. В формальном отношении самым явственным показателем эволюции художественной системы Горького в **1900-е годы** был переход к большим повествовательным жанрам и к драматургии. Сам писатель в 1901 году говорил о наступлении века *«духовного обновления»*, что означало для него выход к качественно новым проблемам и к масштабной их разработке.

Предвестием обновляемой манеры оказался роман «Фома Гордеев», создававшийся в 1898–1899 годах. С этим произведением Горький вышел на тему, которая стала для него, пожалуй, магистральной и которую он разрабатывал до конца жизни: мир собственников, «деловых людей», «хозяев» жизни – по преимуществу в формах утверждавшегося тогда российского капитализма.

Здесь ещё весьма ощутим «след» 1890-х годов с характерным для них максимализмом писательской позиции. Персонаж, давший название роману, – бунтарь, пытающийся противопоставить себя породившей его собственной среде. Его внутреннее влечение к полнокровному бытию, его жажда

живых чувств и искреннего общения, его тяга к красоте, любви, мудрой мысли оказываются совершенно несовместимыми с тем, что может предложить реально существующий мир.

Обращает на себя внимание метафорический подтекст имени и фамилии главного героя: *Фома* – отсылает к фигуре библейского *Фомы неверующего*, во всём сомневающегося; *Гордеев* – в своей «гордыне» он стремится стать выше своего окружения. И в силу этого он предпринимает мучительный поиск в дебрях самого трудного вопроса человеческого существования – вопроса о смысле жизни.

Этот поиск, а также сопутствующие ему чувство неудовлетворённости сущим и неизбежная противоречивость души частично были заложены в натуре отца *Фомы* – *Игната Гордеева*, который основал большой купеческий капитал. В его натуре как бы сосуществовали противоположные души.

«Одна из них, самая мощная, была только жадна, и, когда Игнат подчинялся её велениям, – он был человек, охваченный неукротимой страстью к работе. Эта страсть горела в нём дни и ночи, он всецело поглощался ею и, хватая всюду сотни и тысячи рублей, казалось, никогда не мог насытиться шелестом и звоном денег...»

И вдруг – Игнат Гордеев как бы чувствовал, что он не хозяин своего дела, а низкий раб его. Он задумывался и, пытливо поглядывая вокруг себя из-под густых, нахмуренных бровей, целыми днями ходил угрюмый и злой, точно спрашивая молча о чём-то и боясь спросить вслух. Тогда в нём просыпалась другая душа.

Дерзкий, со всеми и циничный, он пил, развратничал. Казалось, он бешено рвёт те цепи, которые сам на себя сковал и носит, рвёт их и бессилён разорвать. Всклокоченный, грязный, с лицом, опухшим от пьянства и бессонных ночей, с безумными глазами, огромный и ревуший хриплым голосом, он носился по городу из одного вертепа в другой, не считая бросал деньги, плакал под пение заунывных песен, плясал и бил кого-нибудь, но нигде и ни в чём не находил успокоения.»

Эту «вторую» душу как раз и унаследовал *Фома*, что развилось у него в главное, определяющее. Постепенно он всё более мрачно расценивает жизнь людей, в том числе и тех, кто внешне занят так называемым делом.

«– Какое дело? Что оно, дело? Только звание одно – дело, а так, ежели вглубь, в корень посмотреть, – бестолочь! Какой прок в делах? Обман один – дела эти все... Река течёт, чтобы по ней ездили, дерево растёт для пользы, собака дом стережёт... всему на свете можно найти оправдание! А люди – как тараканы – совсем лишние на земле... Всё для них, а они для чего? В чём их оправдание?»

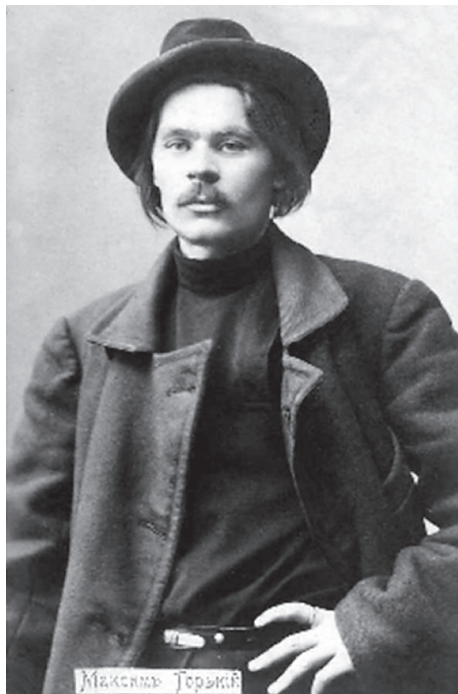


Фото 1909 года

Когда Фома начинает швырять направо-налево деньги, нажитые отцом, и однажды находит сильные обличительные слова в адрес своего купеческого сословия, его связывают и отправляют в сумасшедший дом, после которого он ведёт самую плачевную жизнь юродивого, и в лицо ему насмешливо бросают: *«Эй ты, пророк!»*

Объективности ради надо признать, что рядом с Фомой, изверившимся и потерявшим почву под ногами, писатель показывает среди людей его поколения и того же сословия типажей с крепкой хваткой и твёрдой волей.

Но как бы ни были сильны названные противовесы безысходным исканиям Фомы, итогом повествования о его судьбе оказывается беспросветный пессимизм, что определяет полный крах жизни главного героя и что позволяет причислить первый роман Горького к категории трагического.

Примерно в том же проблемном плане решён и следующий роман – «Трое» (1900). Художественное исследование судьбы человека, ищущего правду жизни, проведено на примере трагической участи бедняка, ставшего собственником. Илья Лунёв, как и Фома Гордеев, – личность исключительная по силе отрицания, по напряжённости внутренней жизни, по обострённой реакции на происходящее вокруг. Этим образом завершалась горьковская галерея бунтарей, жаждавших иной жизни, но не знавших пути к ней.

Остаётся добавить, что пессимистический крен, обнаружившийся в «Фоме Гордееве», ещё не раз давал знать о себе в 1900-е годы. Пожалуй, самые сильные вещи, выполненные в этом ключе, – повесть «Жизнь ненужного человека» (1907) и пьеса «Последние» (1908), где с редкой психологической глубиной и мрачной экспрессией раскрывается распад личности, её духовная опустошённость и обречённость на угасание.

Завершая разработку темы голытьбы, босячества и разного рода *«бывших людей»*, выбитых из жизненной колеи, Горький подаёт эту тему в совершенно новом развороте в пьесе «На дне» (1902). Он добивается исключительной силы обличения общественной системы, обрекающей многих, подобно обитателям ночлежки, на столь плачевное и ужасающее прозябание.

Кардинально трансформируя традиционные каноны жанра, писатель выдвигает тип социально-философской драмы, где внешнее действие перестаёт играть ведущую роль, а движущей силой конфликта становится борьба идей. Узел их противостояния завязан на столкновении душеспасительных иллюзий божьего странника Луки (евангельское имя!) и страстных сентенций Сатина о высоком назначении человека, о его праве на свободу и труд (знаменитое *«Человек!.. Это звучит гордо»*).

Пьеса «На дне» с наибольшей остротой передавала ярко выраженную социально-критическую настроенность, характерную для всей драматургии Горького первой половины 1900-х годов («Мещане» (1901), «Дачники» (1904), «Дети солнца» и «Варвары» (обе 1905)). Она была обращена по преимуществу к жизни «среднего» класса, в том числе к интеллигенции, и в разных ракурсах поднимала самые животрепещущие вопросы того времени. Самый ходовой из них, созвучный настрою чеховских пьес тех же лет, был сформулирован в тираде из «Дачников»: *«Разве можно так жить, как мы живём? Яркой, красивой жизни хочет душа, а вокруг нас проклятая суета...»*

Но писатель идёт дальше. Он показывает размежевание общества в условиях надвигающегося социального взрыва, столкновение несовместимых типов мироощущения:

– аполитичность, безразличие, примиренческое отношение к происходящему одним;

– мелочный эгоизм и «улиточное» существование других;

- вырождение и неспособность к истинно творческой деятельности третьих;
- моральное варварство четвёртых.

Всему этому шлейфу обывательщины и закиселого консерватизма противопоставлен энтузиазм здоровых сил, готовых принять участие в коренных преобразованиях.

И сам автор находился в деятельном поиске путей обновления России. С этой целью он предпринимает поездку за океан, результатом которой стала книга публицистических очерков «В Америке» (1906).

То, каким он воспринял сконденсированный опыт капиталистической цивилизации, оказалось для него под сплошным знаком «минус» и категорически неприемлемым. Как посланец аграрной и патриархальной в своей сущности страны он отнёсся к увиденному в зарубежной жизни с нескрываемым отвращением.

Квинтэссенцию этого неприятия даёт памфлет «Город Жёлтого Дьявола», где главная цитадель заатлантического континента предстаёт как крошечный ад, уготованный современному человечеству. Свои сугубо негативные впечатления от увиденного автор описывает, не стесняя себя в выражениях, с убойственным сарказмом, с предельной заострённостью и гиперболизацией.

Благодаря этой заведомой и демонстративной тенденциозности авторского взгляда, удаётся, словно скальпелем, вскрыть язвы урбанизированного существования Нью-Йорка, о котором писатель говорит с ненавистью, ужасом и болью.

«Как огромные черви, ползут локомотивы, крикают, подобно жирным уткам, рожки автомобилей, угрюмо воет электричество, душный воздух напоён тысячами ревущих звуков. Скользят по воде океана, как допотопные чудовища, огромные железные суда, мелькают, точно голодные хищники, маленькие катера.

Город дышит в небо тучами дыма и сопит, как обжора, страдающий ожирением. Войдя в него, чувствуешь, что ты попал в желудок из камня и железа – в желудок, который проглотил несколько миллионов людей и растирает, переваривает их...»

Определяя это как «хаос безумия» («Это не жизнь, это безумие») и метафорически воспринимая город как некий «жадный и грязный желудок обжора, который впал от жадности в идиотизм и с диким рёвом скота пожирает мозги и нервы», писатель воссоздаёт образ таинственного чудовища, управляющего обезчеловечиванием жизни.

Имя этого монстра вынесено в заголовок памфлета – *Жёлтый Дьявол* (разумея золото, власть денег), который, *«хитро усмехаясь, строит для всех одну огромную, но тесную тюрьму»*. Здесь люди обречены на жизнь *«без солнца, без несен и счастья, в плену тяжёлого труда»*, и она безрадостна даже в вечерние часы отдыха: *«Не слышно смеха, нет весёлого говора и не блестят улыбки»*.

В конечном счёте, антипатия Горького к городу Жёлтого Дьявола основана прежде всего на негуманной сути его мироустройства: *«Никогда ещё люди не казались мне так ничтожны, так порабощены»*, и о таких людях ему *«страшно и больно говорить»*.

Оттакаживающие впечатления от положения дел в одной из лидирующих стран капиталистического мира укрепили Горького в мысли, что для отсталой, горемычной, «лапотной» России плодотворное обновление и преобразование должно быть связано с социалистическим движением. В этой мысли писателя поддерживало и сильнейшее нарастание освободительной борьбы,

вылившееся в Первую русскую революцию, в которой он принимал непосредственное участие.

Когда Горький утверждал в известном письме Чехову: «...настало время нужды в героическом...», – он уже подразумевал не стихийный бунт мятежных одиночек с их романтическим ореолом, а организованное движение масс, ставящее перед собой совершенно конкретные и реальные задачи. И в массе этой в качестве главного действующего лица он начинает выделять фигуру пролетария.

Впервые подобное произошло в романе «Фома Гордеев», а в следующем за ним романе «Трое» изверившемуся главному герою уже весьма отчётливо противопоставлен рабочий Грачёв (как говорится, грач – птица весенняя, то есть предвещающая обновление), нашедший правду в социалистическом кружке. Затем в первой горьковской пьесе «Мещане» появился машинист Нил – так и на сцену впервые был выведен русский рабочий как активный герой, жаждущий переделывать мир.

Свою кульминацию эта линия обрела в двух произведениях 1906 года, которые нередко причисляют к вершинным созданиям Горького 1900-х: пьеса «Враги» и роман «Мать».

В романе «Мать» Горький заведомо тенденциозен. Он концентрирует мрачное, тяжёлое, отталкивающее в обрисовке прежнего, застоявшегося жизненного уклада и в немалой степени идеализирует идущее ему на смену. Хотя следует признать, что сквозь призму видения старой Ниловны подмечаются недостатки носителей нового и, прежде всего, нехватка человечности, доброты в их чисто житейских поступках. В этом писатель безусловно прозорлив, уже угадывая авторитарность и командный тон будущих правофланговых Советской власти.

Тем не менее он приветствует молодые побегии иной жизни, и более всего его радует процесс духовного выпрямления рядового человека, преодолевающего былую темноту и задвленность. Это для Горького – самое главное, потому всё основное в романе вращается вокруг матери Павла Власова, всё увидено её глазами, всё проведено через её сознание.

Пробуждение народа в целом – вот что занимало Горького в первую очередь. Поэтому такой силой наполнен превосходно написанный очерк «Девятое января» (1907) и веет оптимизмом от повести «Лето» (1909), где по-новому изображено крестьянство, к которому он всегда относился с большой настороженностью.

Отмеченное выше обращение Горького 1900-х годов к крупным литературным формам (роман и драма) носило не просто количественный характер – это знаменовало совершенно иной масштаб его писательского кругозора и неизмеримо более широкий охват реалий окружающего мира. Ему удалось в полной мере передать взрывоопасную атмосферу времени и ритм стремительно обновляющейся действительности.

Сделав героем трудовую массу и вырастающую из неё фигуру борца за другое жизнеустройство, писатель закладывал фундамент той литературы, которую впоследствии стали соотносить с понятием *социалистический реализм*, и, что важнее, – той литературы, которой предстояло со временем перерасти в литературу советской эпохи.

В 1910-е годы Горький явственно тяготел к цикличности творческих замыслов. Это обнаруживает даже серия новых пьес, где во всевозможных ракурсах показывается процесс распада буржуазного класса («Чуда-

ки», «Дети», «Васса Железнова», «Фальшивая монета», «Зыковы», «Старик», «Яков Богомолов»).

Диалогия повестей «Городок Окуров» (1910), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1911) и примыкающие к ним «Записки доктора Ряхина» (1912) составили так называемый окурковский цикл, в котором писатель во многом отталкивался от впечатлений времён своей ссылки в Арзамас. Здесь сплелись разные нити отношения к уездной жизни.

С одной стороны, заметно стремление автора с пониманием всмотреться в пёстрый мирок «малой» России, оторванной от культуры, оценить своеобразие ущербных и вместе с тем колоритных типажей. С другой – желание показать одуряюще однообразное существование в «звериной глуши», где гнездится косная власть мещанства, которая душит всякое проявление живой мысли, и за внешним благообразием которой могут таиться жестокость, насилие.

И ещё одна антитеза: провинциальное прозябание, «дремучий» застой порождают пассивность, неспособность человека распорядиться своей судьбой, что оборачивается трагедией бессмысленно прожитой жизни. Но тем не менее оказывается, что под влиянием революционных событий даже здесь начинается брожение и возникает смутная тяга к неведомому.

С двумя «сюитами» иносказательного склада – «Сказки об Италии» (1911–1913), «Русские сказки» (1912–1917) – по контрасту выступает большая серия сугубо реалистических повествований «По Руси» (1912–1917). Она выростала постепенно. Первые одиннадцать рассказов были опубликованы в 1912–1913 годах, остальные восемнадцать появились в печати в 1915–1917, и все вместе писатель объединил в цикл в 1923 году.

Их могло быть и больше, и меньше, они различаются по складу – чаще всего это не столько рассказы, сколько очерки, зарисовки, наброски, эпизоды, впечатления, воспоминания о судьбах и характерах людей или просто о случаях из жизни. Так что в целом перед нами скорее мозаика, но в пёстрой череде частных формиреется объёмная картина российской реальности начала XX века.

«Непонятно грубая и жестокая, убийственно скучная, грязная, нищенская и больная жизнь... её ненужность, бессмыслие, безобразие...» («Нилушка») – вот такой донельзя неприглядной виделась писателю картина России начала XX века. И по этой причине в качестве абсолютно необходимого среди мрака и скверны возникал в сознании человека мираж *желаемого*.

Или среди беспредельно скучной, однообразной, постылой жизни рождается мучительная жажда просвета в ней. И пусть изредка, но мелькнёт порой в круговерти людской чистое, доброе, разумное существо, светлая голова с мечтой об ином, лучшем.



Фото 1907 года

Среди всяческой гнили и смрада объявится вдруг *«лёгкий человек»* (это название одного из рассказов), который может хорошо сказать об одном из желанных чувств: *«Разве есть что лучше любви? Ты только подумай – что такое ночь? Все обнимаются, целуются – эх ты, брат! Это – такое, знаешь... этого даже и не назовёшь никак! Действительно, послал нам Бог радость»*.

Возвышаясь над серой обыденностью, взыграет подчас «солнечным зайчиком» весёлое, шумное сборище провинциальной интеллигенции, блистающее умом, образованностью («Вечер у Шамова»). Но главное для Горького – Россия *«маленьких великих людей»*, где таится сила несметная, где есть ширь, размах, простор, где встречается *«здоровый, литой народ... бородастое, доброе зверьё»* («Едут...»). И наперекор тусклому унынию вскипает там временами безоглядная радость жизни.

«Над землёй стоит весенний гул, задорен смех, бойки прибаутки, благозвонно поют колокола, и надо всем радостно царит пресветлое солнце. Сияет солнце, как бы внушая ласково: «Прощается вам, людишки – земная тварь – всё прощается, живите бойко!»

В раскрытии национального характера Горькому присуща внутренняя диалектика. Допустим, в рассказе «Ледоход» его русский мужик отнюдь не прост, вороват, изворотлив и говорит про себя: *«Что ни делай, как ни кружись, ну – без хитрости, без обману никак нельзя прожить, такая жизнь»*.

Но он же при желании может быть дельным, мастеровитым, искусным, а в трудных обстоятельствах способным на поступок. И вот, собрав в кулак волю-силу, из обычного мужичка вырос *«воевода-человек, который, идя впереди людей, заботливо, умно и властно вёл их за собою»*.

Эта диалектика ярко высвечена в рассказе «Рождение человека», который стал зачином цикла и который сам писатель больше всего любил из своих вещей. Как сплетаются здесь контрасты обездоленности и отрады, убогого и прекрасного, суетного и возвышенного!

Кульминацией становится момент, когда ничем не примечательная, грешная русская баба, только что обезображенная нечеловеческой болью родовых схваток, разрешившись младенцем, испытывает великое просветление. И свидетель происшедшего видит, как *«насквозь промытые слезами страданий удивительно расцветают, горят её бездонные глаза синим огнём... она улыбается всё ярче – так хорошо и ярко, что я почти слепо от этой улыбки»*. И вот женщина склоняется над новорождённым.

«– Господи, Боженька! Хорошо-то как, хорошо! И так бы всё – шла, всё бы шла, до самого аж до краю света, а он бы, сынок, – рос, да всё бы рос на приволье, коло матерней груди, родимушка моя...»

Из сопричастия с подобным в жизни рождается звучное, многозначачее авторское резюме:

«Превосходная должность – быть на земле человеком, сколько видишь чудесного, как мучительно сладко волнуется сердце в тихом восхищении пред красотой!»

Ну да – порою бывает трудно, вся грудь нальётся жгучей ненавистью и тоска жадно сосёт кровь сердца, но это – не навсегда дано, да ведь и солнцу часто очень грустно смотреть на людей: так много потрудилось оно для них, а – не удалась людишки...

Разумеется, есть немало и хороших, но – их надобно починить или – лучше – переделать заново...»

В цикле «По Руси» часто поминается категория *«неудавшихся людей»* – людей с задатками, выделяющихся из серой массы, но по разным причинам не сумевших реализовать свой потенциал. Один из них стал героем повести «Хозяин» (1913), которую во многих изданиях достаточно правомерно присоединяют к рассмотренной выше серии рассказов.

Здесь совершенно в том же роде обрисована низовая Россия начала XX века, с жизнью скудной, подневольной и донельзя тусклой, лишённой смысла и цели. В толпе работников проблески хорошего, доброго тонут в грязном цинизме и злобном кураже: *«Всё какие-то невспаханные души: густо и обильно поросли они сорной травой, а занесёт случайно ветер пшеничное зерно – росток его хиреет, пропадает».*

Центральный персонаж повести – собирательный тип сермяжного русского предпринимателя, который старается всех держать в кулаке: работников – палкой и грубостью, начальство – пряником, то бишь звонкой монетой. Горький с брезгливостью набрасывает его портрет: разевшийся, напоминал огромного, уродливого цыплёнка, говорил визгливо, да ещё *«от него исходили душные, жирные запахи, как от помойной ямы в жаркий день».* Не лишённый ума, этот крутой самодур отличался завидным самомнением и жаждал заправлять большими делами.

Автор, узнав о его бегстве после сфальсифицированного банкротства, делает такой вывод: *«Живёт некто, пытается что-то создать, стягивает в руло своих намерений множество чужих сил, умов и воель, пожирает массу человеческого труда и вдруг – капризно бросает всё недоделанным, недостроенным, да часто и самого себя выбрасывает вон из жизни».*

И этот *«неудавшийся человек»* в некотором роде становится синонимом России, которую Горький воспринимал *«неудавшейся»* страной. К ней, как и к тому самому хозяину, относится печальное: *«Жалко его до боли – всё равно, кто б он ни был, жалко бесплодно погибающую силу».*

В «Хозяине» и цикле «Русь» очень важную роль играет фигура рассказчика. Он активно *«вмешивается»* в происходящее, самым непосредственным образом реагирует на него. Донося жестокую правду жизни народа, всей душой печалась о нём, так что его *«сердце угрюмо сжимается великой, неизбывной, на всю жизнь данной тоскою»* (рассказ «Женщина»), ему представляется, как, глядя на души человеческие, Богородица скажет Христу: *«Вот до чего запуганы люди Твои на земле и как непривычна им радость! Хорошо ли это, Сыне мой?»* («Покойник»).

Более того, получается так, что рассказчик постоянно живёт тем, о чём повествует, и с ним в сюжеты часто входит то новое, чего так недостаёт окружающей жизни – безусловно позитивные задатки, чуткость к людским несчастьям и бедам, отзывчивость на страдания и красоту мира. Он ищет доброе, разумное и всячески поддерживает это в других.



Фото 1910 года

Следовательно, в данном случае речь должна идти не просто о значимости авторского начала – это открытый автобиографизм, что стало отличительной чертой писательской манеры Горького 1910-х годов (примечателен в данном отношении подзаголовок повести «Хозяин» – *Страница автобиографии*).

Отмеченная тенденция своё прямое выражение получила в знаменитой автобиографической трилогии повестей «Детство» (1913), «В людях» (1914), «Мои университеты» (1922). В них поэтапно запечатлён путь человека из низов к высотам культуры. Способный к духовному саморазвитию, он пробивается к ним сквозь густой слой мерзостей жизни, в преодолении неисчислимых внешних препятствий и противоречий собственного сознания.

Рассматривая этот цикл, обратимся к его двум первым частям, так как последняя, создававшаяся после перерыва в семь-восемь лет, во многом принадлежит следующей фазе творческой эволюции Горького.

Плохое, неприглядное в жизни, окружавшее в детстве и отрочестве писателя, господствовало и подавляло. Дикие нравы и просто зверства царили в семье деда, который особенно часто рукоприкладствовал в отношении любимой бабушки Алексея.

«Он бросился на неё и стал быстро колотить кулаками по большой голове бабушки. (...) Я, с полатей, стал бросать в них подушки, одеяла, сапоги с печи, но разъярённый дед не замечал этого, бабушка же свалилась на пол, он бил голову её ногами».

Однажды бабушка рассказала мальчику о его отце. Когда-то он жил в семье деда, дядья Алексея невзлюбили его и однажды надумали погубить. Шли зимой из гостей вместе с ним, заманили на пруд и столкнули его в прорубь.

«– Ну, столкнули они его в воду-то, он вынырнул, схватился руками за край проруби, а они давай бить его по рукам, все пальцы ему растоптали каблуками. Счастье его – был он трезвый, а они – пьяные, он как-то, с Божьей помощью, вытянулся подо льдом-то, держится вверх лицом посередь проруби, дышит, а они не могут достать его, покидали некоторое время в голову-то ему ледышками и ушли – дескать, сам потонет!»

Отец Алексея выжил и не выдал обидчиков. Звали его Максим – может быть, памятуя о его добросердечии, писатель ввёл это имя в свой псевдоним.

Как и память об отце, в сознании мальчика откладывались редкие мгновения светлого, отрадного. Более всего это было связано с образом бабушки.

«Говорила она, как-то особенно выпевая слова, и они легко укреплялись в памяти моей, похожие на цветы, такие же ласковые, яркие, сочные. Когда она улыбалась, её тёмные, как вишни, зрачки расширились, вспыхивая невыразимо приятным светом, улыбка весело обнажала белые крепкие зубы, и, несмотря на множество морщин в тёмной коже щёк, всё лицо казалось молодым и светлым. Вся она – тёмная, но светилась изнутри, через глаза, неугасимым, весёлым и тёплым светом».

До неё как будто спал я, спрятанный в темноте, но явилась она, разбудила, вывела на свет, связала всё вокруг меня в непрерывную нить, сплела всё в разноцветное кружево и сразу стала на всю жизнь другом, самым близким сердцу моему, самым понятным и дорогим человеком. Это её бескорыстная любовь к миру обогатила меня, насытив крепкой силой для трудной жизни».

Повзрослев, отрок, на своё удивление, порой обнаруживал, что в некоторых грубоватых душах таится чувствительная струна. Один такой, повар

Смурый, больше похожий на зверя, заставлял служившего ему Алёшу читать книги.

И сам Алёша, читая книгу за книгой, находил в них не только отдушину от тягот и дрязг пакостного существования, но и в своём нравственном становлении приходил к выводу о необходимости переделать и собственную жизнь, и всю жизнь вокруг. *«И так хочется дать хороший пинок всей земле и себе самому, чтобы всё и сам я завертелось радостным вихрем, праздничной пляской людей, влюблённых друг в друга, в эту жизнь, начатую ради другой жизни – красивой, бодрой, честной...»*

Но это оставалось только мечтой, благим пожеланием. Реальность, когда-то пережитая ребёнком и подростком, побуждала автора и в 1914 году, году завершения второй повести, во всеуслышание заявлять: *«Подлой и грязной жизнью живём все мы!»* От неё в ясное утро хочется бежать в поля, поскольку *«уж я знаю, что люди, как всегда, запачкают светлый день»* и поскольку царит то гнусное прозябание, где повсюду суесловие, зависть, злоба, пьянство и драки, где *«лаются друг с другом, как злые псы»*.

Таков печальный сказ о вопиющей нескладности русской жизни и русского человека. И как можно заключить, ореол этого сказа выходит далеко за пределы двух первых повестей автобиографической трилогии, распространяясь на весь основной массив произведений писателя 1910-х годов.

В отмеченном можно усмотреть чуть ли не склонность к мизантропии. На самом деле, резко критический взгляд писателя был обусловлен глубоко выношенной болью за Отечество и соотечественников. И именно эта боль побудила его в своё время взять для себя псевдоним *Горький*.

А в том, что подобная настроенность столь интенсивно сказалась в 1910-е годы, вероятно, свою роль сыграла общеисторическая ситуация некоего интермеццо, когда после социального подъёма на рубеже XX века многое в стране как бы «зависло» в неопределённости и невнятности предгрозового затишья.

1920-е годы стали для творчества Горького временем перепутья. Время это начиналось с момента Октябрьской революции, которую писатель воспринял критически.

Казалось бы, он был её Буревестником, и в согласии с его мечтаниями всё и вся в жизни страны менялось коренным образом и менялось для народа, о котором он так радел. Но писатель неожиданно усомнился и в публицистической книге *«Несвоевременные мысли»* (1918) резко критиковал взятый Лениным курс радикальных преобразований, говорил об их преждевременности, об опасности анархии и разрушительных последствий (к слову, невзирая на авторитет Горького, новая власть вскоре запретила эту книгу).

Растерянность перед лицом происходящих событий, осознание огромных трудностей времени и множества различного рода отрицательных явлений, пессимистическая оценка кардинальной ломки получили проекцию в его лучшем произведении первых послеоктябрьских лет – мемуарном очерке *«Лев Толстой»* (1919, окончательная версия – 1923).

Написанный в трудную пору идейных исканий писателя, он воссоздаёт портрет до крайности противоречивой натуры, и всё здесь подчинено тому, чтобы раскрыть драматизм фигуры Толстого, всячески акцентируя *«борение двух начал в духе его»* (тому же по-своему служит и структура сложной «мозаичной» композиции).



Фото 1904 года

Во многом проекцией острого духовного кризиса тех лет стала и последняя книга автобиографической трилогии – «Мои университеты» (1922). Её герой находится в мучительных поисках смысла жизни, напряжённо вглядывается в окружающий мир, переполненный противоречиями, пытается преодолеть «трагических хаос» существования, вырваться из идейного тупика (характерная деталь – описывается постигшее его в своё время разочарование в движении народников). Тяжёлый пресс зигзагов и козней судьбы, нарастающее чувство одиночества и беспомощности приводят к драматической кульминации: к попытке самоубийства.

Повесть «Мои университеты» с предыдущими частями трилогии объединяют мотив нравственного становления и характерное для мирозерцания Горького весьма насторожённое отношение к низовой массе. На этот счёт можно привести эпизод, когда, возвращаясь в кругу студентов народнического толка, он не мог согласиться с их представлением о народе. *«Я с изумлением и недоверием к себе чувствовал, что на эту тему не могу думать так, как думают эти люди. Для них народ являлся воплощением мудрости, духовной красоты и добросердечия, существом почти богоподобным, вместилищем начал всего прекрасного, справедливого, величественного.*

Я не знал такого народа. Я видел плотников, грузчиков, каменщиков, знал Якова, Осипа, Григория, а тут говорили именно о единосушном народе и ставили себя куда-то ниже его, в зависимости от его воли. Мне же казалось, что именно эти люди воплощают в себе красоту и силу мысли, в них сосредоточена и горит добрая, человеколюбивая воля к жизни, к свободе строительства её по каким-то новым канонам человеколюбия».

И всё тем же остаётся выношенное на собственном многострадальном опыте представление о скверных повадках этого народа. Клеймящая фраза о русской жизни, которая неоднократно звучала прежде, повторяет-

ся и здесь: «свинцовые мерзости». Одно из наблюдений – ходовое в литературе: «человек добр, люди злы» – изложено у Горького так: «Да, я видел, что в каждом из этих людей, взятом отдельно, не много злобы, а часто и совсем нет её. Это, в сущности, добрые звери – любого из них нетрудно заставить улыбнуться детской улыбкой, любой будет слушать с доверием ребёнка рассказы о поисках разума и счастья, о подвигах великодушия.

Но когда на сельских сходах или в трактире на берегу эти люди соберутся серой кучей, они прячут куда-то всё своё хорошее и облачаются, как попы, в фizes лжи и лицемерия, в них начинает играть собачья угодливость перед сильными или охватывает волчья злоба. Ощетинясь, оскалив зубы, они дико воют друг на друга, готовы драться из-за пустяка. В эти минуты они страшны и могут разрушить церковь, куда ещё вчера шли кротко и покорно, как овцы в хлев».

К повести «Мои университеты» примыкает серия рассказов 1922–1923 годов о жизни писателя («Как я учился», «Время Короленко», «О первой любви» и др.), оставшихся фрагментами неосуществлённого замысла четвертой части художественной автобиографии.

На тот же этап творчества приходится расцвет жанра, который получил обозначение *литературный портрет*. Его истоки восходят к очерку «А. П. Чехов» – примечательно, что, написанный в 1905 году, свой окончательный облик он обрёл в 1923-м.

Второе рождение этого жанра приходится на 1919 год, когда появился упоминавшийся выше очерк «Лев Толстой», где был обозначен уровень, до которого прежде русская литература не поднималась.

В перечне из 29 произведений подобного рода преобладают фигуры литераторов (Леонид Андреев, Александр Блок, Сергей Есенин и т. д.), но одним из самых удачных стал очерк «В. И. Ленин» (1924, вторая редакция – 1931).

Каким бы ни было в посткоммунистические времена наше отношение к этому историческому лицу, нет оснований для отнесения сказанного Горьким к области мифопоэтики. И потому, что он был из тех, кто близко знал Ленина, и говорит он о нём очень искренне, с убеждающей правдивостью. И потому, что перед нами подлинный шедевр эссеистики в ранге большой литературы, а это с точки зрения искусства делает его истиной в последней инстанции.

Возможно, долю тенденциозности можно усмотреть в единственном. Писатель был недоволен первоначальным текстом, опубликованным в год смерти Ленина. Работая над окончательной версией уже в начале 1930-х, он интуитивно или осознанно привнёс в текст завуалированное противопоставление того, за кем закрепили формулу «самый человечный человек» (В. Маяковский), новоявленному «вождю народов».

По смысловой плотности текста с обилием событий и характеристик перед нами – настоящая повесть. Этот внутренний масштаб позволил обрисовать личность исключительно одарённую, сумевшую подчинить все силы главной цели – революционному преобразованию мира.

При всём том писатель отмечает в нём завидную полноту жизнепроявления. Это был «прекрасный товарищ, весёлый человек, с живым и неутомимым интересом ко всему в мире». Он находил время для чтения художественной литературы и для слушания музыкальной классики, «умел с одиноким увлечением играть в шахматы, рассматривать «Историю костюма», удить рыбу...» и очень любил смешное, забавное, весёлое.

«Никогда я не встречал человека, который умел бы так заразительно смеяться, как смеялся Владимир Ильич. Было даже странно видеть, что

такой суровый реалист, человек, который так хорошо видит, глубоко чувствует неизбежность великих социальных трагедий, может смеяться по-детски, до слёз, захлёбываясь смехом. Большое, крепкое душевное здоровье нужно было иметь, чтобы так смеяться».

Горьковский портрет не имеет ничего общего с идеализацией. Анализируя облик крупной личности, человека с большой буквы, писатель подаёт его образ объёмно, без приукрашивания.

Естественность и непосредственность поведения Ленина («ничего от *«вождя»*) подчёркивается путём сопоставлений с высокомерием аристократичного Плеханова. На сей счёт из уст рабочих звучит: *«Плеханов – наш учитель, наш барин, а Ленин – вождь и товарищ»*. И об отношении к нему тех же рабочих: *«А вот чтобы был другой человек, которого я бы сразу полюбил, как этого, – не верится»* или *«Этот – наш!»*. И ставшее хрестоматийным: *«Прост, как правда»*.

Законченным силуэт вождя делает скульптурно очерченная конфигурация ленинского слова и его внешнего облика – именно в это время и именно таким изображал его в своих скульптурных портретах много работавший с натуры Н. Андреев.

«Произведение классического искусства» – таковым является и сам горьковский очерк, воспринимаемый как воздвигнутый в вербальных формах монумент, чему отвечает литое, ясное, точное, рельефное слово.

Ту же перспективу открывал роман *«Дело Артамоновых»* (1925), где прослеживается история трёх поколений династии фабрикантов от реформ 1861 года до Октябрьской революции, то есть от времени заката крепостного права, когда для России открылся путь капиталистического развития, и до момента, прекратившего существование любых Артамоновых.

В конкретике данного повествования им противопоставлены три поколения семьи ткачей Морозовых, которые постепенно осознают себя подлинными хозяевами жизни. И по ходу изложения столь же постепенно вызревает мысль: предприниматели – вроде бы и «двигатели» всего, однако на поверку они всё более оказываются в стороне, а главные – это те «рабочие люди», руками которых «дело» делается.

Контуры заведомо «производственного романа» писатель позволяет себе изредка «согреть» точечными штрихами поэзии жизни. *«Незаметно подкралась зима, сразу обрушилась на город гулкими метелями, крепкими морозами, завалила улицы и дома сахарными холмами снега, надела ватные шапки на скворешни и главы церквей, заковала белым железом реки и ржавую воду болот...»*

В «Деле Артамоновых» ещё проскальзывают отголоски характерных для Горького первой половины 1920-х годов пессимистических настроений и былого неверия в разумность происходящих радикальных перемен.

Появляется мысль о бессмысленности жизненной суеты на любом её уровне – от мала до велика, от самой низовой сферы до самой высокой. Показательно трезвое суждение одного из персонажей: *«Я вообще нахожу, что революционная деятельность в России – единственное дело для бездарных людей»*.

С середины 1920-х годов в замыслах писателя происходит разворот к формату социально-исторического эпоса, становой жилой которого становится поэтапное движение прежней российской действительности к точке коренного перелома, когда прошлое оказывается порушенным категорически и бесповоротно.

Делая в своих последних трудах сутью концепции художественную «анатомию» русского капитализма, Горький выходит на большие историко-философские обобщения, воссоздавая панораму предреволюционной жизни в самом широком хронологическом диапазоне (в «Деле Артамоновых» это более полувека).

Завершающий взлёт переживает в творчестве Горького в **1930-х годах** драматургия: «Егор Булычов и другие» (1931), «Достигаев и другие» (1933) и примыкающая к ним «Васса Железнова» (созданная в 1910 году, она подверглась коренной переработке в 1935-м). Первые две пьесы образуют единый цикл, в том числе и потому, что многие персонажи переходят из одной в другую.

Общее для всех трёх пьес состоит в том, что, хотя их действие ограничено рамками камерной обстановки, благодаря событийной насыщенности и калейдоскопу контрастных лиц, Горький добивается широты охвата исторического процесса, эпического масштаба происходящего.

При этом социально-философский анализ сочетается с особой сложностью и углублённостью психологических характеристик, а в сравнении с предыдущими сценическими произведениями образы становятся более выпуклыми и пластичными. Посредством социальной заострённости противоставлений этих образов драматург раскрывает обречённость прежнего миропорядка, его вырождение и исторически закономерную неизбежность перемен.

Мысль о нравственной несостоятельности класса собственников была заложена уже в исходном сюжете «Вассы Железновой», где делается акцент на несовместимости корыстолюбия с нормами человечности, осуждается всепоглощающее стремление героини к обогащению, и много в ней, но особенно в её окружении, выглядит зряшным, пустым, потерявшим смысл и стержень.

Любопытно сходство главного героя первой из рассматриваемых пьес Фомы Гордеева из одноимённого романа и Ильи Лунёва в следующем романе, «Трое» (1899-й и 1900 г.). Это опять тот, кто «выламывается» из породившей его среды, что опять-таки получает трагический исход.

Но Егор Булычёв – неизмеримо более крупная и яркая личность с богатым размахом нерастратченных сил, бросающий вызов смерти и Богу. Тревожимый предчувствием гибели прежнего уклада, находясь в процессе внутреннего перерождения, он восстаёт против «царства смрада». Человеческое одерживает верх над собственнической моралью, и прозрение Егора доказывает грядущее торжество нового.

Весь поздний период творчества был посвящён в основном «главной книге» писателя, оставшейся незавершённой. Роман-эпопея в четырёх томах «Жизнь Клима Самгина» (1925–1936) был настолько значим для Горького, что последний год жизни он исчислял написанными страницами и, умирая, произнёс: «*Конец романа – конец героя – конец автора*».



Фото 1923 года

Герой этот представляет собой, мягко говоря, характер весьма противоречивый. Есть в нём и что-то приемлемое, подчас даже хорошее, но есть и нечто смутное, путаное, ещё хуже то, что определяют как сделанное, искусственное, и уж совсем скверно, когда в нём справедливо находят воплощение эгоизма и двуличия.

Писатель с самого начала подчёркивает в его характере фальшь, лицемерие. Скажем, такой из множества штрихов: *«Бабушку никто не любил. Клим, видя это, догадался, что он неплохо сделает, показывая, что только он любит одинокую старуху».*

Или вот Клим оказывается в гимназии и для самозащиты от безжалостного окружения *«он спрятался под защиту скуки, окутав ею себя, как облаком. Он ходил солидной походкой, заложив руки за спину, имел вид мальчика, который занят чем-то очень серьёзным и далёким от шалостей и буйных игр».*

Горький на этот счёт пояснял: *«Я пишу о тех русских людях, которые, как никто иной, умеют выдумать свою жизнь, выдумать самих себя».* Эта выдуманность требовалась, чтобы прикрыть свою внутреннюю незначительность (в рукописи роман первоначально имел заглавие *«История пустой жизни»*).

И ещё одна существенная деталь. Когда утонул один подросток, кто-то из окружающих, появившихся на месте происшествия, вопрошает: *«Да был ли мальчик-то – может, мальчика-то и не было?»* Это ставшее ходовым *«А был ли мальчик?»* – подтекстом адресовано всей жизни Самгина, который в конечном счёте воспринимается как некий фантом: вроде бы и был – а может быть, и не было его.

Что побудило писателя поставить в центр огромного повествования этого, как он считал, типичного интеллигента средней руки, рядящегося в либераль, и просмотреть всю гигантскую массу лиц и событий его глазами и через его рефлексию?

Прежде всего, Самгин в некотором роде подобен гоголевскому Чичикову: ко всему прислушивается и присматривается, губкой впитывая в себя окружающее. Кроме того, этот «индифферент» (что называется, ни рыба ни мясо) в силу обстоятельств в разное время оказывается по разные стороны «баррикад». Наконец, за фигурой Самгина в определённом смысле стоял и сам Горький с его стремлением наблюдать пестроту и многоликость жизни, многому не доверяя, во всём сомневаясь.

Русская жизнь охвачена в романе во всей полноте, и, как правило, это осуществляется через всякого рода суждения, замечания, наблюдения, исходящие от различных действующих в нём лиц.

Допустим, девушка, к которой так влекло Клима, после первых ночей, проведённых в его объятиях, задаётся вопросом, затрагивающим довольно болезненную нравственную проблему (помимо общеизвестных Ромео, Вертера и Манон, здесь называются Ортис – персонаж трагедии Лопе де Вега «Звезда Севильи», и Юлия – героиня романа Руссо «Новая Элоиза»).

«– Клим, не может же быть, чтоб это удовлетворяло тебя? Не может быть, чтоб ради этого погибли Ромео, Вертеры, Ортисы, Юлия и Манон... Согласись, что ведь этого мало для человека!»

Или устами одного персонажа, влюблённого в Москву и всё московское, изрекается: *«Бог наш, как и народ наш, – загадка всему миру».* А другой персонаж язвительно высказывается о натуре русского интеллигента, затрагивая тем самым и нечто коренное в отечественном менталитете (понятно, что под *«его сиятельством из Ясной Поляны»* имеется в виду Лев Толстой):

«У нас ведь так: полижут языками жёлчную печень Михаила Евграфовича Салтыкова, запьют горечь лампадным маслицем фабрики его сиятельства из Ясной Поляны, и – весьма довольны! У нас, главное, было бы о чём поболтать, а жить всячески можно, хоть на кол посади – живут!»

Необъятный «лес» подобных частностей произрастает в хронологическом пространстве самого сложного периода истории России, наполненного острейшими противоречиями. Писатель ставил перед собой задачу *«изобразить все классы, течения, направления, всю адову суматоху конца XIX века и бури начала XX»*.

Воссозданная им *«движущаяся панорама десятилетий»* (А. Луначарский) поражает своей информационной насыщенностью, неисчислимым изобилием лиц, событий и просто фактов повседневной жизни, что побуждало самого автора говорить: *«Кажется, не роман, а хроника»*. И позже: *«Пишу некий роман-хронику»*. Временные границы повествования он помечал для себя с 1880-х по 1918 год, когда Самгин должен был погибнуть среди революционной толпы, но в реальности оно доведено до Февральской революции.

При всей многоплановости и всеохватности воспроизводимого исторического потока магистральным вектором художественного анализа становится запечатление донельзя изменчивого и противоречивого состояния духовной жизни страны. На страницах романа ведётся пронизанный дыханием всепроникающей диалектики углублённый разговор о смысле жизни, о закономерностях развития мировой истории, о формах и пределах познания, о взаимодействии личности с обществом и государством, о культуре и творчестве и т. д.

Ход изложения во многом определяют диалоги, споры, дебаты, словесные поединки, а столкновение идей, мировоззрений зачастую интересует здесь Горького больше, нежели перипетии человеческих судеб. Речи, размышления, философские беседы, дискуссии, проповеди, афоризмы, парадоксы играют настолько существенную роль в развитии сюжета, что *«Жизнь Клима Самгина»* обретает контуры интеллектуально-идеологического эпоса. Для примера можно сослаться на одну из многочисленных сентенций, звучащую в ходе очередного обмена мнениями: *«Материализм – прощя, практичнее и оптимистичней: идеализм – красив, но бесплоден»*.

В романе намечалась узловая проблема первой половины 1930-х: изживаемое индивидуалистически-субъективное, столь характерное для начала XX века, и нарастающая доминанта объективного (через образ эпической громады событий) с вердиктом, характерным для уже вступавшего в свои права нового периода, – либо человек должен подчиниться велениям исторической необходимости, либо он будет сметён, раздавлен. Так что «двойное дно» натуры Самгина словно бы намекало на необходимость приспособления к надличным факторам социума, то есть предвосхищало путь конформизма, как почти неизбежный вариант выживания человека советской эпохи.

Другой, более опосредованный аспект актуализации можно усмотреть в ощутимой оппозиции к радикальным проявлениям (бунтарство, революционный запал), с предпочтением постулативно-эволюционных форм общественного прогресса, что стало преобладающим в этико-эстетической платформе 1930–1950-х годов. Это заявлено уже в первом томе, исходя из наблюдений над спорами народников и марксистов, где ошутим складывавшийся «консерватизм» авторской позиции.

«Клим был убеждён, что ошибаются и те и другие, он не мог думать иначе, но не усваивал, для какой группы наиболее обязателен закон

постепенного и мирного развития жизни... Было невыносимо видеть болтливых людишек, которым глупость юности внушила дерзкое желание подтолкнуть, подхлестнуть веками узаконенное равномерное движение жизни».

И ещё одно резонировало литературе 1930-х годов: в сущности, в определённом отношении «Жизнь Клима Самгина» – это роман воспитания, расцвет которого наблюдался в те годы. Но, помимо несопоставимости объёма и эпического масштаба, требуется поправка в том отношении, что горьковская эпопея не вписывалась в систему советского образа жизни – она трактовала дидактический предмет неизмеримо более широко, опираясь на многогранный опыт времени рубежа и начала XX столетия.

В письме Р. Роллану Горький отмечал: *«Роману придаю значение итога всему, что мною сделано».* Итог этот по достоинству увенчал большой путь писателя – эпопею «Жизнь Клима Самгина» по широте охвата действительности и концепционной глубине сравнивают с такими произведениями, как «Божественная Комедия» Данте, «Фауст» Гёте, «Человеческая комедия» Бальзака, «Ругон-Маккары» Золя, «Война и мир» Толстого.

Столь высокой оценке отвечал стиль монументального реализма, имеющий дело с гигантскими историческими событиями, с громадными людскими массами, с безграничным миром идей и потому использующий всё многоцветие словесной палитры.

Максиму Горькому было что сказать о жизни вообще и о жизни России в особенности. Он знал эту жизнь как никто, изведав её буквально во всех измерениях – от самого «дна» до самых больших духовных высот. Колоссальный бытийный опыт дополнялся необходимыми для творца искусства острой писательской зоркостью, поразительной наблюдательностью и цепкой памятью на людские характеры и житейские подробности.

Отсюда исключительное многообразие срезов жизни, неисчислимая галерея всевозможных типажей и человеческих судеб с охватом любых слоёв российского общества. Поднимая пласт за пластом бытия, Горький раскрывал болезненные противоречия действительности своего времени.

Для него, исконного демократа, вышедшего из народа и писавшего прежде всего о народе, один из самых жгучих вопросов состоял в том, что громадные массы людей пребывают в мрачных тенётах *«свинцовых мерзостей»* низменного существования. Именно отсюда вёл своё происхождение избранный им литературный псевдоним, и *горький* взгляд на окружающее оставался коренной сутью его мировидения.

Борьба социальных сил, которая составляла главное содержание русской жизни того времени, была и главным содержанием творчества Горького. Почитавший его Р. Роллан, имея в виду март как месяц появления писателя на мир Божий, считал это своего рода знамением. *«Вы родились на ущербе зимы, на рубеже зарождающейся весны. Это совпадение символизирует Вашу жизнь, которая была связана с гибелью старого мира и с возникновением мира нового. Вы были подобно высокой арке, соединяющей два мира – прошлый и будущий».*

Горький пророчествовал кануны крушения прежнего мира «хозяев», а заодно и ненавистного ему мещанства как силы, враждебной всему подлинно разумному и достойному человека. Вывод, к которому подводили многие его произведения: переустройство жизни началось, и остановить этот процесс невозможно. Едва ли не центральным героем творчества писателя стал

современник, мучительно трудно сознающий необходимость кардинальных преобразований и вступающий на путь их осуществления.

К. Бальмонт в стихотворении «Горькому» (первая половина 1900-х годов) попытался выразить сложное переплетение в натуре писателя контрастов, содержащих в себе её глубинные сущности (приводятся фрагменты).

...Ты пришёл со дна глубокого, чудовищного, мутного.

Мир твой – пропасть.

(...)

Мир твой – яростный протест,

Возмущенье,

Крик ума, неправосудьем долгим скованного.

Горький! Ты пришёл со дна,

Но душою возмущённой любишь нежное, утончённое...

(...)

Ты, томясь во мгле страстей,

В тайне сердца любишь грёзы, сны лесные в их пленительности.

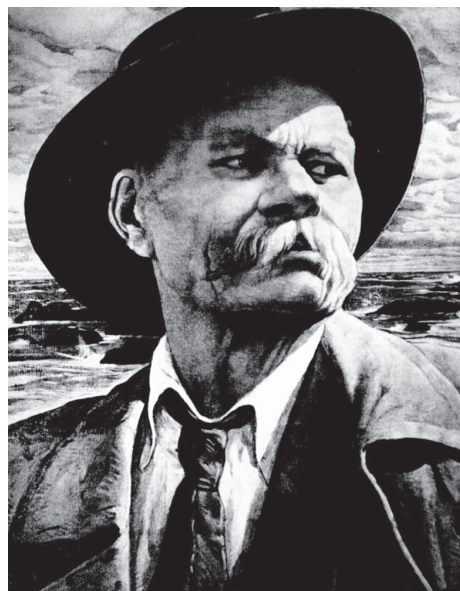
Только что было упомянуто понятие *романтика*, которое по-своему высвечено и в отдельных строках приведённого стихотворения Бальмонта. Несомненно, художественному мышлению Горького было присуще эпизодическое включение элементов романтической поэтики (особенно на этапе раннего творчества). Тем не менее столь же несомненна реалистическая доминанта основного массива его произведений.

Более того, будучи реалистом, он чаще всего предстаёт как *прозаик* в узком значении этого слова. И не только по большому удельному весу неприкрашенной правды – он писал преимущественно о реальной прозе жизни, именно о *прозе*. Этим своим «низовым» видением Горький «любезен» далеко не всей читательской аудитории.

Но в любом случае проза его «густая», сочная, чрезвычайно насыщенная по содержанию и ярко индивидуальная по стилю. Он был мастером поразительно точной характеристики и великим художником слова, изъясняясь ясным, ладным, красивым русским языком.

На базе прозы выросли его крупнейшие художественные достижения – от создания нового типа социального романа до утверждения литературного портрета в качестве самостоятельного жанра. Вслед за Чеховым он разработал новаторские образцы драмы, где конфликт основан не на борьбе любовных или имущественных интересов, а на прямом воздействии на персонажей противоречий действительности.

Творческое наследие Алексея Максимовича Горького оказало



*Портрет А. М. Горького.
Художник И. И. Бродский. 1937 год*

огромное влияние не только на формирование отечественной литературы XX века, но и на развитие всей мировой литературы.

Будучи центральной фигурой литературного процесса своего времени, он внёс главный вклад в художественную летопись России тех лет. Ему выпала честь стать самым крупным из завершителей «золотого века» русской литературы и быть в ряду таких её столпов, как Пушкин, Гоголь, Лермонтов, Достоевский, Толстой, Чехов.

Творческое наследие Максима Горького – главное сокровище художественной культуры нижегородской земли, и не случайно в советские времена Нижний Новгород носил его имя. Ныне там работает Музей-квартира А. М. Горького с филиалом «Домик Каширина» (это дом деда писателя) и установлены два памятника, в том числе работы Веры Мухиной. Дом-музей М. Горького есть и в городе Арзамасе Нижегородской области, где писатель находился в 1901 году в ссылке и быт которого отобразил позже в повести «Городок Окуров».

Не раз Горький бывал и в других городах Поволжья, в том числе в Саратове и Астрахани. А с точки зрения волжской географии примечательно его высказывание, согласно которому телом он родился в Нижнем Новгороде, духовно – в Казани, а как писатель – в Самаре.

Но, конечно же, всегда превалировало нижегородское. С ним связано действие его первого романа «Фома Гордеев» и, естественно, почти всё описываемое в автобиографической трилогии. В её последней части («Мои университеты») находим проникновенное «лирическое отступление»:

«Иногда я выхожу огородами на берег Волги и сижу там, под вѣтлами, глядя сквозь прозрачную завесу ночи вниз, за реку, в луга. Величественно медленное течение Волги, богато позолоченное лучами невидимого солнца, отражёнными луной. Глядя, как течение Волги колеблет парчовую полосу света и зарождённое где-то далеко во тьме исчезает в чёрной тени горного берега, я чувствую, что мысль моя становится бодрой и острой. Могуче движется бархатная полоса тёмной воды, над ней изогнуто простёрлась серебряная полоса Млечного Пути, сверкают золотыми жаворонками большие звёзды, а сердце тихо поёт свои думы о тайнах жизни».



Памятник А. М. Горькому в Нижнем Новгороде
(скульптор И. П. Шмагун, 1957 г.)



АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ: «НЕТ ПОЭТОВ ПОСЛЕДНИХ И ПЕРВЫХ...»



Думается, все наши читатели знают песню, которая начинается такими словами: «Всё перекаты да перекаты, послать бы их по адресу...» Но, наверное, не все назовут имя автора, считая эту песню народной. А между тем автор у этой песни есть. Это учёный с мировым именем, геофизик, доктор геолого-минералогических наук РФ, профессор, заслуженный деятель науки РФ, заслуженный деятель искусств РФ Александр Моисеевич Городницкий.

Быть может, это имя не обладает такой ошеломляющей популярностью, как имя Владимира Высоцкого, но их обоих объединяет одно качество: гениальность, и они равновелики на небо-

склоне, освещающем путь своим современникам. Жизнь Высоцкого оборвалась около 40 лет назад, тогда как все события минувшего времени, включая день сегодняшней, находят отклик в стихах и песнях Александра Городницкого. Порой пророческих. Как, например, это случилось с песней, строки которой: «Севастополь останется русским» – были написаны за восемь лет до присоединения Крыма к России.

Мне было лет двенадцать, когда я записывала строчки песни «Кожаные куртки». Тогда мы не знали её автора, а я по наивности верила её словам: *«Ждите нас, невстреченные школьницы-невесты, в маленьких асфальтовых южных городках...»* – и была уверена, что именно в Саратов, именно ко мне когда-нибудь на своём самолёте прилетят её героини. Отчасти эти мечты сбылись. И жизнь подарила мне возможность задать автору моей самой любимой песни интересующие меня вопросы.

Татьяна Лисина

АЛЕКСАНДР ГОРОДНИЦКИЙ О САМОМ ГЛАВНОМ В ЖИЗНИ

Т. А. *Чем вы сейчас живёте?*

А. Г. В основном литературными делами. Готовлю к печати книгу стихов и песен, которые написаны за последние полтора года. Она будет называться «Различие в возрасте». Дописываю довольно большие куски в книгу воспоминаний – готовится новое переиздание. Не говоря о том, что я должен написать 2–3 научные статьи.

У меня на столе лежат стихи нескольких сотен московских поэтов – я вхожу в жюри конкурса «Поэт года» при Союзе писателей России. И мне прислали на отзыв огромное количество стихов. В марте и апреле этого года планируются авторские концерты в связи с моим грядущим 85-летним юбилеем: 24 марта – в концертном зале Санкт-Петербурга, 29 марта – в Центральном доме литераторов в Москве, 4 апреля – в Доме музыки в Москве, и заключительный авторский концерт – в Большом зале филармонии Санкт-Петербурга 6 апреля.

В эти же дни завершается Международный конкурс детского творчества, посвящённый моему юбилею. Это рисунки, научные работы, исполнительское мастерство... Потом в Царском Селе должна открыться выставка, посвящённая моей скромной персоне. Но всё это, как писал в дневниках Лев Николаевич Толстой, «е.б.ж.», то есть «если буду жив». Конечно. Посмотрим. Во всяком случае, попытаемся. То, что Бог даёт возможность ещё писать стихи, говорит о том, что он пока ко мне милостив.

Т. А. *Какая ваша любимая фраза?*

А. Г. «Верь тому, кто ищет истину, и не доверяй тому, кто говорит, что её нашёл».

Т. А. *Что больше всего цените в людях?*

А. Г. Невозможность предать.

Т. А. *Какую книгу вы считаете любимой?*

А. Г. Как ни странно, «Войну и мир» Толстого.

Т. А. *Каким вы видите будущее своей страны?*

А. Г. Хотел бы видеть его в радужных тонах, однако многие вещи вызывают тревогу.

Т. А. *На какой вопрос вам хотелось бы самому ответить, но вам его никогда не задают?*

А. Г. Не знаю. На старости лет у меня самого возникает много вопросов, на которые я не могу ответить. Это вопросы, которые связаны с пониманием главных вещей, всё-таки я профессор геофизики. Я не могу ответить на вопрос: «Как зародилась жизнь на Земле?» Я не могу ответить на вопрос о появлении человеческого разума. А ведь это главные, узловые вещи. Я не могу ответить на вопрос: «Что такое вдохновение и как оно к человеку приходит?» Появляется ли оно у тебя или тебе его кто-то извне даёт, а потом забирает. Очень много есть вещей, которые я очень хорошо понимал в детстве, и особенно в 10-м классе, на которые я легко отвечал, цитируя классиков марксизма-ленинизма, труды которых я знал, как отличник, на «отлично», а сейчас на большинство этих вопросов ответить не могу.

Т. А. *А вы не допускаете мысль, что человек, жизнь на Земле, разум – всё это создано Богом?*

А. Г. Допускаю, Татьяна, допускаю. Другое дело, что понимать под этим словом. Неслучайно у мудрых евреев Бога нельзя называть по имени, потому что они не знают, что ЭТО такое. И мы не знаем, что ЭТО такое. Но то, что ЭТО существует, в конце жизни мне трудно не признать.

Т. А. *Мне очень отрадно это слышать от вас. В чём для вас смысл жизни?*

А. Г. Чтобы потом, когда меня не будет, люди вспоминали меня добром и хотя бы что-то помнили из того, что мне позволено было сделать в моей жизни и что удалось.

Т. А. *Оказавшись перед Богом, что вы Ему скажете?*

А. Г. Главное не то, что я Ему скажу, а то, что Он мне скажет.

Т. А. *А как вы думаете, что Он вам скажет?*

А. Г. Вот это и мне интересно! Я не знаю. Если бы я это знал... Вот Высоцкий написал: «Мне есть что спеть, представ перед Всевышним, и есть чем оправдаться перед Ним». Мне, наверное, оправдаться нечем. Не знаю. Я не настолько самоуверен, чтобы повторить слова Володи относительно себя. Он был гениальный человек. Я себя таким не считаю.

Т. А. *Александр Моисеевич, вы – гениальный человек, и вы в этом даже не сомневайтесь! Самый лучший, ценный совет, который вам дали?*

А. Г. Интересный вопрос. (Долго думает.) Трудности в том, что я всю жизнь прожил в Стране Советов, где советов было много. Они все касались разных вещей. Я бы сформулировал своё отношение к советам так: «Не верь мудрым советам, а верь своей интуиции». Мне давали самые разные советы по части стихов. В том числе очень уважаемые люди, поэты. Некоторые говорили: «Брось и не пиши, ты бездарен». Это было давно. Павел Григорьевич Антокольский говорил: «Зачем ты пишешь песни? Брось! У тебя стихи хорошие!» Мне советовали вступить в партию, чтобы я смог загладить мой врождённый грех, что я – еврей, после чего мне обещали более высокие должности. Мне давали неправильные советы врачи, которые чуть не привели меня к инвалидности или к тому, что я не дожил бы до этого нашего разговора. Мне в жизни давали столько разных советов!.. И почти все они были неправильными.

Т. А. *Говорят, что каждый капитан должен иметь на плечах свою голову.*

А. Г. Конечно! Все проблемы надо решать самому. Думать надо самому. И никто за тебя их не решит. Самые лучшие советы, по существу, запечатлены в христианских или, ещё раньше, – в ветхозаветных заповедях: не укра-

ди, не убей... Но в них нет одного, очень важного для нашей страны совета: не доноси!

30 января 2018 года в Санкт-Петербургском музее Анны Ахматовой отмечали 50-летие знаменитого доноса, написанного в адрес молодых ленинградских поэтов и писателей в 1968 году после литературного вечера в Ленинградском доме писателей. Я вместе с Иосифом Бродским и Сергеем Довлатовым был одним из основных фигурантов этого доноса.

У нас есть много профессиональных праздников. В нашей стране надо было давно как своеобразный праздник учредить День доносчика, потому что и в те времена, когда был написан этот донос, и в наше время у нас скорость стука опережает скорость звука. По-моему, самый страшный грех для человека – это доносительство. А нас приучали к этому с детства. Потому что нашим героем с самого раннего детства был Павлик Морозов – человек, который донёс на своих родителей. Это серьёзная проблема.

Т. А. *Что для вас главное в жизни?*

А. Г. Любовь.

Т. А. *Чего бы вы хотели от будущего?*

А. Г. Чтобы оно сделало людей счастливыми, независимо от того, где они живут.

Т. А. *Что бы вы назвали главным успехом в своей жизни?*

А. Г. Какую-нибудь одну мою песенку, которую будут петь после моей смерти и не вспоминать имени автора.

Т. А. *Как вы думаете, какая это будет песня?*

А. Г. Не знаю. Может быть, это будет «От злой тоски не матерись!..»

Т. А. *Может быть, «Кожаные куртки»?*

А. Г. А может, «Над Канадой небо сине...»

О ПОЛИТИКЕ И ГЕОЛОГИИ

Т. А. *Александр Моисеевич, конечно, история не терпит сослогательно-го наклонения, но... как известно из вашей книги, 19 августа 1991 года вы пошли к Белому Дому «защищать демократию». Всем известно, что происходило после этого. Как вы поступили бы сейчас в подобной ситуации? Не чувствуете ли вы, что ошиблись ТОГДА?*

А. Г. Нет, не чувствую. Я это сделал не только и не столько для того, чтобы добиться чего-нибудь реального в нашем обществе, сколько для того, чтобы снять с себя кандалы раба, в которых я всё-таки был. Потому что после того, как я это сделал, меня уже обратно в мышеловку загнать невозможно. После этого я во многом стал свободным человеком.

Т. А. *Александр Моисеевич, скажите, каков, по вашему, вклад в мировую океанологию и гидрографию отечественных учёных?*

А. Г. Я считаю, что он очень велик. Отечественные учёные внесли огромный вклад, несмотря на то, что мы не можем в этом отношении равняться по тем деньгам, которые потрачены на эти исследования в США. Россия внесла большой вклад в изучение Мирового океана. Это нашло отражение в мировых картах, на которых много русских имён в самых разных местах Мирового океана: и в Тихом океане, и в Атлантическом, и др. И, кроме того, нами было сделано несколько капитальных открытий, которые подтверждают, что наша страна одна из ведущих стран в изучении Мирового океана.

Счастлив, что и мне удалось приложить к этому руку. Что в своей научной работе мне удалось кое-что сделать впервые в мире. Например, расчи-

тать мощностъ твёрдой оболочки нашей планеты, литосферы, под Мировым океаном, что было потом подтверждено сейсмологическими исследованиями; открыты наличие в водной толще океана электрического поля, изучить природу магнитных аномалий в океане, и кое-что ещё.

Т. А. Развивается ли сейчас отечественная наука в этих направлениях и каково место наших учёных в мировой науке?

А. Г. Наука в России сейчас в очень трудном положении. Особенно фундаментальная. Наша научная молодёжь, к большому сожалению, (только сейчас спохватились!) уезжает за рубеж, потому что у нас, особенно в экспериментальных направлениях, нужны большие материальные вложения для того, чтобы поднимать науку. К сожалению, Академию Наук практически разогнали, поставив сверху чиновничий аппарат. И, честно говоря, если не будет каких-то очень больших принципиальных изменений этого положения, то с нашей наукой ничего хорошего не будет.

Т. А. Работают ли сейчас молодые учёные в ведущих западных институтах и лабораториях?

А. Г. Да, работают. Лучше бы они работали у нас! Мне начинают говорить: «Какая разница, где сделано открытие – здесь или там?» Но мне, как российскому учёному, всё-таки очень хотелось бы, чтобы открытия совершались здесь, у нас, в нашем Отечестве. А у нас, смотрите, сколько Нобелевских лауреатов с русскими именами, но все эти работы сделаны уже на Западе. Это внушает тревогу.

Т. А. Океанология и гидрография – точные науки. Сейчас, когда в связи с политической обстановкой приходится вводить «импортозамещение», какова доля отечественного измерительного и исследовательского оборудования в этой сфере?

А. Г. Я думаю, что минимальная. Потому что, например, у меня в лаборатории приходится подавать заявки на новую аппаратуру для измерения магнитного поля океана. Почти все образцы, которые мы заказываем, иностранного производства. Даже того, что у нас было, сейчас нет.

Т. А. Используются ли российские технологические разработки в этой сфере на Западе?

А. Г. Раньше использовались, сейчас не знаю. Что касается «мозгового аппарата», он у нас, слава Богу, ещё есть. Но, к сожалению, отсутствие реализации и технологической базы (то есть элементов для радиосхем и т. д.) всё это сильно тормозит.

Т. А. Какие перспективы в будущем у таких отечественных разработок?

А. Г. Если не будет ничего изменено в отношении к науке, то перспективы тяжёлые. Не вижу перспектив. Нужно что-то менять. И срочно. Потом будет поздно.

Т. А. В Интернете появилась информация, что зафиксированы странные звуки, которые доносятся со дна Красного моря. Звуки доставляют большой дискомфорт ныряльщикам. Очевидцы рассказывают о непонятных шумах, потрескиваниях и стуках, доносящихся из глубин. Как вы думаете, что это может быть?

А. Г. Скорее всего, это может быть связано с активизацией тектонически активной рифтовой трещины, пересекающей дно Красного моря. Кстати, на дне Красного моря недавно нашли остатки войска фараона, которое было утоплено цунами, когда Моисей выводил свой народ из Египта. Я писал об этом пару лет назад в своей книге «Загадки и мифы науки» и рассказывал в научно-популярном фильме «Легенды и мифы Александра Городницкого». Мои догадки подтвердились.

О ПОЭТАХ И СТИХАХ

Т. А. Известно, что вы дружили с Высоцким. По-настоящему. При жизни, когда это было небезопасно. И вот после его посмертного признания появилось огромное количество его «друзей», которые, в лучшем случае, один раз мимоходом поздоровались за руку с Бардом. Доводилось ли вам общаться с такими людьми?

А. Г. Я не считаю себя близким другом Высоцкого, потому что я встречался с ним всего несколько раз – мы жили в разных городах. Это был один из крупнейших поэтов XX века, отмеченный гениальностью. И после его смерти появилось много прихлебателей, которые бьют себя в грудь и кричат, что они – его лучшие друзья. Так же, как теперь, на его юбилейных вечерах старые актрисы прямо перед телекамерой не стесняются рассказывать о том, как они с ним где-то случайно переспали. Я отношусь к этому отрицательно.

Я не Высоцкий. Когда помру, не знаю, что и как там будет. Но, думаю, у моих друзей не будет основания бить себя в грудь и кричать. Кстати, несколько дней назад я написал стишок на эту тему:

*Какие лычки ни нашей,
Уйдёшь и ты, в забвенье канув.
В России любят алкашей,
Распутников и наркоманов.
Народ всегда за них горой,
Их обожая без утайки.
Лишь тот в стране у нас герой,
О ком потом слагают байки.
О нём, рассыпаться грозя,
Похмельные слагают были
Его старинные друзья,
Что вместе с ним когда-то пили.
В сиянье телепередач,
Морщины укрывая мазью,
Актрисы старые, хоть плачь,
Кичатся с ним случайной связью.
И снова бередят умы
Толпы ликующие крики,
Мол, он такой же, как и мы,
И, значит, мы равновелики.
И не подумает никто,
Как ни печальна эта повесть,
Что любят вовсе не за то,
Что выпивали и кололись.*

Т. А. Прочитайте, пожалуйста, ещё несколько своих последних стихотворений.

*А. Г. Не сыскать в океане безбрежном
Твоего поколения след.
Ощущаешь к нему принадлежность,
Лишь когда поколения нет.
Продолжается время, и всё же,
Ожидая последний звонок,*

*Ты в толпе одиноких прохожих
Понимаешь, что ты одинок.
Понимаешь, что ты не чета им,
Ощущая в душе уют.
Наши книги они не читают,
Наши песни они не поют.
Между Волгой, Невой и Доном,
Где привычны картинки в окне,
Никуда не уехав из дома,
Ты в чужой оказался стране,
Где, с эпохой своею в разлуке,
От ушедших друзей вдалеке,
Замечаешь, что дети и внуки
На другом говорят языке.*

И вот ещё одно стихотворение, недавно написанное:

ЧУЖАЯ ЛИРА

*Постепенно с годами состарясь,
Понапрасну жалею опять,
Что за долгую жизнь на гитаре
Не сумел научиться играть.
Там, где зекам назначены сроки,
Где полярные ночи длинны,
Наших песен нехитрые строки
Безо всякой рождались струны.
В занесённый снегами Сибири,
От московского дома вдали,
О воспетой державинской лире
И мечтать мы тогда не могли.
В том суровом краю полночном,
Где метель, не поднять головы,
Инструмент пятиструнный непрочный
Уберечь невозможно, увы.
Я поэтам другим не соперник.
Понимаю с течением лет:
Нет поэтов последних и первых,
Каждый первый, когда он поэт.
Пополнять не намерен, скажу я,
Соискателей шумную рать.
Не давайте мне лиру чужую –
Я на ней не умею играть.*

Беседовала Татьяна ЛИСИНА



**Анна
МОРКОВИНА**

СНЕЖНЫЕ ЯГОДЫ В ПАМЯТЬ О МАСТЕРЕ



**К столетию со дня рождения
Дмитрия Александровича Лядова**

Как много важного приходит к нам случайно... Из беседы по Интернету с выпускником Саратовского театрального училища, живущим ныне в Германии, я узнала имя Дмитрия Александровича Лядова, Мастера – так студенты-театралы называют своего педагога по мастерству актёра, – со дня рождения которого (21 февраля, по другим источникам – 4 марта) исполнилось 100 лет.

Театральное искусство – древнейшее, важное для формирования души, мировоззрения человека – сиюминутно. Накал страстей, буря эмоций в течение двух-трёх часов – и, не будучи записанным на плёнку, спектакль остаётся лишь в воспоминаниях зрителей. А оттуда со временем стираются, вымываются редчайшие, драгоценные крохи, составляющие память.

Но, к счастью, остаются воспоминания близких и родных, фотографии и документы, памятник... Памятник на могиле **Дмитрия Александровича Лядова** (1918–1978) на еврейском кладбище Саратова зимой засыпан огромным слоем снега. Рядом – скамеечка, две раскидистые берёзы, посаженные женой и сыном, и куст снежных ягод – снежника.

На здании, где находилось театральное училище (теперь там располагается часть духовной семинарии с библиотекой), поме-

-
- Анна Юрьевна Морковина родилась в 1968 году. Окончила филологический факультет Саратовского государственного университета им. Н.Г. Чернышевского (специальность – «Журналистика») в 1990 году и аспирантуру Московского института культуры в 2015 году. Поэт, член Союза журналистов, главный библиотекарь Саратовской областной библиотеки для детей и юношества имени А.С. Пушкина, заведующая Пушкинским сектором. Член Ассоциации свободных поэтических объединений (АСПО) Саратовской области, Международной гильдии писателей (МГП).

щена мемориальная доска, гласящая, что театральную науку постигал здесь Олег Иванович Янковский, знаменитый артист театра и кино, один из учеников Дмитрия Александровича. Другой знаменитый выпускник талантливого педагога – Владимир Конкин, живущий ныне в Москве. В столице же работает актриса Виолетта Стекольников, в Волгограде – Светлана Кленина, в Гамбурге – Юрий Шрадер (Лошадкин)... В Саратове прославились артисты драматического театра Валентина Федотова и Людмила Гришина.

Теперь разбросанные по всему миру выпускники Дим Саныча (так называли любимого педагога его ученики) вспоминают свои первые уроки по мастерству актёра, истории театра, сценической речи... А также вспоминают другие уроки – доброты, дружбы, соучастия, которые преподнёс им Дмитрий Лядов. Этот замечательный человек, беззаветно преданный своей профессии, перенес два инфаркта, ушёл из жизни, не доведя свой последний курс до дипломных спектаклей. Ему было всего шестьдесят лет.

Молодёжь сейчас определяет значимость, успешность личности по наличию информации о нём на престижных сайтах. Информация о Дмитрие Лядове есть на многих интернет-порталах, например, «Кино-театр.ру», сайтах Саратовской областной научной библиотеки и, конечно, консерватории. Есть и ещё один источник – виртуальное генеалогическое древо, «выращенное» внучкой Дмитрия Александровича – Еленой Михель (Лядовой), ныне живущей с семьёй в Одессе – на родине своего знаменитого деда.

Будущий заслуженный артист РСФСР был потомственным театралом. Его отец служил в Одесском русском драматическом театре, в архиве которого можно найти афиши с его именем и ролями. Отец не прочил сыну творческой карьеры и отдал его в ФЗУ. Но ученик печатника Дмитрий Лядов всё-таки окончил Одесское театральное училище и, начав с небольших ролей, поступил на службу в Самарский театр драмы. Оттуда в 1939 году был призван в ряды РККА.

В годы Великой Отечественной войны шла уже иная служба: до 1947 года на Дальнем Востоке в Дальневосточном театре Красной Армии и ансамбле песни и пляски под руководством И. Моисеева. Вместе с любимой женой Любовью Вацлавовной гастролировали и в Монголии, где родился единственный сын Александр. Итогом военных лет стало несколько наград, в том числе орден Красной Звезды.

После демобилизации работал до 1958 года в Томском драмтеатре, где сыграл множество ролей; всякий раз, перевоплощаясь, создавал совершенно непохожий на остальные художественный образ. Он был весьма разноплановым – и комедийным, и драматическим актёром, любил гримироваться, менять облик, не повторяться рисунком ролей. На счету Д. А. Лядова роли Тихона из «Грозы» А. Н. Островского, Пети Тро-



*Д. Лядов в спектакле «Убийцы»
(Ирвин Шоу)*



*В спектакле
«Маскарад»
(М. Лермонтов)*



*В спектакле
«Бронепоезд»
(Вс. Иванов)*

фимова из «Вишнёвого сада» А. П. Чехова, Диего из «Испанского священника» Дж. Флетчера, Мурзавецкого из «Волков и овец» А. Н. Островского и многие другие.

Став главным режиссёром Саратовского театра драмы им. К. Маркса, свою творческую манеру он привнёс в работу над спектаклями. Многим запомнилась постановка «Антония и Клеопатры» по Шекспиру, благодаря тому внутреннему огню, которым режиссёр зажигал сердца и души актёров и зрителей этого действия. Всего на счету Лядова-постановщика около 25 спектаклей на саратовской сцене.

Сейчас всё это словно под толстым слоем снега (на самом деле – снега забвения!) погребено в памяти близких, родных и учеников Дмитрия Александровича. Но страница его жизни навсегда вписана в книгу памяти Саратовского театрального училища, в саратовскую культуру.

ЕЛЕНА МИХЕЛЬ: «ДЕДУШКА БЫЛ ОЧЕНЬ ДОТОШНЫМ ЧЕЛОВЕКОМ...»

28 января я пообщалась по Viber/Watsap с Еленой Александровной Михель (Лядовой) – внучкой режиссёра Дмитрия Александровича Лядова. Елена родилась в Саратове, окончила биофак СГУ им. Н. Г. Чернышевского, а затем вышла замуж за одессита и живёт со своей семьёй на родине своего легендарного деда.

Анна Морковина

А.М. Елена, здравствуйте! Вы хорошо знаете историю своей семьи? Поделитесь, пожалуйста.



Любовь Вацлавовна Лядова (Левина)

Е.М. Здравствуйте! Да, я сейчас занимаюсь генеалогическими разысканиями, мне интересно строить своё родословное древо, заниматься с архивными материалами. Например, в Одессе я нашла могилу своей прабабушки, полузаброшенную, ведь долгое время за ней никто не ухаживал. Обратилась и к истории Одесского русского драматического театра. И нашла! Ведь прадед, Александр Иосифович Лядов, был актёром, и в архиве театра можно увидеть афиши спектаклей, в которых он играл. Например, «Каменотёсы»...

А.М. Ну, а можете ли вспомнить что-либо о Дмитриии Александровиче?

Е.М. ...Мне было 10 лет, когда не стало деда. Конечно, я хорошо помню и его, и бабушку Любовь Вацлавовну, которая тоже была актрисой и работала диктором на Саратовском радио.

Дед с бабушкой прекрасно понимали, что студенты театрального училища, приезжавшие из других городов, живут в тесноте в общежитии, питаются так себе... И всегда старались пригласить к себе, подкормить...

Я помню, как студенты любили дедушку, звали его только Дим Санычем – он им так разрешал себя называть. Вспоминаю, как девочкой играю или уроки делаю, вдруг слышу, снизу кто-то кричит громко: «Дим Саныч! Дим Саныч!» Я говорю: «Бабушка, там какой-то ненормальный кричит!» Она выглянула: «А-а, да это Володенька Конкин с девушкой приехал...»

А.М. *А вы видели какие-то дипломные спектакли? Помните, как дедушка готовился к ним?*

Е.М. Мне кажется, я хорошо помню «Безымянную звезду». Дедушке эта пьеса М. Себастиану попала прямо из Румынии, от родни, которая там жила. Так что он начал работу над дипломным спектаклем ещё до того, как был снят знаменитый фильм с Вертинской, Костоловским и Козаковым. Дедушка был очень дотошным человеком, он всегда интересовался деталями костюмов, внешностью героев... Поэтому у него кондуктор или начальник станции были точь-в-точь в таких мундирах, как в Бухаресте в то время... Он, конечно, требовательно относился к своим студентам. Помню исполнителей главных ролей – Юрия Лошакина, Виолетту Селянину... Помню, как он пропал на репетициях, нервничал... И какой трагедией стал его уход...

Виолетта СТЕКОЛЬЩИКОВА (Селянина)

ПОМНЮ И БУДУ ПОМНИТЬ

О педагоге Дмитрие Александровиче Лядове у меня самые добрые воспоминания.

Было время, когда сами мастера театральных училищ устраивали предварительные прослушивания в разных уголках Советского Союза. Как говорится: «Мы ищем таланты!» Дмитрий Александрович приехал в мой родной город Волгоград, прослушивания состоялись в ТЮЗе. Потом меня вызвали в Саратов на основные экзамены. После первого тура подошёл ко мне Лядов (он мне поначалу показался очень строгим), спросил о моём отношении к учёбе, объясняя это тем, что «довольно часто сталкивался с такой проблемой, когда девушки такого

● Виолетта Викторовна Стекольщикова (Селянина) родилась в 1957 году в Волгограде. В 1980 году окончила актёрский факультет Саратовского театрального училища им. И.А. Слонова (ныне – театральный институт Саратовской консерватории им. Л.В. Собинова), курс Лядова Д.А.

плана, как я, подводили курс замужеством, и т.д.». Он ждал от меня ответа: не подведу ли я. «Нет!» – ответила я уверенно твёрдо. Он сразу подобрел и сказал: «Я вас возьму на курс».

Я была очень счастлива, но всё равно волновалась, когда сдавала экзамены.

Ура! Театральное училище! Знакомство с азами театрального искусства и с нашим несравненным Мастером Дим Санычем! Он позволил в своё время к себе так обращаться своему курсу, своим ученикам. И мы все, любя, называли его Дим Санычем. Весь свой талант, всю свою энергию и своё драгоценное время он отдавал нам, своим любимым ученикам.

Когда репетировал, для него не существовало времени. Наш курс всегда заканчивал занятия поздно. Выходя из училища вместе с нами, Дим Саныч продолжал давать нам дельные советы не только по актёрскому мастерству, но и как себя вести в разных жизненных ситуациях.

Мастер для всех нас был как родной отец: всегда старался прийти на помощь, если она была кому-то необходима. Помню, как он переживал, когда у меня было сотрясение мозга. Мою маму знал заочно, писал ей письма, советовал, как подлечить меня, волновался о моём здоровье, «надо бы откормить: нужны силы для нашей профессии...» Просил в письме мою маму положить поздравительную открытку с днём рождения под подушку, чтобы для меня это было неожиданностью. И мне было так приятно, что сам Мастер поздравляет меня с моим Днём!

Как-то шёл экзамен по сценической речи, я сорвала голос, Дим Саныч помчался со мной в консерваторию к фониатру, потом долго беседовал с ним, а я ждала результат. Он всегда старался каждому помочь. Подобные примеры характеризуют его как доброго, отзывчивого человека. Дим Саныч уже заранее обдумывал, кого и куда будет распределять по театрам. «Тебе, – говорил он, – надо работать в столице, поэтому я тебя отдам в Тулу, к Рахлину, а там и Москва рядом... Будем думать...» Так что если бы был жив наш Мастер, то ни у кого проблем с работой не было бы...

Не только мягким, добрым, но и требовательным был всегда. «Работайте, работайте – не ленитесь! Пополняйте свой багаж, где бы вы ни были, на улице или в транспорте, наблюдайте, фантазируйте! Допустим, перед вами человек. Кто он, откуда – можно определить по одежде, по манере держаться и т.д. Запоминайте яркие моменты, ничего нельзя упускать – всё это пригодится для будущей профессии. Читайте, размышляйте, посещайте спектакли, нельзя расслабляться, работайте, работайте над собой!»

Мы работали по системе Станиславского сначала над этюдами, потом уже серьёзнее – над отрывками из произведений, и к каждому из нас у него был свой индивидуальный подход. Мастер любил и повеселить, разряжая обстановку. Часто называл меня Ветка-самоедка, когда в очередной раз на репетиции я остановилась, сказала, что всё не так делаю. Дим Саныч ответил на это, что непременно на мой день рождения купит большую ложку, а на вопрос: «Зачем?» – последовал ответ: «Чтобы наконец себя съела». И мы дружно и продолжительно смеялись.

У Дмитрия Александровича была большая записная книга – рабочий дневник, куда он записывал своё мнение о каждом из нас, и нам было всегда интересно тайком заглянуть в неё, когда Мастер отлучался на время. И как было приятно узнать, что по амплуа я героиня, подумала: могу играть разные роли от драматических до комических.

У Дим Саныча был грандиозный план по поводу дипломного спектакля «Безымянная звезда», где я должна была сыграть Мону. Он уже делился с нами своими задумками, какие были замечательные стихи, музыка! Спек-

такль обещал быть ярким, красочным, из песен и танцев, где присутствовали бы нотки от драматизма до комизма. И «Коварство и любовь», где я сыграла бы Леди Мильфорд.

Вот и юбилей у нашего Мастера – 60 лет! Дарим настенные часы, со смыслом – чтоб чаще отдыхал.

Но... Что-то в последнее время я стала замечать: то посуда разбивается, то огромное зеркало разбила на уроке танца – ну как тут не поверить в приметы?! Перед Новым годом наш Мастер лёг в больницу – сердце... Я на все праздники уезжала домой, к родным, и перед отъездом зашла к Дим Саньчу в больницу. «Опять ты уезжаешь, – сказал он, – прошу, не уезжай сейчас...» И всё-таки я попрощалась и уехала. Но недолго была в Волгограде – пришлось вернуться на похороны.

Разбилось наше счастье как зеркало души! Помню прощание в училище, потом на кладбище. Было красиво, шёл снег, и такая тишина, будто сама природа прощалась с нашим любимым Мастером! Любовь Вацлавовна, жена его, держит в руках тот самый рабочий дневник и кладёт в гроб. «Зачем вы это делаете?» – спрашиваю. «Чтобы ему не скучно было, он умер именно в то время, на каком остановились подаренные вами часы. Как он вас любил!»

С тех пор я никогда не дарю и не принимаю в подарок часы, даже если это было просто совпадение.

На следующий день я была на занятии, училище было пустым. У меня урок вокала, и я пела песню «Милый друг». Не было слёз, было желание только бы отвлечься. Зашла Екатерина Алексеевна Габаева, дослушала до конца песню, потом обняла меня, и мы обе разрыдались.

Мой дорогой, мой славный, мой любимый МАСТЕР, пока живу, всегда помню и буду помнить! Спасибо за то, что вы были в моей судьбе, принимали участие в моём становлении! Приношу огромную благодарность!



*Мона – Виолетта Стекольниковна,
и Григ – Юрий Шрадер*



Михаил
МУЛЛИН

О русской армии с любовью и без лжи

В.И. Шабает. Но слово было дано... — Саратов, «Новый ветер», 2018. — 252 с.

Эта книга обрадовала многих читателей уже тем, что в ней представлен свежий взгляд на армию России. Картины солдатского быта и учёбы не трафаретны и, что особенно важно, не поверхностны и не схематичны. Писал явно профессионал — как военного дела, так и писательского. Доботно сделана книга и с добротой. Диалоги героев в ней по-армейски без длиннот, а речь их, несмотря на то, что многие, вроде бы, должны быть одинаковыми (по возрасту и казарменному положению), зачастую вполне персонифицирована. Нередко они выражают мысли даже афористично: «Дружба, кроме всего прочего, предполагает честность между друзьями, даже в мелочах». Да и запоминающихся портретов немало. Вот, например, как зримо (а ведь дело происходит почти в полной темноте, в котлоиде, казалось бы, и лица-то разглядеть невозможно!) изображена бабка непутёвого Вани Грозного (между прочим, сам Ваня потом оказывается псевдо-Грозным, что делает его характер «выпуклым», а повествование — интригующим).

«По причине ночной сырости плечи её укрывал длинный чёрный шарф, концы которого ниспадали спереди почти до самой земли. Его украшали темно-вишнёвого цвета блёстки, зловеще вспыхивавшие при каждом её движении, словно это были не обыкновенные стекляшки, а застывшие капли крови. Брови на суровом лице были сдвинуты к переносице, губы плотно сжаты. Но больше всего Петра поразили её волосы. Они были заплетены в косу, которая, совершив вокруг её головы вверху три полных оборота, венчала её голову, словно корона».

Колоритная старуха. Причём «изнутри» сразу видна даже больше, чем снаружи,

то есть характер героини уже предсказан, и её дальнейшее поведение выглядит и логичным, и психо... логичным.

Однако этот рассказ (в сборник включены повесть и шесть рассказов) к армии отношения не имеет, поэтому вернёмся к главной теме.

А в заглавной повести прозаического сборника главным и уж точно любимым (при явно любимых других) героем писателя является старшина Павел Петрович Вершинин. Он носитель и выразитель основных идей и мыслей автора.

Над вопросом: «На ком армия держится?» — задумываются многие и часто. Как правило, главными (при многочисленных допусках) становятся две крайние точки зрения: «в бою всё решает солдат» или «всё определяют полководцы». Оба этих соображения вполне аргументированно обосновать можно. Но вот в повести Шабаета главного героя сначала представляют... заочно. Один попутчик в поезде, показывая фото сослуживца, говорит другому: «...армия бы лишилась одного из лучших своих **старшин**» (Выделено мною. — М.М.). А читатель тут вполне может усомниться в невосполнимости такой потери: «Подумаешь, потеря для целой армии! Не маршала же и не Главного конструктора! Уж старшин-то сколько угодно — не тот, так другой с обязанностями справится!» Так сказать, не об этом ли говорится в песне «Отряд не заметил потери бойца»?

Но ещё задолго до прочтения романа тот же читатель неизбежно сделает вывод: «Выходит, что старшина-то, может быть, что-то вроде кирпичика в стене или замкового камня в кладке арки или свода, вынь его — и самые весомые каменные (гранитные и мраморные) блоки, сиречь генера-

лы и маршалы, останутся без опоры — разрушится «свод», и гениальность полководцев-организаторов просто не сможет проявиться». И ещё вдумчивый читатель может заключить, что армия — цельный, единый живой организм, и все его составляющие частички необходимы.

Писатель, впрочем, подобных заявлений не делает. Но ценность и незаменимость своего героя показывает.

Великий (не побоюсь этого неожиданно определенного!) старшина Павел Петрович Вершинин (говорящая фамилия, между прочим!) тем и хорош, что он прекрасный психолог, выдающийся педагог, развитой и остроумный человек, интеллигент в подлинном смысле этого слова. Зарвавшихся «дедов» ставит на место без грубостей, даже и с юмором — зато уж с долговременным, а не сиюминутным (чего и матюгом можно добиться) результатом.

Однажды за «воспитанием салага» он застаёт старослужащих, издевательски заставляющих молодого солдата отжиматься от пола, к тому же обнаруживших редкую находчивость в оправдание своего дурного дела.

«— Вы всё неправильно поняли, — залепетал Гусев. — Никто никого не воспитывал. Просто в роте говорят, что Сергеев может отжаться от пола пятьдесят раз. Вот мы и решили проверить, правда ли это.

— Надо же, какое совпадение, — старшина улыбнулся, но от этой улыбки у старослужащих мороз пошёл по спине, — вот и я слышу, как в роте говорят, что вы — орлы! И тоже можете отжаться от пола пятьдесят раз.

— Кто это говорит? — растерялся Гусев.

— Да все. А правда это или нет, мы сейчас проверим. — Он сделал шаг в сторону. — Упор лёжа принять! Отжаться пятьдесят раз! (...) — Да, — продолжал Павел, когда старослужащих после двадцатого раза покинули силы, — теперь я вижу, что вы действительно орлы! Только не те, что в небе кружатся, а те, что навоз клюют. Будем считать, что проверку молодому солдату вы устроили по недомыслию. Поэтому на первый раз я вас прощаю. Второго раза не будет. Если я ещё раз застану вас за подобной проверкой, — дав им команду подняться, сказал он, — окажетесь в столовой на «посудомойке». Вы меня поняли?

— Так точно, — не решаясь посмотреть старшине в глаза, отвечали «орлы».

Ну, ещё бы не понять! Таких, чтобы не сумели понять столь доходчивое разъяснение, поискать!..

Однако оказалось, в роте такие «упорные» нашлись!..

Воспитание — великое и государственно важное дело. Но оно и труднейшее. Особенно если воспитывать приходится тех, кто в семье и школе этого «благополучно» избежал. Призванных на действительную срочную службу недорослей и «пугов земли» приходится *перевоспитывать*, иногда в прямом смысле «доводить до ума» для их же пользы и для пользы общества. И тут важны терпение педагога-старшины и последовательность его поступков. Нужна продуманная система мер. Главный герой повести проявляет все эти качества. И если уж один внушительный урок не дал полного результата, то «дело» не забывается им и доводится до логического конца. Так, рядовые «деды» Гусев и Плетнёв, не привыкшие к порядку на «гражданке», не верили и в его возможность в армии. Поэтому «воспитание по-дедовски» молодых солдат продолжили. Но... Вершинин повторяет урок. И оказывается, всё великое — просто!

«Утром на построении Павел вывел «воспитателей» из строя.

— Товарищи солдаты, все помнят басню Крылова про повара и коту Ваську? — неожиданно спросил он. — Для тех, кто её забыл, я напомню. Кот Васька стянул на кухне жареного цыплёнка и ест его на глазах у повара. Повару это не нравится, но вместо того, чтобы кота проучить, он взывает к его совести и грозит ему пальцем. А Васька слушает, да ест. У нас в роте тоже завелись коты. Это даже не коты, а совершенно обнаглели котяры, которые думают, что им, как коту Ваське, всё сойдёт с рук. Вот они, — он указал рукой на Плетнёва и Гусева, — стоят перед вами.

Все засмеялись.

— Эти котяры очень любят по ночам воспитывать молодых солдат, и за этим занятием я их однажды уже поймал. Тогда я их простил, предупредив, что если они не оставят это грязное дело, то окажутся на «посудомойке». Но, видимо, моё предупреждение они пропустили мимо ушей, и этой ночью я их опять застал за старым занятием. Конечно, все мы вправе поступать в жизни так, как считаем необходимым, главное при этом — не потерять уважения к самому себе. Рота, равняйся! Смирно! За систематическое нарушение распорядка дня рядовым Плетнёву и Гусеву объявляю три наряда вне очереди. Отрабатывать будете через сутки, начиная с сегодняшнего дня, — обратился он к ним. — Вы, как старослужащие, должны быть для молодых солдат старшими товарищами, всегда готовыми в трудную минуту прийти им на помощь, чтобы и на «гражданке»

они не раз вспомнили вас добрым словом. А теперь представьте, какими словами вспомнят они вас...

<...> – Почему я наказал их за нарушение распорядка дня? – обратился Павел к роте, – поставив старослужащих в строй. – Будем считать, им повезло, что с их стороны не было рукоприкладства, иначе пришлось бы передать дело в военную прокуратуру. Не забывайте, что вас ждут дома.

Слова старшины произвели на роту сильное впечатление (ещё бы не произвести! – М.М.), и не один из тех, кто стоял в строю, почесал у себя в затылке. Вечером того же дня те, кто очень любил воспитывать молодых солдат, отправились на «посудомойку».

Вот это воспитание! Настоящее, действенное!

А армейский юмор – не салонный, грубоватый, но единственно необходимый в «коктейле» совместно с другими «ингредиентами» воспитания – «укрощения строптивых». Ведь надо же учитывать, что возраст проходящих действительную службу – это возраст сопротивления взрослому авторитетам, возраст испровергательства и самоутверждения, становления взрослой личности. У старшины должны быть «нюх» и такт, чтобы помочь этому становлению, а не сломать индивидуальность.

Таким образом, ясно, что Павел Вершинин – старшина и педагог от Бога. Талантлив и на своём месте. В нём харизма. Его слово – дело. И дело со словом не расходится. Между прочим, это не только убеждает молодых солдат в справедливости строгого командира, но и приводит каждого из них к выводу: соблюдение уставных требований, что называется, выгодно им же: облегчает и жизнь, и выполнение конкретного задания, и... просто целесообразно!

Старшина, ломая мерзости «дедовщины», по сути, восстанавливает хотя бы в небольшой частичке армии (роте) старинные русские армейские правила или суворовские принципы «шефства» над новобранцами, что не только гуманно, но и выгодно «старикам» в условиях выполнения армейских заданий. Тем более в условиях (избави от него, Боже!) боя, где взаимовыручка и взаимодоверие помогают и жизнь сохранить, и победу одержать.

И тогда оказывается, что армейский Устав не набор случайных, высосанных из пальца произвольных требований, что Устав – мудр!

Книга Владимира Шабаяева художественно интересна и очень своевременна. Точнее, такие книги нужны были уже давно. Но в чём же её актуальность?

Вспомним кое-что из нашей истории.

В совсем недавнем прошлом много лет подряд об армии было принято сочинять и распространять исключительно негатив. А вот наш писатель-земляк наконец-то уже защищает честь военных, развенчивая разрушительные мифы о них и отказываясь от однобокости взгляда на службу. За это ему честь и слава.

А вот факт из предреволюционной истории.

Теперь-то уже многие знают, что спусковым крючком разрушения исторической царской России в своё время стал знаменитый Приказ № 1, подписанный Керенским. Многолетнее сознательное уничтожение нашей армии прессой и литературой вкупе с «общественными движениями» завершилось именно этим Приказом. А развал армии обес печал развалил великой страны, созданной усилиями многих поколений предков на протяжении тысячелетий.

Согласно этому документу в Русской армии, по сути, отменялось единоначалие: офицеры не могли отдавать приказы, и власть переходила в так называемые солдатские комитеты. Поразительно, но перед уничтожением СССР уже Советская армия подвергалась долгому шельмованию! Сначала это выразилось в антиармейских анекдотах, в коих наши офицеры поголовно выставлялись непременно недоумками, бескультурными, необразованными самодурами, занимающимися либо пьянством, либо исключительно строительством собственных дворцов-дач руками солдат.

Интересно, что отечественные «прогрессисты», начиная как минимум с некоторых декабристов и вплоть до недавнего времени, демонстративно проливали потоки слёз о разнесчастной судьбе русского солдата, подвергаемого, по их мнению, **ненужной** и даже **вредной** «муштре» и «шагистике». Абсурдность таких утверждений слишком уж очевидна, но, как ни странно, не замечается «экспертами», не имеющими ни малейшего представления об армейской службе.

Так вот, одной из заслуг Владимира Шабаяева следует признать то, что в его повести армейский быт вдруг становится понятным, очевидным становится, прежде всего, **его осмысленность**. А учения, в том числе и строевые, оказываются не «муштрой и шагистикой», а установлением (почти нейронных) связей между командиром и рядовыми, развитием солдатского чувствования своей роты как единого организма. Ведь без этого армия просто недееспособна – опыт это много раз подтверждал. Да и сейчас на примере многих армий показывает.

Писатель напрямую этого, правда, тоже не говорит, но предлагает до-думать, что,

кстати, для убеждения читателя значительно надёжнее, чем простое сообщение-резонёрство, пусть даже и трескучее.

Владимир Шабает, отдавший армейской службе немало лет, пишет о ней **со знанием дела**, с нескрываемой любовью и без лжи. При этом он вовсе не оправдывает имеющиеся (теперь во многом, можно бы сказать, «имевшиеся») в армии нехорошие явления. А вскрывает их причину, **объясняет их отнюдь не армейское происхождение** и с помощью главного героя повести показывает, как с ними успешно **можно бороться**. По большому счёту, требуется «всего лишь» честно, профессионально и **талантливо** исполнять свои обязанности!

Кстати, в представлении обывателя та же «дедовщина» – армейский «термин», порождённое армией зло. Но явление возникло отнюдь не в армии – в неё уже приходят воспитанные на «гражданке» будущие «деды-истязатели»: эгоцентристы, маменькины сыночки, самовлюблённые нарциссы, «пупы земли», склонные к садизму – они приходят туда такими, готовыми, как продукт школы, училища, вуза, а чаще всего – семьи. Просто в казарме (замкнутом пространстве) у них появляется возможность заняться этим «самовыражением». А вот армии, наоборот, приходится и удаётся порой поставить их на место – в строй, в расширенном понимании этого слова, сделать членами общества, частью народа и... **настоящими** личностями!

Любовь к армии не лишает автора повести и рассказов объективности – в «его армии» не только тишь да гладь, герои не все в эталоны годятся. В ней, как и в народе (на «гражданке»), водятся самые откровенные «бляки», «буки» и «редиски», ведь армия формируется из народа. Проблемы в армии есть, и они отнюдь не скрываются, а, напротив, выявляются.

Ведь армия для нас – не обуза, а жизненная необходимость. Как справедливо говорил Наполеон, народ, который не хочет кормить свою армию, будет кормить чужую. А писатель Владимир Шабает, видимо, понимает мысль одного из великих (увы, до сих пор не оценённых по достоинству ни нашими историками, ни художественной литературой) российских императоров Александра III, сказавшего: «У России есть только два союзника – это её армия и её флот».

Так какие же они, офицеры? Разные, говорит Шабает. А какова служба солдатская? Тоже разная. Книга честно показывает, что такое хорошо и что такое плохо в нашей армии. В частности, плохо то, что Вершинных в ней меньше, чем объективно требуется. Плохо то, что формали-

сты (этакие фарисеи от армии) затрудняют внедрение вершининских (точнее, суворовских) принципов. Но разве на «гражданке» нет подобного?

Солдаты и офицеры Владимиром Шабаетым не идеализируются. В героях могут прорваться армейское гусарство (в разговорах о женщинах) и здоровый, живой авантюризм.

Так что в армии идёт постоянная «война», например, между командиром бригады Михальчуком и патриотом Павлом Вершининым.

И ведь **старшина**, по большому счёту, побеждает даже **командира бригады!** Морально побеждает. И это очевидно для офицеров и солдат. Потому что сила в Правде.

Вершинин – победитель хотя бы уже потому, что худшую роту в части сделал лучшей именно он. Да, он требователен. Но его требовательность неотделима от заботы о солдате. Не тут ли кроется секрет того, что именно **его** «не по чину» солдаты называют **«батей»?!**

Интересно, что **старшина** Вершинин изображается в повести с нескольких точек зрения: сначала, как отмечалось уже выше, в оценке восхитившегося им **подполковника**, потом – как бы глазами других офицеров и старшин, потом – солдат. Такой приём «фасеточного взгляда» позволяет достичь своеобразной «голографичности» при минимальном объёме, убеждает в объективности писательской оценки героя. Тем более что в ситуациях герой представляется самых разных, в том числе и в довольно нестандартных. Павел Вершинин – несомненно, является положительным героем. Неравнодушным и обязательным. Истинным военным, стало быть, гражданином. Поэтому ставить на место хамов – это, кажется, одно из привычных занятий Вершинина. И делает он это всегда изящно, применяя силу – недюжинную физическую и морально-интеллектуальную.

А положительных героев в художественных произведениях интересно и убедительно изобразить намного труднее, чем какого-нибудь отморозка. Шабает не испугался трудной задачи и справился с нею.

Само название повести и книги «Но слово было дано...» говорит о сквозном образе (или метафоре), так как имеет несколько смыслов сразу, проявляющихся в разных местах по-разному. Но в любом случае оно говорит об ответственности за данное обещание, за каждое сказанное и написанное слово, о недопустимости отступления от долга – писательского или гражданского (воинского). Красивое название и «многослойное».

Пожалуй, стоит добавить, что прежде известный читателю в качестве поэта Владимир Шабаев проявил себя очень достойно и как прозаик. Поэзия в его повести и рассказах сохранилась. Язык добротный. В книге есть не только «армейские будни», но и любовь (да ещё какая!), лирические пейзажи. Приведём в подтверждение последнего утверждения небольшую цитату.

«Стояла ночь. Звенели цикады. В лесу, что тёмной стеной возвышался над дорогой, то и дело слышались какие-то шорохи, но я не обращал на них внимания. И лишь звук хрустнувшей неожиданно в глубине леса ветки (дело происходит в Германии. — М.М.) отозвался в моих ушах ружейным выстрелом. Редкие звёздочки светились в ночном немецком небе. Луна одиноко томилась в вышине, освещая дорогу. Рваные облака, бежавшие над землёю так низко, что казалось, они вот-вот заденут макушки деревьев, имели вид угрюмый и мрачный. Они бежали так быстро, что за ними трудно было уследить, и это вызывало в душе раздражение и досаду. Как же прекрас-

но наше ночное небо! А какие облака! Дух захватывает, когда видишь, как высоко, высоко, величаво и плавно над бескрайними русскими просторами плывут они, словно белые лебеди по усыпанному звёздами ночному небу. Луна безраздельно царствует в вышине, и эти причудливые облака, и этот необъятный простор, и всё, всё, что ни есть в это время на земле и в небе, всё залито её завораживающим, сказочным светом, таким же таинственным и загадочным, как и сама русская душа».

Картина здесь не самоцель. Ею настроение русского офицера передано, состояние его. Нет здесь негатива в оценке природы чужой страны. А некоторая настороженность в заграничном ночном лесу сменяется при воспоминании о родине почти гоголевским лиризмом.

Жаль, что ныне, с отменой прежней идеологии, кажется, нет «Воениздата» в привычном старшему поколению виде. А ведь пора бы начать помогать авторам издавать честные, правдивые книги об армии! Такие, как «Но слово было дано...» Владимира Шабаева.

Елизавета МАРТЫНОВА

По белу свету

Р.Л. Кошкин. Свечение: Стихи. — Москва: Российский писатель; Киров: О-Краткое, 2017. — 128 с.

Стихи Руслана Кошкина не с чьими не спутаешь. Не то чтобы это был какой-то специально разработанный, нарочито созданный поэтический язык, но его острая характерность, органичное соединение архаизмов, книжных слов и просторечия, даже жаргонизмов — следствие неординарного мышления, с его чётко иерархически выстроенной системой ценностей. Для него чёрное — это всегда чёрное, белое — это белое, правда — это правда, ложь, в какие бы одежды она ни рядилась, всегда остаётся ложью, как тьма остаётся тьмою.

Свет же не перестаёт быть светом. Потому и книга эта называется «Свечение». Поэт в ней «высвечивает» главные земные (да и не только земные) истины: «Поиски (...) Света, отделение его от мрака

и всякой серости — задача одновременно и творческая, и душеспасительная. И потому так дорого оно — открывающееся и исходящее ли изнутри, подаваемое ли свыше (как шест или верёвка уходящему в полынью, как надежда), благодатное и благостное — свечение», — пишет автор во вступительном слове к сборнику.

О чём прежде всего говорит поэт? О том, чем жив человек, о связи с родным, с почвой.

Корнями, нитями, нитьями — держи, родная, взгляд мой острый. Спасительны, когда пленительны твои размашистые вёрсты. Ты силой своего воздействия

возносишь сердце к поднебесью.
А почвенность — всегда естественна,
как дух, соединённый с перстью.
(«Почва»)

Стихи взвешенные и выстраданные, написанные и умом, и сердцем. Лирический герой в стихах Руслана Кошкина существует, живёт как человек только в том случае, если он принимает родное, если у него есть почва под ногами и ощущение родства с другими людьми и с Богом. «Поклонюсь я на четыре ветра, / обмахнусь я знаменным крестом / и из жажды Божьего привета / из руин Ему воздвигну дом...»

При этом он себя не теряет, напротив, в тесной связи с родным он обретает себя. «Беспокоиться не изволь: / не пройдут ни печаль ни боль. / Или так: наряду с судьбой, / всё твоё — навсегда с тобой. / И печали, и боль, и крест. / Всё, что было, и всё, что есть. / Всё, что выписано в судьбе, / всё твоё и навек — в тебе...»

(«Своё»)

Позиция абсолютно чёткая, нравственная, патриотичная. «Привычный к травле и к извету, / и к блиндажу, и к шалашу, / я русский дух по белу свету / благословением ношу...»

Не всё благостно в художественном мире этой книги, в ней присутствует ощущение последних времён. Потому и появляются в стихах образы руин, разрушенного и уничтоженного кладбища, покинутой деревни, «антиутопии» из американского фильма — и рядом образ ангела, возвещающего последние времена.

Это далеко не книжные стихи, они живые и современные, и мы узнаём в них картины современности и прочитываем, видим мироощущение современника, человека, живущего рядом с нами.

Вот стихотворение «Времена»:

Вольготные времена!
На дыбу не взволкут,
не вштопают, где спина,
бубновым тузом лоскут —
за вольных речей угар,
за ересь и кутежи.
Токуй, как в глуши, глухарь.
Блажи себе — не тужи.
(...)
Какой забубенный век!
Какой разбитной годок!
Но веет голов поверх
нетутошный холодок.
Из пропасти голубой
следит некошнóй крайкóм
за дольней шальной гурьбой
и ловлю ведёт тайком.

И так этот лов идёт,
что сам не поймёшь: и ты —
казалось, не идиот —
сидишь глухарём в сети.
Какие там рамена —
знай души переминай...
Вольготные времена.
Последние времена?

Лирический герой Руслана Кошкина упорно ищет смысл бытия, оправдания существованию в мире «жути и красоты» (стихотворение «Явь»). Именно крайностью, трагичностью поставленных вопросов оно близко к традициям русской классики.

Это сознательная авторская установка. «Хочется слова, разящего слова, / горького, страшного, но не пустого... / Что-нибудь там о несчастной любви, / снова и вновь — о «тюрьме и разлуке», / «чёрного горя» побольше флюид, / больше отчаянья, пусть ядовит / сок его ягод, съедобных на вид, / больше тоски в каждой букве и звуке...»

(«Безднословие»)

Многие стихи Руслана Кошкина написаны как притчи, сюжетные стихотворные повествования о самых важных вещах, о бездне человеческой жизни, о безднах души, о смысле человеческого существования. Стихотворение «Река» — о течении жизни. «Откуда ты и куда течёшь — расскажи, река...» Так, этими притчами автор помогает читателю высветить важные жизненные истины, бытийные вопросы.

Завершает книгу цикл лирических стихов о человеческих отношениях, о тех незримых нитях, которые соединяют человеческие души. И здесь Руслан Кошкин предстаёт перед нами как мастер любовной и пейзажной лирики, умеющий рисовать — живописать словом, передавать тонкие душевные движения и философски осмыслять противоречия, заложенные в природе человека.

Впрочем, все четыре цикла стихотворений, опубликованных в книге — о «самоопределении, осмыслении и приятии родного...», о «духовной борьбе и противостоянии света и тьмы в душе современника», о «поиске подлинных ценностей и смысла бытия» и об «осмыслении человеческих отношений» (как сказано в аннотации) — тесно связаны друг с другом, прежде всего, твёрдостью нравственной и творческой позиции и авторской индивидуальностью. Перед нами чётко выстроенный мир, авторская вселенная, в которой читатель не заблудится, а поймёт и воспримет и умом и сердцем настоящее, истинное поэтическое слово.



**Татьяна
ЛИСИНА**

ПАМЯТИ ПРОФЕССОРА ПАВЛА НИКОЛАЕВИЧА НИКОЛАЕВА



*Павел Николаевич Николаев
(1881–1943)*

Предвоенные годы... Очередной профессорский обход больных сотрудниками кафедры. В женской палате – подробное обсуждение каждой больной. Подходя к одной из пациенток, профессор обращает внимание на книгу, лежащую у неё на прикроватной тумбочке. Берёт книгу в руки, поднимает, показывает своим сотрудникам и задаёт им неожиданный вопрос: «Скажите, пожалуйста, никто из вас случайно не читал этой книги?» В руке у него все увидели книгу «Дом Черновых» писателя Скитальца.

Одна молодая ассистентка кафедры тут же ответила на вопрос шефа: «Вы знаете, совсем недавно я прочитала эту книгу». Профессор промолчал и начал осматривать больных в палате.

Затем профессор вышел в коридор и подвёл итоги обсуждения диагнозов и лечения только что осмотренных больных. После этого он обратился к сотруднице кафедры, которая прочитала увиденную в палате

книгу, с вопросом: «А какое впечатление на вас лично произвёл доктор Зорин?» Ответ был таким: «Доктор Зорин произвёл на меня двойственное, неоднозначное впечатление. Это, безусловно, талантливый, эрудированный врач. Но человек при этом довольно самолюбивый, гордый, знающий цену не только себе, но и деньгам, которые он получает». (Действие романа происходит до революции.) Профессор после этих слов улыбнулся и лаконично сказал: «Знаете, а ведь доктор Зорин – это я!» Эти слова вогнали ассистентку в краску. Она начала извиняться, но профессор её прервал словами: «Вы всё сказали правильно. Вам не за что просить прощения».

-
- Татьяна Викторовна Лисина родилась и живёт в Саратове. Окончила Саратовский государственный медицинский университет. Работает преподавателем в Саратовском областном медицинском колледже. Член Союза журналистов России. Публиковалась в местных СМИ, в журнале «Волга–XXI век». Автор двух поэтических книг.

А через несколько дней профессор своим сотрудникам по случаю рассказал, что в своё время он был хорошо знаком со Скитальцем. Дело происходило в Симбирске. У Скитальца заболела жена базедовой болезнью (это увеличение и усиление функций щитовидной железы). Николаев её довольно успешно лечил. В процессе их общения пациентка увлеклась врачом, но всячески пыталась это скрыть. Однако это заметил её пронизательный муж, ведь недаром он был писателем. Не теряя хорошего отношения к Николаеву, в романе он приписал ему некоторые отрицательные качества, превратив при этом Павла Николаевича в Николая Павловича.

А теперь перейдём к главному: к личности профессора, который стал заслуженным деятелем науки и вошёл в категорию «Выдающиеся учёные Саратовского медицинского института» (ныне – университета).

Павел Николаевич 16 лет заведовал кафедрой факультетской терапии, расположенной на базе Клинического городка (многие саратовцы знают это лечебное учреждение под названием Третья Советская больница). Он родился в 1881 году в Смоленске в семье служащего. В 1900 году окончил с золотой медалью VI Варшавскую гимназию, а в 1906 – Дерптский университет, получив диплом врача с отличием.

Формирование П. Н. Николаева как учёного началось в Институте экспериментальной медицины, которым руководил всемирно известный академик Иван Петрович Павлов. В этом институте Павел Николаевич Николаев проработал сравнительно недолго – всего два года. Но этого времени ему хватило для того, чтобы досконально изучить основные законы физиологии.

В 1911 году П. Н. Николаев перешёл на практическую работу, став заведующим терапевтическим отделением Губернской больницы в Симбирске (ныне Ульяновск). Через два года он был назначен старшим врачом этой больницы и одновременно директором фельдшерско-акушерского училища. За симбирский период жизни П. Н. Николаев опубликовал шесть научных работ, из которых три были посвящены лечению малярии и возвратного тифа.

В 1920 году Павел Николаевич был избран заведующим клиникой преподавки внутренних болезней медицинского факультета Казанского университета.

Мы не сказали о том, что, ещё будучи сотрудником Института физиологии в Военно-медицинской академии в Санкт-Петербурге, П. Н. Николаев с блеском защитил докторскую диссертацию на тему «К физиологии условного торможения».

С избранием в Казанском университете на должность заведующего клиникой и начинается академическая работа П. Н. Николаева. В Казани им было опубликовано 29 научных работ. По рассказам его учеников, Павел Николаевич пользовался большим авторитетом и уважением у студентов и преподавателей его кафедры.

В 1927 году Павел Николаевич переехал в Саратов, где стал заведующим клиникой факультетской терапии.

К сожалению, оснащённость клиники диагностической аппаратурой оставляла желать лучшего. Поэтому с первых дней работы в Саратове П. Н. Николаев занялся организацией биохимической лаборатории, которая вскоре была оснащена самой новейшей аппаратурой. В клинике была введена полезная традиция: каждый ординатор и ассистент постепенно овладевал многими лабораторными методиками и сам проводил анализы. В самое короткое время клиника превратилась в передовую: в ней на самом современном уровне был поставлен педагогический, лечебный процесс и была обеспечена большая научно-исследовательская работа.

Годы, проведённые в лаборатории Ивана Петровича Павлова, определили будущую научную деятельность Павла Николаевича, характеризующуюся клинико-физиологической направленностью.

П. Н. Николаев – автор 74 научных работ, из которых 11 были изданы отдельно как монографии.

Он уделял большое внимание изучению таких болезней, как малярия, брюшной и возвратный тиф, туберкулёз, которые были очень распространены в те годы, а позднее – болезней сердца и лёгких.

Изучением малярии П. Н. Николаев начал заниматься в 1917–1918 годах. И снова вернулся к этому вопросу в 1929 году и сделал обстоятельный доклад на Первом Поволжском съезде врачей.

Весомый вклад внёс Павел Николаевич Николаев в кардиологию. Ещё на ранних этапах своей деятельности он изучал состояние гемодинамики (движение крови по сосудам и сердцу) при различных заболеваниях сердечно-сосудистой системы.

Проблема недостаточности кровообращения была предметом его длительного изучения. Прежде всего, вместо принятого тогда термина «декомпенсация сердца» он рекомендовал термин «недостаточность сердца» – термин, принятый и в настоящее время. Длительное время он изучал механизм появления отёков при недостаточности сердца.

Среди работ, посвящённых патологии сердечно-сосудистой системы, особое значение имеет его монография, вышедшая в 1923 году «О порхании и мерцании предсердий». Это была первая монография в СССР, посвящённая тяжёлому нарушению сердечного ритма. В ней он одним из первых среди терапевтов Советского Союза подробно изложил основы лечения нарушений сердечного ритма.

Начиная с 1925–1926 годов внимание Николаева привлекли гипертонические состояния. Он одним из первых изучал венозное давление прямым путём.

Павел Николаевич Николаев был одним из лучших ревматологов нашей страны. Он утверждал, что ревматизм поражает во всех случаях сердечно-сосудистую систему (до этого считалось, что ревматизм обязательно поражает суставы, часто не затрагивая сердце). В дальнейшем жизнь подтвердила правильность этого утверждения.

Научные интересы П. Н. Николаева были самыми разносторонними. 16 его научных работ были посвящены диагностике и лечению различных заболеваний почек. Утверждение учёного о том, что в развитии острых нефритов (воспаления почечной ткани) после какой-нибудь инфекции решающую роль играет не внешний фактор, а реакция организма при встрече с этим фактором, имеет важное практическое значение.

Из научных работ Павла Николаевича Николаева в области эндокринологии большое значение имела обстоятельная, с предельной глубиной написанная работа «Болезни желез внутренней секреции».

В тяжёлые годы Великой Отечественной войны условия работы клиники стали очень трудными: отсутствовали многие лекарственные препараты, реактивы, к тому же многие преподаватели были призваны в армию.

Все годы войны П. Н. Николаев был членом госпитального совета и главным терапевтом эвакогоспиталей и гарнизонного госпиталя, неоднократно выезжал и в эвакогоспитали Балакова, Вольска, Аткарска.

Николаев быстро откликнулся на нужды здравоохранения военного времени. За первые два года войны им было опубликовано 12 научных трудов. Свой большой материал по выявлению особенностей клинической патологии

военного времени он обобщил и подготовил рукопись монографии «Избранные вопросы клиники и терапии военного времени». К сожалению, подготовленную к печати рукопись Николаев не успел издать.

Немалая заслуга Павла Николаевича Николаева в том, что он раньше, чем в Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова, изучил и описал клинику травматического шока в годы Великой Отечественной войны.

За время своей профессорской деятельности, в течение 22 лет заведя кафедрой (6 лет в Казани и 16 лет в Саратове), Николаев внёс большой вклад в медицинскую науку и воспитал учеников, многие из которых стали профессорами, заведовали кафедрами. Двое из них остались в Саратове – это Лев Александрович Варшамов и Мария Семёновна Образцова.

Павел Николаевич был человеком высокой культуры. Широко образованный, свободно владеющий английским, французским и немецким языками, он был всегда в курсе всего нового, что публиковалось в отечественной и зарубежной литературе. Он любил и хорошо знал художественную литературу, понимал музыку, не пропускал концертов, любил театр, живопись. Он и своим молодым ученикам старался привить любовь к музыке и искусству.

Добавим, что у Николаева была благополучная семья. Его дочь и любимая внучка Марина пошли по стопам отца и деда – стали преподавателями Саратовского медицинского института (ныне – университета).

Павел Николаевич Николаев умер внезапно 13 декабря 1943 года во время конференции в гарнизонном госпитале, только что закончив своё выступление. Внезапная смерть прервала планы профессора Николаева переехать в Москву, где он был избран на должность заведующего факультетской терапевтической клиникой III Московского медицинского института.

P. S. При подготовке данного материала использованы устные рассказы людей, работавших под руководством П. Н. Николаева, а также книга М. С. Образцовой «П. Н. Николаев», выпущенная издательством Саратовского университета в 1980 году.



*Максим Горький
1923 год*

Журнал «Волга–XXI век» зарегистрирован МПТР РФ,
свидетельство ПИ № 77-16080 от 6 августа 2003 года.

Учредители: Министерство информации и печати Саратовской области, Саратовское региональное
отделение Общероссийской общественной организации «Союз писателей России».

Издатель: ГАУ СМИ СО «Регион 64».

Директор – Владислав Степанов.

Редакция:

Главный редактор – Елизавета Данилова.

Дизайн и вёрстка – Лилия Баранова.

Корректор – Елена Березина.

Художник – Валентина Сумина.

Подписано в печать 27 апреля 2018 года.

Дата выхода в свет 30 апреля 2018 года.

Журнал отпечатан в ООО «Амирит».

Адрес типографии: г. Саратов, ул. Чернышевского, 88.

Заказ № 42/27048

Цена свободная.

Почтовый адрес: 410005, г. Саратов, а/я 3535.

Адрес редакции: г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, 41.

Тел. (факс): (845-2) 69-54-41.

E-mail: lizamart@yandex.ru

Сайт: www.g-64.ru/volga

Подписной индекс 14320

При перепечатке ссылка на издание обязательна.

Редакция не рецензирует рукописи, а только сообщает о своём решении.

Формат 70x100 1/16. Усл. печ. л. 15,60.

Бумага типографская. Печать цифровая.

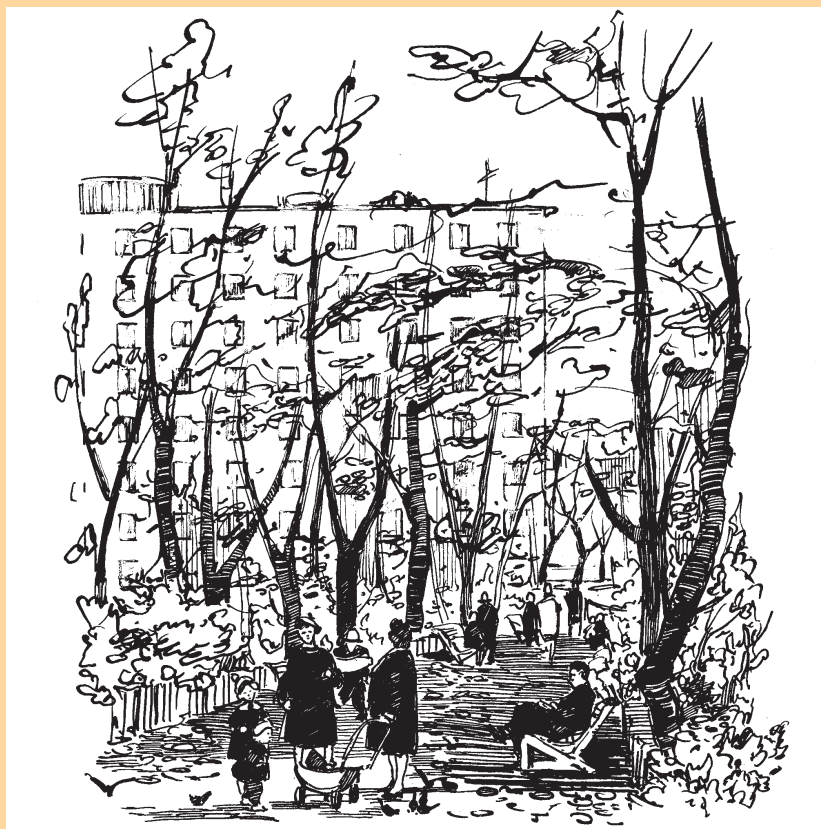
Тираж свободный.



© ГАУ СМИ СО «Регион 64», 2018.

© «Волга–XXI век», 2018.

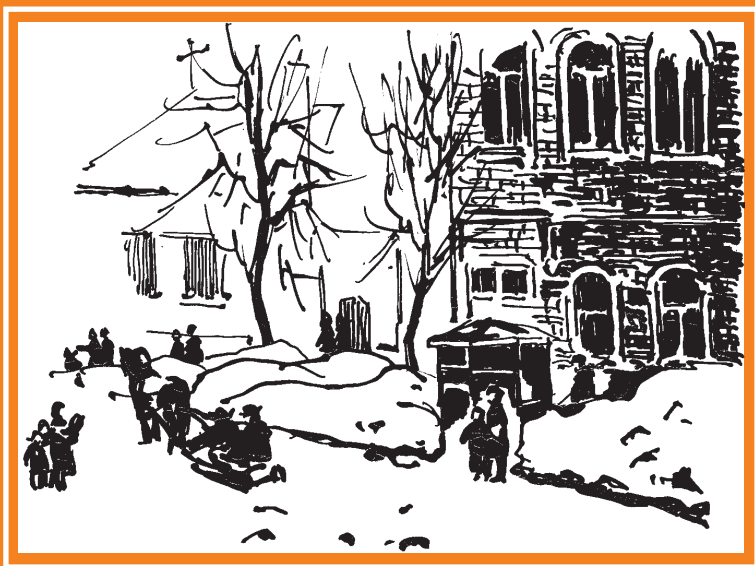
РАБОТЫ ХУДОЖНИЦЫ ВАЛЕНТИНЫ СУМИНОЙ



Аллея вела к цирку. В ней была закодирована какая-то благородная торжественность. Может, виной тому могучие деревья? Тушь, перо. 1964 г.



В Саратове выпал снег. Тушь, перо. 1962 г.



Валентина Сумина.
Зима есть зима – в Саратове и везде...
Тушь, перо. 1963 г.

